

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ-АПРЕЛЬ

БИБЛИОТЕКА
Сыктывкарского
ГОСУНИВЕРСИТЕТА

"НАУКА"

МОСКВА — 2002

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Р.И. Розина (Москва). Категориальный сдвиг актантов в семантической деривации.....	3
Г.И. Кустова (Москва). О типах производных значений слов с экспериенциальной семантикой.....	16
Й. Нёргор-Сёренсен (Копенгаген). Референциальная функция русских местоимений (в сопоставлении с местоимениями некоторых других славянских языков).....	35
Л.Б. Вишняцкий (Санкт-Петербург). Происхождение языка: современное состояние проблемы (Взгляд археолога).....	48
В. Дитрих (Мюнстер). Влияние языков американских индейцев на романские языки (II): "Общие языки": ацтекский, кечуа и тупи. Субстрат, адстрат или интерстрат?.....	64
М.Н. Боголюбов (Санкт-Петербург). Ригведа I, 105. Трита в колодеце.....	86
Е.Л. Рудницкая (Москва). Синтаксический и семантический анализ предложений с опущением глаголов речи в корейском языке.....	90
И.Г. Добродомов (Москва). Еще раз об исторической памяти в языке.....	103
Ю.Б. Коряков (Москва). Языковая ситуация в Белоруссии.....	109
Г. Невкловский (Вена). Языковая ситуация на территории распространения южнославянских языков.....	128

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

М.А. Бородина. Пространство, территория, зона и ареал как лингвогеографические и ареалогические термины.....	135
--	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

А.Д. Дуличенко (Тарту). Sprachen in Europa. Sprachsituation und Sprachpolitik in europäischen Ländern.....	142
К. Костов (Берлин). <i>L. Manuș, J. Neilands, K. Rudevics. Čigānu-latviešu-angļu un latviešu-čigānu vārdnīca</i>	147
Н.Ю. Зайцева, Ю.А. Косарев (Санкт-Петербург). <i>Р.Г. Пиотровский. Лингвистический автомат и его речемыслительное обоснование и Лингвистический автомат (в исследовании и непрерывном обучении)</i>	154
<i>In memoriam</i> академика Ференца Паппа.....	157

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков,
В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов,
А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), М.М. Маковский (отв. секретарь),
А.М. Молдован, Т.М. Николаева (зам. главного редактора),
Ю.В. Откупщиков, О.Н. Трубачев (главный редактор),
А.М. Щербак*

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2
Институт русского языка имени В.В. Виноградова,
редакция журнала "Вопросы языкознания"
Тел. 201-25-16

© 2002 г. Р.И. РОЗИНА

**КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ СДВИГ АКТАНТОВ
В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ***

Данная статья посвящена вопросу о регулярности категориального сдвига актантов при деривации метафорических значений слов. Объект нашего изучения – не индивидуальная, или поэтическая, а языковая метафора, исторически возникшая в результате "сознательной ошибки в таксономии объектов" [Арутюнова 1990а: 17–18], или "категориальной ошибки" [Падучева 1999а: 563], но стершаяся в процессе употребления в обыденной речи, потерявшая свой индивидуальный характер и образность и ставшая частью семантики языка.

Вопрос можно поставить так: известно, что метонимически мотивированная многозначность регулярна [Апресян 1995а: 190]; можно ли говорить о том, что и метафорически мотивированная многозначность регулярна хотя бы в какой-то степени? Регулярность метонимии во многих случаях состоит в том, что при образовании нового значения категориальный сдвиг участника ситуации, т.е. изменение его таксономического класса, происходит по определенному правилу – например, по правилу, разрешающему переход от лица к тому, что на нем надето (*грохочут сапоги* вместо *солдаты грохочут сапогами*, пример Е.В. Падучевой), или от вместилища – ко входу в него (*запереть дверь – запереть дом*, пример из [Розина 1994]) и т.п. Существуют ли деривационные отношения между таксономическими классами участников ситуации, которую описывает исходное и производное значение слова при метафорическом переносе, – есть ли и в этом случае правила, по которым происходит категориальный сдвиг, или же участники изменяют свой таксономический класс при образовании метафорического значения совершенно произвольно?

В центре внимания в данной статье отрицательный языковой материал, но в смысле, несколько отличном от трактовки этого термина Л.В. Щербой [Щерба 1974: 37], – не индивидуальные ошибки, возникающие в результате нарушения нормы языка, а лежащие за пределами литературного языка производные сленговые значения слов. Термин "сленг"¹ используется нами для обозначения так называемого общего сленга, т.е. нестандартной подсистемы лексики русского языка, которую городское население России, вне зависимости от возраста, образования и профессии, использует в непринужденном личном общении (а в современной социолингвистической ситуации – и в публичной речи). Общий сленг противопоставлен другой нестандартной подсистеме русского языка, городскому просторечию, которой пользуются необразованные и по-

* Данная работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 02-04-00294а) и РФФИ (грант № 01-0680234).

¹ Из двух близких по значению терминов "сленг" и "жаргон" [Беликов, Крысин 2001: 48–52] термин "сленг" представляется мне предпочтительным как более нейтральный. Термин "жаргон" часто ассоциируется с речью закрытой социальной группы, обычно враждебной обществу, ср. *жаргон наркоманов, тюремно-лагерный жаргон* (название словаря [Балдаев, Белко, Юсупов 1992]) и имеет отрицательные коннотации.

лубраованные горожане, не владеющие литературной нормой [Беликов. Крысин 2001: 53].

Примерно половина единиц сленга по своему происхождению – производные значения слов, другие значения которых принадлежат литературному языку, причем за очень небольшим количеством исключений сленговые значения слов мотивированы метафорически². Иными словами, при образовании сленгового значения происходит категориальный сдвиг участников денотативной ситуации. Например, два значения глагола *сдать* – литературное ‘поместить в официальное учреждение с какой-либо целью’, ср. (1а), и сленговое ‘предать’, ср. (1б), различаются таксономическим классом Пациенса, выраженного Объектом: в первом значении Пациент – предмет, а во втором – человек:

- (1) а. Пальму он *сдал* на хранение в извозчицью чайную "Версаль" и выехал на работу в провинцию (Ильф и Петров);
- б. Дмитрия Якубовского кто-то уговаривал "*сдать*" (предать или оклеветать – неважно) В.Ф. Шумейко (МК. 15 сент. 1993).

Задача данной работы – понять, как именно меняются таксономические классы участников при деривации сленговых значений. При этом необходимо понять, отличается ли категориальный сдвиг при деривации сленговых значений от процессов, происходящих в рамках литературного языка.

В работах по метафоре часто встречается утверждение о том, что литературный язык использует две противоположно направленных модели метафорического переноса – от окружающего мира на человека и от человека на окружающий мир и что они неравноправны: главная из них – вторая (см. [Арутюнова 1979; 1990б]). Но и в отношении литературного языка неизвестно, каким именно образом и у каких именно участников таксономические классы могут затрагиваться метафорическим переносом.

Ниже мы рассмотрим модели образования сленговых значений многозначных глаголов, проследив судьбу одного участника – Субъекта, и сопоставим ее с тем, что происходит с Субъектом при метафорическом переносе, не выходящем за рамки литературного языка.

1. ИЗМЕНЕНИЕ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА СУБЪЕКТА

Начнем с рассмотрения общего вопроса о том, обязательно ли вообще Субъект изменяет свой таксономический класс при деривации метафорически мотивированного значения. Метафорические значения встречаются и у одностепенных, и у многостепенных предикатов. С одностепенными предикатами все ясно: в производном метафорическом значении единственный участник описываемой ими ситуации, Субъект, обязательно меняет свой таксономический класс. Так, Субъект глагола *гореть* вместо предмета в производящем значении становится частью тела человека в производном, ср. (2):

- (2) а. ...справа на взгорке была сосновая роща с просторной проплешиной – в двадцатых годах упал самолет, и роща *горела*... (Трифонов);
- б. Лица обеих *горели*, глаза пылали нешуточным блеском (Трифонов).

Субъект глагола *тормозить* вместо транспорта в производящем значении ‘замедлять ход’ становится человеком в производном сленговом значении ‘медленно действовать’:

- (3) а. Поезд *тормозил*, подходя к станции;
- б. Ну что ты *тормозишь*! (муж – жене, разг. речь).

С многостепенными глаголами дело обстоит сложнее. Их участники могут вести себя

² Все наблюдения, сделанные в статье, основаны на материале словаря [Ермакова, Земская, Розина 1999] и на данных составленной мной картотеки примеров. Источниками примеров употребления сленга была пресса, радио- и телепередачи, ориентированные на широкую аудиторию, а также речь образованных людей, хорошо владеющих литературным языком.

по-разному – менять в метафорическом значении свой таксономический класс или оставаться в том же классе, что и в производящем значении. Так, в примере (4) переход от прямого к метафорическому значению глагола *угнать* сопровождается изменением таксономического класса и Субъекта, и Объекта: вместо, соответственно, человека и животного они становятся природными силами:

- (4) а. Когда ребята *угнали* лошадей на конюшню, Султанмурат все еще тяжело дышал (Айтматов);
б. Ждали появления ветра, который *угнал* бы этот ненавистный, трижды проклятый туман (Айтматов).

В то же время, в примере (5) таксономический класс Субъекта глагола *взять* остается неизменным; меняется только таксономический класс Пациенса, выраженного Объектом, – вместо лица он становится участком пространства:

- (5) а. Смело пейте, – сказал Воланд, и Маргарита тотчас *взяла* стакан в руки (Булгаков);
б. А когда селенье *взяли*, к командиру поскорей: – Так и так. Теперь нельзя ли повидать жену, детей? (Твардовский).

В этом плане между деривацией метафорически мотивированных значений в литературном языке и за его пределами, в сленге, нет никаких различий. Например, при образовании сленгового значения глагола *слинять* меняется и класс Субъекта, и класс Места: в производящем значении Субъект – поверхностный слой (краска), а Место – поверхность предмета, а в производном Субъект – человек, а Место – участок пространства:

- (6) а. И полушубок остался после него хороший, совсем новый, зелено-голубые разводы и мелкие нашивки из разноцветного сафьяна на красиво простроченной груди еще не *слиняли* (Уппсальский корпус);
б. Лица все знакомые: есть с кем побраниться, поругаться и от кого *слинять*... (Сег. 17 янв. 1995).

Напротив, в сленговом значении ‘понять, вникнуть’ глагола *въехать* таксономический класс Субъекта остается тем же, что и в исходном литературном значении, т.е. человеком; меняется только таксономический класс обстоятельства – из участка пространства (*город*) он становится темой, ср. (7):

- (7) а. В город входили верблюды, вслед за ними *въехал* военный сирийский патруль (Булгаков);
б. Я никак в свою тему не *въеду*, хочу бросить (разг. речь, 1998).

Из сказанного следует, что при деривации метафорически мотивированных значений у многоместных предикатов как в рамках литературного языка, так и за его пределами совсем не обязательно требуется, чтобы все участники ситуации, описываемой производящим значением, изменяли свои таксономические классы: класс одного из участников, например, Субъекта, может остаться неизменным.

1.1. МОДЕЛИ ДЕРИВАЦИИ СЛЕНГА

Теперь можно рассмотреть два более частных вопроса: как конкретно меняется таксономический класс Субъекта при образовании сленговых значений глаголов и при каких условиях он остается неизменным.

Субъектом производящих значений глаголов, участвующих в семантической деривации сленга, может быть и человек (например, у *врубиться*, *въехать*, *намылиться*, *отдыхать*, *разбежаться*, *расслабиться*), и различные таксономические классы других физических сущностей – в частности живое существо с крыльями (например, у *залететь*, *пролететь*), транспорт (например, у *отвалить*, *отчалить*, *тормозить*), вещь (например, у *слинять*) и предмет вообще (например, у глаголов *запасть*, *торчать*).

Ниже дан иерархически организованный список таксономических классов³ Субъекта глаголов, имеющих сленговые значения:

любое физическое тело⁴: *возникать*

– живое существо: *вздвогнуть, нажраться*

– человек: *вписаться, врубиться, въехать, заливать, косить, наехать, наколоться, накрыться, намылиться, отдыхать, подставиться, разбежаться, разобратся, расслабиться, свистеть, стучать, тащиться, утереться, хлестаться*

--- орган лица: *подвихнуться*

-- животное: *отвязаться*

--- с крыльями: *взлететь, залететь*

– предмет: *запасть, крутиться, проколоться, пролететь, торчать*

– часть предмета: *обломаться, обломиться, отмотаться, оторваться, отрубиться*

-- источник звука: *гудеть, шуршать*

-- источник света: *светиться*

-- прибор: *вырубиться, отключиться*

-- транспорт: *отвалить, отчалить, подгрести, сняться, тормозить*

вещество: *нагореть, набраться, отмываться, смыться*

– краска: *слинять*

– масса: *посыпаться*

Стоит сразу отметить, что этот список очень ограничен. В частности в нем отсутствуют таксономические классы нефизических сущностей – продуктов мышления и эмоций; а среди физических сущностей отсутствуют природные Силы и источники света и тепла. На первый взгляд исключением из этого списка кажется глагол *заливать*, Субъект основного значения которого ('разливаясь, постепенно покрывать собой, затапливать') – естественная Сила (вода). На самом деле сленговые значения *заливать* 'пьянствовать' и 'лгать' образуются не от его основного, а от производного значения "перемещать жидкость куда-либо", Субъект которого – человек. Чтобы доказать это, сопоставим возможности деривации значения 'пьянствовать' от каждого из приведенных литературных значений.

Можно предложить следующие схемы толкований рассматриваемых значений *заливать*:

заливать I⁵

Вода залила луг.

X залил Y-а

Участники: X – природная Сила (вода); Y – поверхность

до МН шел процесс с X-ом: X перемещался на Y-а;

количество X-а на Y-е увеличивалось

это вызвало

³ Иерархическое представление таксономических классов в данной статье – модификация формы, разработанной в работах П. Фабер и ее соавторов, например, в [Faber 1994; Faber, Maigal Uson 1994] и др.

⁴ Данный класс шире, чем класс "предмет": он включает и предметы, и живых существ, в том числе людей, рассматриваемых как физические тела. Это существенно для определения таксономического класса Субъекта таких глаголов, как *возникать*, для которых разграничение человека, животного и предмета несущественно.

⁵ В данной работе мы используем принципы описания значений, разработанные в системе "Лексикограф" (см. об этом [Кустова, Падучева, Рахилина и др. 1993]).

шел процесс с Y-ом: площадь Y-а, покрытая X-ом увеличивалась
итог: в МН X находится на всем Y-е (весь Y покрыт X-ом)

залить 2

Шофер *залил* горючее в бак.

X *залил* Y в Z.

Участники: X – человек; Y – жидкость; Z – вместилище

До МН X действовал с целью: воздействовал на Y

Это вызвало

Y перемещался в Z; количество Y-а в Z-е увеличивалось

Результат: в МН Y находится в Z-е в объеме Z-а (Z заполнен Y-ом)

Чтобы перейти к сленговому значению *залить* от *залить 2* достаточно изменить таксономический класс Объекта – он становится алкоголем и отождествить участника Z с телом Субъекта:

залить 3 (сленг)

X *заливает*.

Участники: X – человек; Y – алкоголь (инкорпорированный участник).

X действует на сверхдолгом интервале: перемещает Y-а в себя
(X как бы *заливает* / Y-а в себя)

Между тем, чтобы перейти к *залить 3* от толкования *залить 1*, нужно предпринять целый ряд шагов – ввести новый Субъект – человека с ролью Агенса (каузативация), понизить прежний Субъект до ранга Объекта и специализировать его таксономический класс. изменить таксономический класс периферийного участника, сделав его вместилищем и приравняв его телу X-а. Эта деривация настолько сложнее первой, что ее можно отвергнуть как невозможную.

Посмотрим теперь, что происходит с Субъектом при деривации сленговых значений. Если Субъект производящего значения не человек, в производном значении таксономический класс Субъекта обязательно меняется, и Субъект становится человеком – например, у *пролететь* ‘потерпеть неудачу’, ср. (8), *запасть* ‘влюбиться’, ср. (9), и *шуришать* ‘действовать, проявлять себя, ср. (10):

(8) а. Паду ли я стрелой пронзенный, Иль мимо *пролетит* она? (Пушкин);

б. Илюшенко *пролетел* с выборами (МК. 27 окт. 1994).

(9) а. Глаза Макарова глубоко *запали* в глазницы, однако он не вызывал впечатления человека нездорового и преждевременно стареющего (Горький);

б. ...тюремная драма... о жестоком, но очень обделенном любовью охраннике, который *запал* на заключенную, помог ей бежать, а она его, конечно, обманула и подставила (Сег. 25 июля 1995).

(10) а. Перец шел, в его ботинках ворчала и хлопала вода, подсохшая одежда стояла коробом и *шуришала*, как картон (Стругацкие);

б. ...студенчество – единственная категория, которой надо бы *шуришать* и *шуришать* на свое будущее, подтянув ремень... (Стол. 1993. № 16).

На первый взгляд кажется, что можно найти исключения из этого правила. Например, у глагола *пролететь*, кроме сленгового значения ‘потерпеть неудачу’, проиллюстрированного примером (8б), есть еще одно сленговое значение – ‘не состояться’, Субъект которого – не лицо, а событие, ср.:

(11) Мало того, что у Супер-Алены теперь "*пролетела*" важная деловая поездка в город Париж, она еще теперь по сути – БОМЖ без удостоверяющей ее личность красной книжицы (МК. 22 июля 1994).

Но на самом деле, это значение образовано не от литературного, а от сленгового значения глагола, причем деривация сопровождается диатетическим сдвигом: периферийный участник *поездка* повышается до ранга Субъекта, а участник *Алена*, имевший

прежде ранг Субъекта, понижается до статуса периферийного: *X пролетел с Y-ом* → *Y пролетел у X-а*, ср.:

(12) а. Алена *пролетела с поездкой* в Париж;

б. У Алены *пролетела поездка* в Париж.

Если же Субъект производящего значения глагола человек, его таксономический класс в сленговом значении никогда не меняется – ср., например, *завязать* (сленг 'прекратить'), *окучивать* (сленг 'осваивать'), *отстегнуть* (сленг 'выделить денежную сумму'):

(13) Одна из их жертв, "торчок" со стажем, распространявший по приказанию оперов зелье, но потом решивший с этим *завязать* и начать новую жизнь с женой и ребенком (Нов. Изв. 2 авг. 2001).

(14) Антиглобалисты *окучивают* Францию [згл]. ... контингент антиглобалистов переместился во Францию, где в их когорту вливаются новые "штгики" (Нов. Изв. 28 июля 2001).

(15) На братьев Валерия и Родиона Панковых, снабжавших наркотой местных студентов, "наехала" бригада неких "спортсменов": либо ежемесячно *отстеги-вает* 60 тысяч рублей, либо вашему предприятию и вам самим конец (Нов. Изв. 2 авг. 2001).

1.2. МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ МЕТАФОРИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ В ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Обратимся теперь к деривации метафорических значений глагола, не выходящей за пределы литературного языка. Существенно, что список таксономических классов Субъекта глаголов, у которых есть литературные метафорические значения, гораздо шире списка таксономических классов Субъекта глаголов, участвующих в деривации сленга: в частности метафорические значения есть у глаголов с Субъектом-природной Силой, которые, как мы видели, не способны иметь сленговые значения:

(16) а. Пламя *осветило* не его, а какого-то глубокого старца (одного из тех, кто проводит остаток жизни в таких старых гостиницах) и его белую качалку (Набоков);

б. Улыбка *осветила* суровое лицо Павла Антоныча, и давно уже не озарялось оно такою добротою, таковою старчески-детскою радостью (Бунин);

(17) а. ...вода *текла* в ручье нескончаемым потоком, и ее можно было пить досыта и купаться в ней сколько угодно... (Айтматов);

б. Опоздавшие женщины рвались на сцену, со сцены *текли* счастливицы в бальных платьях, в пижамах с драконами, в строгих визитных костюмах, в шляпочках, надвинутых на одну бровь (Булгаков).

Поскольку в литературном языке метафорический перенос возможен в обе стороны, ссемантический класс Субъекта может меняться и в том случае, когда Субъект был человеком (тогда метафорическое значение описывает мир вещей или естественный мир), ср. (16), и когда он принадлежал миру артефактов или природы (тогда метафорическое значение описывает мир человека), ср. (17):

(18) а. Гражданки с этого сеанса в одних панталонах *бежали* по Тверской (Булгаков);

б. Она целовала его в лоб, в губы, прижималась к колючей щеке, и долго сдерживаемые слезы теперь *бежали* ручьями по ее лицу (Булгаков).

(19) а. В бинокль было видно, как ослепительно *сияла* огненно-лиловая поверхность озера (Айтматов);

б. Франц, как всегда, преувеличенно шикнул, животом захихикав, – и, как всегда, холодно *сияла* Марта (Набоков).

Итак, Субъект глагола может не менять своего таксономического класса при

образовании как литературных, так и сленговых значений, но по разным причинам. Субъект сленгового значения остается в том же таксономическом классе, что и Субъект производящего значения, если последний был человеком, потому что в этом случае сдвиг противоречил бы правилам деривации сленга, а для образования метафорического значения достаточно сдвига остальных участников. Субъект литературного метафорического значения может остаться в том же таксономическом классе, что и производящее непереносное значение только по последней причине – т.е. просто потому, что образование метафорического значения обеспечивается категориальным сдвигом таксономических классов остальных участников.

2. КОММЕНТАРИИ К ОТДЕЛЬНЫМ МОДЕЛЯМ СДВИГА

Рассмотрим теперь отдельные случаи сдвига Субъекта в направлении от физического мира к человеку, общем для деривации литературной и сленговой метафоры.

А. Транспорт – человек. Сдвиг таксономического класса Субъекта от транспорта к человеку используется и в рамках литературного языка, например (20), и при образовании сленгового значения, например (21):

- (20) а. На него сзади карета *наехала* и задавила (Л. Андреев, МАС);
б. Не убьюсь, – ответил Незнайка и тут же *наехал* на собачью будку, которая стояла посреди двора (Носов).
- (21) В первую очередь отрабатывались версии, связанные с коммерческими "разборками" и попытками *"наехать"* на банк (Маринина).

Однако сдвиг Субъекта при образовании сленгового значения по своей сути иной. **чем** в литературном языке. В литературном языке характер действия, которое описывает глагол, не меняется; участник 'транспортное средство' не замещается участником 'человек', а лишь понижает свой коммуникативный ранг, вытесняясь на периферийную позицию; между человеком и транспортом существует связь по смежности: человек находится на транспорте – иными словами, в литературном языке это не метафорический, а метонимический сдвиг⁶.

Между тем, при образовании сленгового значения человек и транспортное средство связаны друг с другом только сходством результата действия – ущербом, который причинен Объекту в результате наезда, и транспортное средство исчезает из ситуации.

Б. Часть предмета – человек. Такая модель сдвига используется и в литературном языке, ср. ее роль в деривации двух метафорических значений глагола *оторваться*, литературного (22 б) и сленгового (22 в):

- (22) а. Наверно, от солнца *оторвался* кусок и ударил меня по голове (Носов);
б. ...он никак не мог *оторваться* от своего сакса и тихо наигрывал новую тему (Аксенов);
в. ...особенно *оторвались* дети, которые решили, что этот праздник устроен именно для них (МК. 28 дек. 1993).

Можно предположить, что в этом случае как деривация сленгового, так и деривация литературного метафорического значения должна включать какие-то дополнительные различающие их преобразования. И действительно, дополнительно к изменению таксономического класса Субъекта в литературном значении (22 б) меняется класс периферийного участника: целый предмет (*солнце*) заменяется на инструмент (*сакс*), а при деривации сленгового значения (22 в) участник целое вообще уходит из ситуации.

В. Масса – лицо. Перенос от массы к лицу возможен и в литературном языке, ср. пример (23), но только при условии, что имя лица сочетается с квантором множе-

⁶ О коммуникативных рангах и о метонимии как изменении коммуникативного ранга участников см. [Падучева 1999б].

ственности, как в (23 б), где имя, которому приписан статус Субъекта, стоит в форме множественного числа:

- (23) а. Когда их вскрыли в матросском кубрике, оттуда *посыпались*: шоколад – голландский, коньяк – французский, сгущенка – датская, спички – шведские, ракетница – чешская, а сигареты – турецкие (Пикуль);
б. Отряхивая брызги, по трапу вдруг кубарем *посыпались* сигнальщики (Пикуль).

При деривации сленговых значений это правило нарушается, ср. пример (24), где Субъект выражен формой единственного числа, и пример (25), где при образовании литературного и метафорического сленгового значения глагола *строить* по той же модели, от названия массы к лицу, меняется таксономический класс Объекта, но в литературном значении квантор сохраняется, а в сленговом – нет:

(24) Я *посыпался* на экзамене.

- (25) а. Мне было шесть или семь лет, я *строил* замок из разноцветных азбучных кубиков (Набоков);
б. ...ночью поднимали весь взвод⁷ и *строили* вокруг одного нечищенного сапога (Солженицын);
в. Жена каждое утро его *строит* (разг. речь, 2000).

Г. Источник звука – лицо. Эта модель тоже используется в рамках литературного языка, но, как и в случае с моделью ‘транспорт – лицо’, при образовании метонимически, а не метафорически мотивированных значений. Глагол при этом остается в том же тематическом классе глаголов издавания звука, ср.:

- (26) а. Колокол *звонит*;
б. Иван *звонит* в колокол.

При образовании сленгового значения *гудеть* ‘пить’ источник звука исчезает из ситуации, а глагол переходит в новый тематический класс “физиологических” глаголов поглощения:

- (27) а. Густой колокол звучно и мерно *гудел* с колокольни (Достоевский);
б. Бывало, смены гладко проходили. Ну, выпили, но смирно сидят на посту. А бывало – буянили, избивали больных. Вся больница знала, что восьмое отделение *гудит* (Изв. 13 мая 1996).

Итак, в некоторых случаях деривация литературных и сленговых значений происходит по одним и тем же моделям, но в литературном языке это модели метонимии, а при образовании сленговых значений – это модели метафоры. Если же образованные по одной модели литературное и сленговое значения метафорически мотивированы, деривация сленга включает какое-то дополнительное преобразование.

3. РЕШЕНИЕ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ

В этой части работы мы продемонстрируем объяснительную силу выводов, сделанных в предыдущих двух частях.

3.1. ПОЧЕМУ У *СОГРЕТЬ* НЕТ СЛЕНГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ?

Из двух синонимичных глаголов, *согреть* и *подогреть* ‘сделать теплым или горячим’, у *согреть* все производные значения – только литературные, а у *подогреть* есть сленговое значение ‘дать денег’, ср.:

- (28) Весной двадцать пять человек ушло на “гражданку”, – говорит Юра, – каждый из них получил “лимонов” по пятнадцать отвалных. И каждый из них меня *подогрел*. Кто на “лимон”, кто больше (Изв. 5 сент. 1996)

⁷ При переходе от (25 а) к (25 б) имеет место еще одно преобразование – подъем Средства из периферийной позиции в позицию Объекта.

Согреть и *подогреть* различаются таксономическим классом Субъекта и Объекта. У *подогреть* в производящем литературном значении и Субъект, и Объект специализированы: Субъектом может быть только человек, так как *подогреть* описывает ситуацию каузации повышения температуры Объекта-Пациенса снизу, с помощью помещения его на источник тепла, ср. *подогреть суп на костре / на плите*, но **подогреть суп на солнце / руками*, а Объектом *подогреть* может быть только пища⁸. Между тем, глагол *согреть* безразличен к таксономическому классу Субъекта и Объекта: Субъектом *согреть* может быть и человек, каузирующий воздействие источника тепла на Объект, и сам источник тепла, ср. *согреть воду на солнце / стетоскоп руками / дыханием*, а Объектом – любая физическая сущность, включая человека, как свидетельствуют следующие примеры:

- (29) а. Она зашла в Сосновке к Нюшке, Степановна *согрела* самовар, они долго говорили обо всех делах, а Ивана Африкановича не было (Белов);
б. Темный сырой клевет заиндевел изнутри, Рогуля *согревала* свое жилье собственным теплом (Белов);
в. Почему-то солнце не могло меня *согреть* (Белов).

Как показано в разделе 1, условие деривации сленгового значения – категориальный сдвиг хотя бы одного из участников, причем Субъект сленгового значения, независимо от того, изменил он свой таксономический класс в процессе деривации или нет, должен быть человеком.

Ни Субъект *подогреть*, ни Субъект *согреть* не должны менять свой таксономический класс: Субъект *подогреть* – потому что он и так человек, а Субъект *согреть* – в силу его немаркированности в отношении таксономического класса физических сущностей.

В таком случае требуется категориальный сдвиг другого участника ситуации – Объекта. Но из двух рассматриваемых глаголов только Объект *подогреть* может изменить свой таксономический класс: вместо пищи он становится человеком. Объект *согреть* неспособен к категориальному сдвигу по той же причине, что и его Субъект: он немаркирован в отношении таксономического класса физических сущностей, т.е. может быть любой из них, включая человека.

Интересно, что при неспособности глагола *согреть* иметь сленговое значение, у него есть метафорически мотивированное литературное значение ‘оживить, осветить’, возникающее благодаря возможности категориального сдвига Субъекта в направлении от материальной сущности к нематериальной, ср.:

- (30) Я хочу сказать о твоей благородной мечте, *согревшей* твои молодые годы (Каверин, МАС).

3.2. ОТ КАКОГО ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛА *СВАЛИТЬ* ОБРАЗОВАНО СЛЕНГОВОЕ ‘УЕХАТЬ, ЭМИГРИРОВАТЬ’?

На роль производящего для сленгового значения *свалить* ‘уехать’, ‘эмигрировать’, которое иллюстрирует пример (31), претендуют сразу два глагола – литературный *свалить* 1⁹ в его основном значении ‘ударом, толчком сбросить вниз’ (МАС), ср. (32), и омонимичный ему разговорно-просторечный глагол *свалить* 2, который в МАС представлен двумя значениями: 1. ‘уйти, схлынуть (о массе, потоке кого-, чего-л.)’ и 2. ‘отойти, удалиться (о туче)’ (МАС), ср. (33):

- (31) Он боялся, что я *свалю* за границу и поэтому не давал мне ставки (разг. речь, 1997).

⁸ Различие Объектов глаголов *согреть* и *подогреть* отмечено в [Апресян 1995б: 303].

⁹ Разграничение глаголов *свалить* 1 и *свалить* 2 следует МАС.

(32) К утренней заре чекисты отделились и *свалили* в яму всех мертвецов с их узелками (Платонов).

(33) а. Не успела и эта толпа *свалить* со двора – валят вдруг две новые (Белинский, МАС);

б. [Туча] не разразилась дождем, *свалила* на север и скрылась за суходолом (Перегудов, МАС).

Рассмотрим различные возможности деривации с точки зрения тех выводов, которые были сделаны в двух предшествующих частях.

Литературный глагол *свалить 1* – каузативный, а сленговый глагол *свалить* – нет: действие, которое он описывает, направлено на сам Субъект, т.е. по своей семантике он рефлексив, и поэтому вывести его из *свалить 1* невозможно.

Его нельзя вывести и от значения 1 глагола *свалить 2* с Субъектом-тучей, потому что, как мы показали, глаголы с субъектным актантом-Силой не могут участвовать в деривации сленговых значений.

Что касается другого значения *свалить 2* ‘уйти’ (о толпе), оно вполне может быть производящим для сленгового *свалить*, потому что переход от множественного Субъекта к единичному, как было показано при анализе модели ‘масса – лицо’ в части 1.2., регулярно используется в ходе деривации сленговых значений. Сам глагол *свалить 2* по своей семантике – рефлексив; в значении с Субъектом-тучей он имеет также форму *свалиться* (в МАС *свалиться 2*), ср.:

(34) Черно-лиловая туча тяжело *свалилась* к северу. (Бунин); В народе любят говорить, что туча не прошла, а *свалилась* (Паустовский).

Можно предположить, что *свалить 2* – это просторечная форма рефлексива от *свалить 1*, т.е. *свалиться*, и с этой точки зрения *свалить 2* также наиболее вероятный из всех кандидатов на роль производящего для сленгового *свалить*.

Н.А. Янко-Гриницкая [1962: 225–240], вслед за рядом авторов, отмечает существование близких по значению возвратных и невозвратных форм непереходных глаголов, например *белеть* и *белеться*, но русскому языку, по-видимому, свойственны колебания и в оформлении возвратных форм переходных глаголов, т.е. рефлексивов – ср. одновременное существование, иногда у одного и того же автора, форм рефлексива *посыпаться* и *посыпать*, *рвануться* и *рвануть*, *литься* и *лить* (о воде), *сыпаться* и *сыпать* (о снеге) и т.п., ср.:

(35) а. Американцы, уже наслышавшись о нравах немецких подводников, горохом *посыпались* с понтонов обратно – в обжигающую стужу, боясь, что их расстреляют из пулеметов (Пикуль);

б. Аварийные команды горохом *посыпали* на палубу разбитого корабля (Пикуль).

Ряд вариативных форм рефлексива приведен в [Чернышов 1915] и [Обнорский 1953], например *брать* и *браться* ‘клевать’ (о рыбе), *валить* и *валиться* (о снеге), *наливать* и *наливаться* (о хлебе), *катить* и *катиться* (о санях) и т.п.

Теперь можно взглянуть еще на некоторые сленговые глаголы.

Такую же модель деривации, как для сленгового *свалить*, можно предложить для его однокоренного, близкого по значению сленгового глагола *валить* ‘уходить, убираться’ (используется только в форме императива *Вали отсюда!*). Его Субъект возникает в результате сдвига Субъекта разговорно-просторечного глагола *валить 2* в значении ‘идти, двигаться в большом количестве, потоком’ (МАС) (36) по модели ‘множество лиц – отдельное лицо’:

(36) Вниз по улице *валил* народ, сущее столпотворение, лица, лица и лица (Пастернак).

Валить 2, так же, как *свалить 2* – просторечный вариант рефлексива от литературного каузативного глагола *валить 1*; одно из его значений – значение движе-

ния с множественным Субъектом – может выражаться также правильной формой рефлексива *валиться* (*валиться* 2 в МАС):

(37) На двор Семенихи *валятся* мужичьи дровни (Гл. Успенский, МАС).

Эти рассуждения позволяют решить проблему происхождения еще одного сленгового глагола, *отвалить* ‘уйти’, ср.:

(38) Вы ушли из общего стана, с баррикад *отвалили*, занялись разборками между собой... (МК. 14 сент. 1993).

В МАС есть словарная статья только литературного рефлексива *отвалиться*, а значения просторечной формы рефлексива *отвалить* – ‘отойти от причала (о корабле)’ и прост. ‘отойти в сторону (о толпе)’ – непоследовательно включены в словарную статью каузативного глагола *отвалить* ‘опрокидывая, отодвинуть в сторону что-либо тяжелое’. Аналогия со сленговым *валить* и *свалить* заставляет считать более вероятным, что сленговое *отвалить* образовано от значения рефлексива с Субъектом *толпа*.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Итак, нам удалось обнаружить ряд регулярных различий между использованием таксономического сдвига Субъекта глагола в семантической деривации литературных и сленговых значений.

1. Прежде всего, это различие в направлении сдвига. При деривации значений в литературном языке сдвиг таксономического класса Субъекта глагола возможен в противоположных направлениях – от мира природы и вещей к человеку и от человека к миру вещей и природы. Между тем при деривации сленговых значений регулярно используется сдвиг таксономического класса Субъекта только в направлении от вещи к человеку.

Это различие может быть вызвано двумя причинами. Первую можно назвать системой: сленг, подсистема, противопоставленная литературному языку, избирает для деривации именно то направление таксономического сдвига, которое в литературном языке является периферийным. Вторая причина – прагматическая: она заключается в различиях в функциях сленга и литературного языка. Мир, который описывает сленг, ограничен миром человека, причем этот человек – житель города. Приведем в доказательство список таксономических классов сленговых глаголов¹⁰.

Ряд глаголов описывает физические действия человека. Это глаголы выпивки (*брать*, *вздрогнуть*, *грузиться*, *гудеть*, *дернуть*, *квасить*, *поддать*, *принять* [*на грудь*], *пропустить*, *расслабиться*, *тяпнуть*, *употребить*), глаголы физического воздействия на человека (*вмазать*, *впяять*, *врезать*, *начистить*, *получить*, *прессовать*), в том числе глаголы уничтожения человека (*заказать*, *замочить*, *списать*, *размазать*, *хлопнуть*), небольшая группа глаголов перемещения, описывающих исключительно перемещение человека (*кантоваться*, *отвалить*, *рвануть*, *свалить*, *отчалить*, *слинять*, *смыть*, *подгрести*, *привалить*) и несколько глаголов физиологических действий (*отлить*, *дать*, *трахнуть*).

Наиболее крупное объединение производных сленговых глаголов – глаголы социальной сферы, в том числе глаголы неудачи (*залететь*, *засветиться*, *нагореть* [*с чем-то на сколько-то*]), *посыпаться*, *проколоться*, *пролететь*), глаголы изменения социального статуса (*задвинуть*, *опустить*, *подвинуть*, *подставить*, *размазать*, *раскрутить*), глаголы обмана (*вписаться*, *кинуть*, *косить*, *купить*, *наколоть*,

¹⁰ В связи с темой данной статьи в составе таксономического класса мы указываем только сленговые глаголы, образованные семантической деривацией, но и те сленговые глаголы, которые образованы другими способами, например, с помощью словообразования, укладываются в эти же таксономические классы.

обломить, обуть, обшитопать), глаголы конфликта (*разобраться, сделать [кого-то], утереться*), а также некоторые единичные глаголы, не образующие классов (*держать [кого-то за кого-то], склеить, строить*).

Еще два крупных объединения сленговых глаголов – это глаголы обладания и глаголы судебно-правовой сферы. Глаголы обладания представлены глаголами присвоения (*оторвать, обуть, раздеть, сдирать, скатать, слизать, увести, стянуть, ханнуть*), глаголами получения (*оторвать, обломиться*) и большой группировкой глаголов операций с деньгами (*бомбить, выкрутить, замотать, заржавеет* [в выражении *За мной не заржавеет*], *кинуть [на], крутить, крутиться, ловить, наварить, наколоть [на деньги], накрутить, отмыть, отмываться, отключить, отстегнуть, подмазать, подогреть, развести [на деньги], расколоть [на], снять, страсти, тянуть [на]*).

Сленговые глаголы чрезвычайно подробно разрабатывают судебно-правовую сферу. Они описывают этапы, предшествующие суду: предательство (*заложить, продать, сдать*), арест (*брать*), создание обвинения (*повесить дело [на кого-то], пристегнуть, шить дело*), вождение на допросы (*таскать*), оказание давления с целью добиться признания (*прессовать, расколоть*), последующее избавление от обвинения с помощью ложных показаний (*отмотаться*), вынесение приговора об осуждении на определенный срок (*впясть, припясть*) и отбытие срока (*отмотать*).

Кроме этих крупных объединений, среди производных сленговых значений есть глаголы ментальной сферы (*волочь, врубиться, въехать, сечь, тормозить, намылиться, разбежаться, светить*), глаголы восприятия (*грузить, отрубиться, отключиться, накрыть, засветить*), глаголы эмоциональной сферы (*достать, заколебать, запасть [на кого-то], напрячь/напрягать, оторваться, оттянуться, торчать, тащить* [от кого-то/чего-то]) и немногочисленные глаголы речи – глаголы лжи (*гнуть, свистеть*), шутки (*прикалываться/приколоться, хлестаться*) и глаголы оскорбления (*обложить, покрыть, послать*).

Очевидно, что сленг игнорирует естественный мир. Напротив, литературный язык описывает все без исключения возникающие в мире ситуации, участниками которых могут быть и человек, и вещи, и природа; при этом человек уподобляется окружающему его миру, а окружающий мир – человеку.

2. Наблюдается регулярное различие в типе отношений между Субъектом производящего и производного значений. При том, что периферийное направление сдвига таксономического класса Субъекта при образовании производных значений в литературном языке – направление от вещи к человеку – совпадает с направлением деривации сленговых значений, возникают и совпадения конкретных моделей сдвига, например, ‘транспорт – человек’, ‘источник звука – человек’, но они различаются по своей сути: в литературном языке это модели метонимии, а в сленге – модели метафоры.

3. Наконец, в тех случаях, когда в деривации литературных и сленговых значений используется одна и та же модель метафоры, например, ‘часть предмета – человек’ и ‘масса – человек’, сленговая деривация отличается от литературной некоторыми дополнительными к сдвигу таксономического класса Субъекта преобразованиями¹¹.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. 1995а – Избранные труды. Т. 1: Лексическая семантика. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1995.
- Апресян Ю.Д. 1995б – Типы информации для словаря синонимов // Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.

¹¹ Мне хотелось бы поблагодарить Ю.Д. Апресяна и Е.В. Падучеву за внимательное прочтение моей статьи и конструктивные замечания.

- Арутюнова Н.Д. 1979 – Метафора // Русский язык. Энциклопедия. М., 1979.
- Арутюнова Н.Д. 1990а – Метафора и дискурс // Теория метафоры. М., 1990.
- Арутюнова Н.Д. 1990б – Метафора // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Балдаев Д.С., Белко В.К., Юсупов И.М. 1992 – Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона. М., 1992.
- Беликов В.И., Крысин Л.П. 2001 – Социоллингвистика. М., 2001.
- Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И. 1999 – Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона. М., 1999.
- Кустова Г.И., Падучева Е.В., Рахилина Е.В., Розина Р.И. и др. 1993 – Словарь как лексическая база данных: об экспертной системе лексикограф // НТИ. 1993. № 11.
- Обнорский С.П. 1953 – Очерки по морфологии русского глагола. М., 1953.
- Падучева Е.В. 1999а – Лексика поэзии и поэзия лексики // Роман Якобсон. Тексты, документы, исследования. М., 1999.
- Падучева Е.В. 1999б – Метафорические и метонимические переносы в парадигме значений глагола *назначить* // Теория и типология языка: от описания к объяснению. К 60-летию А.А. Кибрика. М., 1999, с. 488–502.
- Розина Р.И. 1994 – Объект, средство и цель в семантике глаголов полного охвата // ВЯ. 1994. № 5.
- Янко-Трипицкая Н.А. 1962 – Возвратные глаголы в современном русском языке. М., 1962.
- Чернышов В. 1915 – Правильность и чистота русской речи. Вып. 2. СПб., 1915.
- Щерба Л.В. 1974 – О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
- Faber P. 1994 – The semantic architecture of the lexicon // Symposium on lexicography VI. Tübingen, 1994.
- Faber P., Mairal Uson R. 1994 – Methodological underpinnings for the construction of a functional lexicological model // Miscellanea: A journal of English and American studies. 1994. V. 15.
- Levin B. 1993 – English verb classes and alternations. A preliminary investigation. Chicago; London, 1993.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Изв. – Известия
 МАС – Словарь русского языка в четырех томах. Издание второе, исправленное и дополненное. М., 1981.
 МК – Московский комсомолец
 Нов. Изв. – Новые Известия
 Сег. – Сегодня

© 2002 г. Г.И. КУСТОВА

О ТИПАХ ПРОИЗВОДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВ С ЭКСПЕРИЕНЦИАЛЬНОЙ СЕМАНТИКОЙ*

В настоящей работе речь пойдет о структуре полисемии и особенностях семантической деривации слов, обозначающих внутренние состояния человека. Такие слова мы будем называть экспериенциальными.

В языке естественным образом выделяются (и противопоставляются) две важные сферы – "механическая" (или энергетическая – к которой относятся всевозможные "физические" действия, процессы, изменения) и экспериенциальная (или информационная).

Слова с экспериенциальной семантикой обслуживают внутреннюю сферу человека, которая имеет сложное устройство и включает целую **иерархию подсистем** – ощущения, в том числе физиологические реакции (*жарко, больно, тяжело*), эмоциональные состояния и реакции (*грустно, страшно, смешно*), перцептивные (*видно, видеть, слышно, слышать*) и ментальные (*понятно; известно; понимать; знать*) состояния и отношения [Апресян 1995].

Роль субъекта при соответствующих предикатах принято называть "Экспериенцер" (или "Датив", ср. [Fillmore 1968; Chafe 1971; Кибрик 1992]). В работах по семантике Экспериенцер включается в единый список семантических ролей наряду с Агенсом, Пациентом, Инструментом и т.д. – так сказать, через запятую. Между тем, если спроецировать эти роли на внеязыковую реальность (применительно к человеку), то оказывается, что Агенс и Пациент – это временные и альтернативные состояния (роли) человека, а Экспериенцер – его постоянная и "абсолютная" роль: человек всегда является Экспериенцером, поскольку он всегда что-то ощущает, чувствует, видит, слышит и т.д. Именно поэтому слова с экспериенциальной семантикой легко "вставляются" в качестве дополнительных, сопровождающих характеристик в описания различных "энергетических" ситуаций (ср. *В страхе прижались к земле* и т.п.). У любой ситуации, в которой человек участвует или которую он просто воспринимает в качестве наблюдателя, есть экспериенциальный аспект или экспериенциальный коррелят.

В энергетической и экспериенциальной сферах по-разному устроена каузация (об особенностях экспериенциальной каузации речь пойдет ниже). В энергетической и экспериенциальной сферах по-разному работают механизмы образования производных значений и вообще механизмы "переноса" (разумеется, у них есть и много общего; речь идет о различиях, которые обнаруживаются в **ключевом звене** каждой из систем).

* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 02-04-00295а.

Работа обсуждалась на семинаре по теоретической семантике под рук. акад. Ю.Д. Апресяна. Автор выражает признательность Ю.Д. Апресяну, М.Я. Гловинской, Г.Е. Крейдлину и Е.В. Падучевой за доброжелательное обсуждение и конструктивные замечания, которые были учтены при подготовке окончательного варианта статьи.

В обеих сферах предикаты человека используются для обозначения чего-то другого ("переносятся" на другие ситуации):

(а) *Хулиган сорвал шапку с прохожего – Ветер сорвал шапку с прохожего;*

(б) *грустный буфетчик – грустный пейзаж.*

В обоих случаях такой перенос с человека на что-то еще может быть только частичным. Но сама эта "частичность" разного характера. То, что делает человек, никто, кроме него, сделать не может. Перенос в случаях вида (а) происходит на уровне фрагмента ситуации (человек срывает шапку рукой, а ветер – нет; но результат похож: шапка сорвана). Главный принцип переноса здесь – **аналогия** (метафора – частный случай аналогии). То, что чувствует человек, тоже никто, кроме него, чувствовать не может. Однако никакая аналогия здесь невозможна (если, конечно, речь не идет об олицетворении). Главный принцип переноса экспериенциальных предикатов за пределы внутренней сферы человека – принцип **метонимический**: не наличие сходства, а **наличие связи** между внутренним состоянием человека и некоторой внешней ситуацией.

В энергетической сфере, разумеется, тоже широко представлены метонимические значения, однако там они являются, скорее, одним из проявлений принципа экономии. В информационной же сфере метонимическое использование "внутренних" предикатов человека для характеристики "внешних" ситуаций – явление принципиальное и, по-видимому, неизбежное.

Признаки ситуаций, смежных с состоянием, характеризуются через отсылку к состоянию не только потому, что между ними есть связь, но и потому, что очень часто они никак иначе охарактеризованы быть не могут: их очень трудно сформулировать. Что такое *веселый смех* (*весело засмеялся*) или *грустный взгляд* (*грустно посмотрел*)? Это ПРИЗНАКИ ситуации (*смеяться, смотреть*), которые ВОСПРИНИМАЕТ наблюдатель и которые СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ о соответствующем состоянии (*весело, грустно*) субъекта эмоции. Кроме наличия связи с состоянием ничего более содержательного об этих признаках сказать, по-видимому, нельзя.

В пределах самой экспериенциальной сферы характерное направление семантического развития экспериенциальных слов – "**повышение**", т.е. продвижение "вверх" по уровням иерархии внутренних систем человека: переход от ощущений и физиологических реакций (реакций тела) – к эмоциональным состояниям (реакциям души, ср. *тяжело нести – тяжело на душе, больно руку – больно смотреть на это*); от перцептивных состояний – к ментальным (*видел, как он переходил улицу – видел, что он лжет*); от эмоционального состояния к пропозициональному отношению (*было очень страшно во время бомбежки – страшно, что ты солгал*).

ЧАСТЬ I. ПРОИЗВОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СЛОВ

В первой части работы будут рассмотрены основные типы значений эмоциональных слов. Мы начинаем рассмотрение типов производных значений экспериенциальных слов с уровня эмоциональных состояний, т.к. именно здесь обнаруживается наиболее богатый языковой материал, позволяющий выявить основные типы семантических сдвигов и семантических противопоставлений (Ю.Д. Апресян отмечает, что эмоциональная система – одна из самых сложных систем человека, "сложнее эмоций. по-видимому, только речь" [Апресян 1995: 366]).

Исходя из различий в наборах значений в рамках класса эмоциональных слов будут выделены разные группы, в том числе – группа каузативных слов, имеющих нетривиальные особенности поведения; а затем, во второй части работы, будет предложено объяснение этих особенностей в терминах понятия экспериенциальной каузации и, шире, экспериенциального отношения.

Эмоциональные слова выступают в разных морфологических (частеречных) формах и разных синтаксических позициях: *X весел* (краткое прилагательное); *X-у весело* (категория состояния); *X весело засмеялся* (наречие); *веселый смех* (прилагательное). Однако они находятся в столь тесных и регулярных семантических отношениях друг с другом, что естественно рассматривать их как единую парадигму – своего рода "гиперлексему". Специального комментария требует категория состояния.

Предикативы на *-о* (*Мне холодно/больно/грустно/страшно*) мы будем, в соответствии со сложившейся в отечественном языкознании традицией, называть категорией состояния (КС). К предикативам, кроме слов на *-о*, относят также слова типа *жаль, пора (ехать), нельзя, рад, должен, обязан* и т.п. Статус предикативов (под разными названиями) так или иначе обсуждается со времен А.Х. Востокова; отнесение слов КС к особой части речи имеет как сторонников [Щерба 1928; Виноградов 1947; Пospelов 1955; Галкина–Федорук 1957], так и противников [Исаченко 1955; Шапиро 1955; Травничек 1956; Аничков 1997]. В пределах нашей темы мы будем обращаться только к словам на *-о*, поскольку они входят в полную "парадигму", т.е. имеют соответственные прилагательные и наречия.

Прототипическим ядром КС будем считать слова со значением собственно состояния – "физиологического" (*Мне жарко/больно/тяжело*) и эмоционального (*Мне грустно/страшно*), свободно присоединяющие дательный субъекта. Перцептивные (*видно; слышно*), "интеллектуальные" (*интересно; известно; ясно, что Р*), оценочные (*хорошо; плохо, что Р*) и модальные (*нужно; необходимо, чтобы Р*) слова больше "продвинуты" в сторону отношения и пропозициональной установки. При этом многие "исходные" состояния (как будет показано ниже) являются потенциально двухместными (*грустно/больно, что Р*) и могут "повышаться" до установок (отношений), а оценки (установки) могут, наоборот, "понижаться" до "чистых" состояний (*Мне сейчас хорошо; Ей стало плохо*).

Для нашей темы интерес представляют прежде всего те семантические эффекты, которые связаны с предикативным употреблением слов на *-о*. Во-первых, отнюдь не любые слова на *-о* могут употребляться в предикативной позиции. Невозможно, например, **Мне быстро; *Мне сердито; *Мне лукаво; *Мне энергично* и т.д., – и это не случайные лакуны, а семантически мотивированные запреты, которые еще только предстоит сформулировать. Во-вторых, в рамках самой предикативной позиции обнаруживаются ощутимые семантические различия между КС и однокоренными краткими прилагательными. Сравним, например, внешне очень близкие описания состояния:

Ему весело vs. Он весел

Описание состояния с помощью краткого прилагательного предполагает в данном случае внешнего наблюдателя, который по видимым, воспринимаемым признакам заключает о состоянии X-а. Поэтому нежелательно, а иногда и невозможно, употребление такого предиката в контексте 1-го лица: **Я весел*. Форма КС, напротив, предназначена для обозначения собственно состояния (независимо от того, есть ли у него наблюдаемые внешние проявления), поэтому легко сочетается с "первоисточником" информации о состоянии – 1-м лицом: *Мне весело*.

У большой группы слов КС обнаруживаются еще более кардинальные семантические различия с кратким прилагательным, ср.: *Ему страшно* ('он испытывает страх') – *Он страшен* ('кто-то другой испытывает страх'; подробнее см. ниже).

Чрезвычайно существенными свойствами КС являются выражение субъекта состояния дательным падежом (наиболее иконичной формой выражения Экспериментера) и способность подчинять инфинитив (как будет показано ниже, не всякий инфинитив, а удовлетворяющий определенным семантическим требованиям).

Все это говорит о том, что КС не является просто предикативным вариантом (предикативным употреблением) наречия (как это следует из применяемого к словам

КС термина "предикативное наречие"), а имеет вполне самостоятельную "нишу" в грамматике. По разнообразию семантики (состояние окружающей среды, разные виды состояний человека, оценка, модальность) КС тоже, скорее, сопоставима с полноценной частью речи, чем с семантически однородным разрядом слов.

Вообще, семантика неконтролируемого, "пассивного" состояния настолько важна для русского языка [Вежбицкая 1996], что, несмотря на обилие безличных глаголов (с которыми КС имеет весьма показательное сходство) и довольно свободное образование безличных форм (и значений) от личных глаголов (ср. *колет/режет в бок; шумит/стучит/гудит в голове; несет/тянет гарью* и т.п.), безлично-предикативная конструкция притягивает многочисленные (но не любые!) слова неглагольного происхождения.

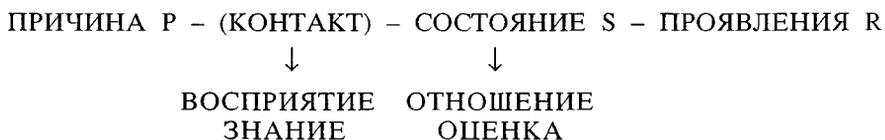
2. СХЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ И ТИПЫ ПРОИЗВОДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СЛОВ

Поскольку основной принцип переноса внутренних предикатов человека – принцип метонимический (перенос на смежные ситуации), прежде всего необходимо понять, какие это ситуации, с чем в первую очередь связано состояние и на что естественно эти предикаты распространять.

Состояние может не иметь причины (точнее, причина может быть неизвестна, или ее трудно сформулировать, ср. *Почему-то вдруг стало грустно/весело/тревожно*); тем более оно может не иметь внешних, наблюдаемых проявлений. Но обычно состояния все-таки и м е ю т причину (стимул) и и м е ю т внешние проявления (рефлексы), и в языке существуют средства для выражения стимулов и рефлексов состояний. Средства эти чрезвычайно разнообразны (например, *задрожал от страха, запрыгал от радости* – это рефлексы соответствующих эмоций).

Нас будет интересовать случай, когда само название состояния используется для обозначения связанных с ним ситуаций.

Полная схема "эмоциональной ситуации" включает следующие компоненты: каузатор Р (воздействующий фактор, стимул, причина), контакт (канал получения информации о каузаторе, способ воздействия фактора на Экспериенцера), собственно состояние S, различные "рефлексы" R внутреннего состояния – его внешние семиотические (воспринимаемые и "прочитываемые" наблюдателем) проявления, речевые и др. действия, мотивированные внутренним состоянием, и т.п. Это "горизонтальные" (каузально-временные) связи состояния. Кроме того, у него могут быть и "вертикальные" (иерархические) связи – когда на базе состояния возникает (пропозициональное) отношение к ситуации Р, ее оценка.



ИСХОДНЫМ и основным звеном данной схемы для нас является СОСТОЯНИЕ и его предикат. Распространение этого предиката на "внешние" элементы схемы – КАУЗАТОР (чем вызвано состояние) и РЕФЛЕКС (в чем проявляется состояние) – дает два основных типа производных значений эмоциональных слов:

каузативное = КАУЗИРУЮЩИЙ S;
экспрессивное = ВЫРАЖАЮЩИЙ S.

Всего – три основных типа значений:

- собственно **состояние** (*Мне весело/смешно*);
- **каузативное** (*смешно передразнивал начальника; смешной случай*);
- **экспрессивное** (*весело засмеялся/веселый смех; грустно посмотрел/грустный взгляд*).

В сфере глагольной лексики, которая тоже широко используется для обозначения эмоций и эмоциональных каузаций, причиной является факт (*Отсутствие транспорта возмутило участников соревнований*: причина возмущения – ‘тот факт, что транспорт отсутствовал’ [Vendler 1967; Арутюнова 1988]), а рефлексом – ситуация (*Участники соревнований громко и долго возмущались отсутствием транспорта*: глагол *возмущаться* метонимически обозначает речевое выражение соответствующего состояния [Апресян 1995а: 32]). В нашем случае картина несколько другая. Прилагательные и наречия обозначают не “целые” ситуации, а только признаки ситуаций. И именно эти признаки выступают в роли каузаторов и рефлексов состояний (подробнее см. ниже).

В “вертикальном” (иерархическом) плане семантическое развитие происходит от собственно состояния к пропозициональному отношению, оценке: *Страшно/грустно, что Р*.

3. СЕМАНТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СЛОВ: ОБЗОР КОНТЕКСТОВ И ЗНАЧЕНИЙ

Эмоциональные (и вообще экспериенциальные) слова, кроме основного – “лично-го” – контекста (состояние лица) употребляются во вторичных контекстах – каузативном и экспрессивном (хотя их значение, как будет видно дальше, не всегда определяется контекстом).

В роли **каузативного контекста** выступают названия ситуации-каузатора: *событие, происшествие, случай, поступок, сообщение, известие, весть, новость, рассказ, история, слова* и т.п.

В роли **экспрессивного контекста** выступают слова, обозначающие вид и голос, – это естественные и основные выразители внутренних состояний человека, по которым об этих состояниях могут судить другие люди: *лицо, глаза, взгляд, улыбка, вид, голос, интонация, тон, смех, хохот* и т.п., а также соответствующие глаголы – *взглянул, посмотрел, сказал, закричал, улыбнулся, засмеялся, захохотал* и т.п.

В зависимости от набора значений и их распределения по разным формам, позициям и контекстам можно выделить три основных группы эмоциональных (экспериенциальных) слов:

- 1) **нейтральные**: *весело/грустно/печально/радостно/спокойно/тревожно (на душе)*;
- 2) **“пассивные”**: *огорчен/испуган/удивлен/расстроен/встревожен*;
- 3) **каузативные**: *страшно (жутко)/смешно/скудно/интересно/странно/обидно/досадно/жалко/приятно/неприятно/противно/мерзко* (в принципе, в эту группу входит, конечно, и слово *стыдно*, однако оно не имеет полной парадигмы).

Почему последняя группа названа каузативной, будет ясно из дальнейшего описания.

И С К А З У Е М О Е

В предикативной позиции есть две разновидности.

1. В форме краткого прилагательного (причастия) с субъектом в Им. п.:

- 1) нейтральные: *Х весел/грустен/печален/спокоен...* – имеют значение (актуально переживаемого) состояния Х-а (подлежащего);
- 2) пассивные: *Х огорчен/расстроен/удивлен/обижен/рассержен/встревожен...* (чем-то) – имеют значение (актуально переживаемого) состояния Х-а;
- 3) каузативные: *Х страшен/смешон/интересен/странен/жалок* – не обозначают состояния подлежащего; “*Х страшен/смешон...*” означает не ‘Х-у страшно/смешно...’, а ‘У-у страшно/смешно...’ (**Х обиден* вообще употребляется только с неличным субъектом, ср. *Ваши упрёк обиден*).

2. В форме КС нейтральные и каузативные слова выражают состояние X-а:

- 1) X-у *весело/грустно/печально/Х-а спокойно/тревожно на душе*;
- 2) X-у *страшно/смешно/интересно/скучно/обидно*;
пассивные (отглагольные) слова не употребляются в форме КС:
- 3) *X-у *испуганно/огорченно/обиженно*.

II. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

1) Нейтральные слова имеют оба значения в зависимости от контекста:

- а) в экспрессивном контексте – ‘выражающий S’: *веселый/грустный/печальный/спокойный/тревожный взгляд (голос); веселый/грустный/радостный/печальный/спокойный вид; радостная улыбка*;
- б) в каузативном контексте – ‘каузирующий S’: *радостное/грустное/печальное/тревожное событие (известие)*;

2) пассивные (отглагольные) прилагательные имеют

- а) в экспрессивном контексте – экспрессивное значение: *испуганный/раздраженный/обиженный/удивленный взгляд (голос/вид) = взгляд/голос X-а* выражают состояние S X-а;
- б) в каузативном контексте – не употребляются: **испуганное/огорченное/удивленное событие (известие)*;

3) “каузативные” слова имеют только каузативное значение:

- а) в каузативном контексте – каузативное значение: *страшный/смешной/странный/досадный/неприятный случай; страшные/странные/приятные/неприятные события; страшный/смешной/скудный/интересный рассказ (история)*;
- б) в экспрессивном контексте – каузативное значение: *У него страшный/жуткий/странный/неприятный взгляд; страшный хохот; жалкая улыбка; У него был страшный/смешной/жалкий/неприятный/странный вид* – значит не ‘вид X-а, выражающий состояние X-а страшно/смешно/жалко/неприятно/странно и т.п.’, а ‘вид X-а, вызывающий у Y-а реакцию страшно/смешно/жалко/неприятно/странно’.

III. НАРЕЧИЕ

Нейтральные и пассивные слова всегда имеют экспрессивное значение:

- 1) X *весело/грустно/печально/радостно/спокойно посмотрел/сказал*;
- 2) X *испуганно/удивленно/раздраженно/обиженно посмотрел/сказал* = взгляд/голос X-а выражают веселость/грусть/испуг/удивление и т.д., которое испытывает X;
- 3) каузативные слова всегда имеют каузативное значение: *странно захохотал; неприятно/жалко улыбался; противно захихикал; странно посмотрел; смешно заковылял к выходу; интересно рассказывал; странно себя ведет; обидно дразнится/обзывается*.

В связи с наречиями возникают два вопроса. Первый: почему у наречий “нейтральной” группы нет каузативного контекста? Ведь у соответствующих прилагательных он есть. *Радостное сообщение* имеет каузативное значение, а *радостно сообщила* – экспрессивное (сообщение выражает собственную радость X-а). У глагола *сообщить*, как и у других глаголов речи, есть два аспекта: голос (характер произнесения), содержание (что сообщил). Теоретически у *радостно сообщил* (и других подобных выражений) могло бы быть две интерпретации – ‘голос X-а выражал радость X-а’ и ‘содержание сообщения X-а вызвало радость у Y-а’. Однако в сферу действия наречия попадает голос, но не содержание.

Второй вопрос: в каком контексте употребляются каузативные наречия, т.е. *интересно рассказывал, смешно передразнивал* – это экспрессивный контекст или каузативный?

На оба эти вопроса ответ один: глагол здесь – экспрессивный контекст – как для экспрессивных наречий, так и для каузативных. И те и другие наречия являются обстоятельствами ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ. Образ действия – это вариант реализации ситуации: КАК Х делает Р. И по отношению к обеим группам наречий глагольный контекст устроен одинаково: *Он весело засмеялся* значит ‘Он КАК-ТО засмеялся’ – и это выражало его состояние; *Он страшно захохотал* значит ‘Он КАК-ТО захохотал – ТАК, что (кому-то) стало страшно’.

Моделью такой структуры являются так наз. местоименно-союзные сложные предложения, где обе эти семантических составляющих распределены по разным частям сложного предложения:

Он т а к захохотал, что всем стало с т р а ш н о.

В первой части таких предложений выражается степень или образ действия, а во второй – следствие (результат). Причем образ действия (“как”) обозначен не содержательно, а местоименно (*так*), и охарактеризован не непосредственно, а через результат. Конструкции с каузативными наречиями вида *Он страшно захохотал* имеют такую же семантическую структуру, но в синтаксически свернутом виде: каузативное наречие обозначает образ действия – но не прямо, а КОСВЕННО, через вызываемую РЕАКЦИЮ (результат).

Даже в “интеллектуальных” словах типа *интересно* и *странно* каузатором является не содержание ситуации, а способ ее реализации (“образ действия”). *Он интересно рассказывал* – не значит ‘об интересных вещах’, он мог рассказывать и о скучных вещах, но ТАКИМ ОБРАЗОМ, что было интересно слушать, ср.: *Он умеет интересно рассказывать даже о самых скучных предметах*. Т.е. в сферу действия наречия образа действия содержание не попадает, даже если оно есть.

4. РАЗЛИЧИЯ В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ИСХОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Итак, слова всех трех рассмотренных групп в исходном значении СОСТОЯНИЯ внешне не отличаются:

Х-у грустно = ‘Х испытывает грусть’

Х-у страшно = ‘Х испытывает страх’

Х огорчен = ‘Х испытывает огорчение’

Тем не менее они имеют разные наборы производных значений (и, соответственно, разное поведение во вторичных контекстах).

Слова нейтральной группы имеют все три возможных значения – состояния, стимула и рефлекса. При этом только одно из них – исходное значение состояния – является, так сказать, полноценным. Производные значения возникают во вторичном контексте и определяются (“наводятся”) самим этим контекстом: в каузативном контексте нейтральные слова получают каузативную интерпретацию (*грустное известие*), в экспрессивном – экспрессивную (*грустная улыбка*). И хотя эти значения обычно фиксируются словарями, их, вообще говоря, можно “автоматически” получать из исходного – по заранее сформулированному правилу.

Если исходить из того, что для предиката состояния естественно распространяться на смежные с состоянием ситуации – каузатор и рефлекс (а именно это происходит с нейтральными обозначениями состояния), то нейтральные слова ведут себя вполне тривиально и предсказуемо, и их поведение не требует специальных комментариев. Они представляют интерес лишь постольку, поскольку могут служить фоном для двух других классов эмоциональных слов. На этом фоне пассивные и каузативные слова ведут себя нестандартно (и это требует объяснения): они имеют неполный набор значений.

Слова пассивной группы имеют два значения – состояния (в форме пассивного причастия) и рефлекса (в форме прилагательного). При этом “недостача” каузативного

значения объясняется просто: они входят в парадигму глагола, и выражение каузативного значения у них обеспечивает либо сам глагол, либо соответствующее активное причастие.

Слова каузативной группы имеют два значения – состояния и стимула. При этом они НИКОГДА (ни в каких контекстах) не имеют экспрессивного значения ("выражающий состояние, названное корнем"): если человеку весело, у него веселый взгляд; но если человеку смешно, у него не *смешной взгляд. Тем не менее они могут употребляться в экспрессивном контексте, – однако имеют там каузативное значение (и связанную с ним некорреферентную интерпретацию, о которой речь будет ниже):

э к с п р е с с и в н ы й к о н т е к с т

экспр. знач.	кауз. знач.
X весело засмеялся	X страшно захохотал
грустно улыбнулся	противно захихикал
↓	↓
X-у весело/грустно	Y-у страшно/противно

Это означает, что их каузативное значение не является контекстно обусловленным.

Наличие контекстно независимого каузативного значения и отсутствие экспрессивного значения – это особенности поведения, которые в целом можно назвать НЕЭКСПРЕССИВНОСТЬ. Неэкспрессивность – это внешнее проявление внутреннего, ингерентного семантического свойства слов группы *страшно/смешно* – именно слов, а не соответствующих состояний.

Отсутствие экспрессивных значений у слов *страшно, смешно, интересно, обидно* и т.п. вовсе не означает, что страх, обида, интерес и т.д. – это какие-то особые внутренние состояния, которые не имеют внешнего выражения во взгляде, голосе и т.п. Эти состояния имеют и внешние проявления, и языковые средства для их обозначения, ср. *испуганно/обиженно/со скучающим/обиженным видом/со страхом/с интересом* и т.п. (о языковых способах выражения эмоций ср. т.ж. [Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д. 1993]). Значит, дело не в том, что эти ЧУВСТВА невыразимы, а в том, что эти СЛОВА устроены таким образом, что не могут приобретать экспрессивного значения.

Подведем некоторые промежуточные итоги. Состояния, обозначаемые словами всех трех групп, могут иметь как причину, так и рефлексы, т.е. с денотативной точки зрения ничто не препятствует образованию у них двух возможных типов производных значений – 'стимула' и 'рефлекса'. Слова нейтральной группы имеют оба возможных значения, слова пассивной и каузативной групп – только одно (причем разных типов). Поскольку языковое поведение слова определяется его семантикой и является ее внешним выражением, то следует предположить, что различия в поведении нейтральных и не-нейтральных эмоциональных слов связано с различиями в устройстве самого их исходного значения: это разные семантические модели, разные способы концептуализации состояния.

Эти различия возникают за счет включения в семантику слова информации о связях состояния с другими ситуациями, прежде всего – с причиной состояния. Речь идет именно о разных способах представления, о разных языковых моделях, поскольку на уровне внеязыковой реальности любое состояние МОЖЕТ ИМЕТЬ причину. При этом слова нейтральной группы сами по себе не содержат указания на причину. Они обозначают "чистое" состояние, поэтому их значение легко "перерабатывается" вторичными контекстами: ничто не препятствует трансформации исходного семантического материала. Если же говорящий хочет указать на связь данного состояния с причиной, он это делает обычным "сирконстантным" способом: *Мне грустно потому, что весело тебе.*

Таким образом, слова нейтральной группы обозначают состояние, у которого МОЖЕТ БЫТЬ причина. Слова пассивной и каузативной групп обозначают состоя-

ние, у которого ЕСТЬ причина. Они представляют (концептуализуют) состояние как результат воздействия. Состояние, вызванное воздействием некоторого стимула и являющееся ответом на него, естественно назвать РЕАКЦИЕЙ (ср. определение реакций в [Апресян 1995]).

У слов пассивной группы связь с причиной:

– эксплицитно выражается морфологически – они являются "пассивными формами" каузативных глаголов и обозначают каузированное состояние;

– легко выражается синтаксически – они наследуют от глагола валентность причины (*огорчен/испуган чем*).

У слов каузативной группы связь с причиной тоже входит в семантику, хотя:

– ни каузативность прилагательных и наречий, ни пассивность КС внешне (морфологически) никак не выражается;

– причина не имеет стандартного синтаксического выражения.

Поскольку пассивные и каузативные слова названы так по наиболее характерному значению, но при этом имеют два значения (т.е. должны называться пассивно-экспрессивные (*испуганный*) и пассивно-каузативные (*страшно*)), то мы иногда для краткости будем называть их по характерному представителю: группа *страшно* и группа *испуган*.

Тот способ представления состояния, которым отличаются слова класса *страшно/смешно*, весьма характерен для русской языковой картины мира, а сами эти слова, по многим параметрам сопоставимые с глагольными дериватами, имеют в то же время ряд нетривиальных особенностей. Все это заслуживает специального обсуждения, которому и будет посвящена вторая часть работы. Мы рассмотрим: особенности экспериенциальной каузации и экспериенциальной реакции; тип реакции и тип причины, выражаемые словами группы *страшно/смешно*, и их отличия от глагольных дериватов; и, наконец, способы выражения связи с причиной у каузативных слов.

ЧАСТЬ II. СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ЭКСПЕРИЕНЦИАЛЬНЫХ КАУЗАТИВОВ И СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СВЯЗИ С ПРИЧИНОЙ

1. ЭКСПЕРИЕНЦИАЛЬНАЯ КАУЗАЦИЯ И ЭКСПЕРИЕНЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ

Как уже было сказано в начале, энергетическая и экспериенциальная сферы отличаются, в числе прочего, характером каузации.

В энергетической сфере человек воздействует на мир и что-то в нем изменяет, в информационной – мир воздействует на человека и оставляет в нем "информационные следы" – ощущения, впечатления, знания. В том и в другом случае имеет место воздействие, обычно сопровождающееся каким-то результатом, т.е. каузация, однако это воздействие происходит в разных направлениях: от человека к миру и от мира к человеку (еще раз напомним, что речь идет о ключевом звене каждой системы).

В экспериенциальной сфере каузация часто бывает неочевидной. Когда человека бьют, он ощущает боль – и это результат воздействия. Но это явное воздействие. Когда человек лежит на досках, на него никто специально не воздействует, – но он все равно что-то ощущает: ему жестко и, может быть, даже больно. В этом смысле здесь тоже можно говорить о каузации, поскольку ощущение, которое возникает у человека, – это реакция, РЕЗУЛЬТАТ.

Таким образом, экспериенциальная каузация – это не обязательно результат "направленного" воздействия, это может быть просто результат НАЛИЧИЯ во внешнем мире какой-то ситуации, с которой человек находится в КОНТАКТЕ и на которую он реагирует, – реагирует постольку, поскольку он вообще способен что-то ощущать и как-то реагировать на внешние условия и сигналы (т.е. в силу своей "экспериенциальной природы" – или, проще говоря, потому что он живой).

Вообще, в каком-то смысле любое состояние можно понимать как фрагмент, "осколок" некоторого отношения. Поскольку состояние (в отличие от свойства) –

ситуация временная [Булыгина 1982], то само его наличие чем-то обусловлено: либо тем, что было раньше (ср. *пьян* – раньше выпил), либо тем, что есть сейчас (*холодно* – не топят). Что касается рассматриваемых нами экспериенциальных состояний, то это, по-видимому, всегда одноместный фрагмент двухместного отношения. Прототипическое экспериенциальное состояние по своей природе предполагает связь между человеком и ситуацией внешнего мира: такое состояние есть отпечаток (образ) некоторого фрагмента мира в человеке, внутренний коррелят внешней ситуации. И у экспериенциальных реакций класса *страшно/смешно* эта внешняя ситуация является причиной.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Страшно/смешно* отличаются от *весело/грустно*, в конечном счете, только тем, что *страшно/смешно* – “явные” реакции, причина которых, как правило, известна и даже находится в поле восприятия. Однако состояния группы *весело/грустно* тоже чем-то обусловлены, в широком смысле пациентны. Вообще, в экспериенциальной (информационной) сфере, как и в энергетической, есть свои аналоги агентивности и пациентности, свои активные и пассивные процессы (ср. серии предикатов активного и пассивного восприятия *смотреть–видеть* и т.п.).

Форма КС, по-видимому, и является в русском языке наиболее иконичным способом выражения “безлично-пассивного”, обусловленного состояния – отношения. Для такого отношения важна определенная направленность – от мира к человеку. Отношения, имеющие противоположное направление, – от человека к миру (т.е. к другому человеку, к ситуации), ср. *злиться (на), презирать, сердиться* и т.п., – даже если они имеют причину, не могут принимать форму КС: **Мне презрительно! *Мне сердито.*

2. СЛОВА ГРУППЫ СТРАШНО/СМЕШНО НА ФОНЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ДЕРИВАТОВ

Поскольку слова со значением реакции – это “осколок”, фрагмент двухместного каузативного отношения, их естественно сравнивать с другими экспериенциальными каузативами – в первую очередь с глаголами и глагольными дериватами. Именно в этом сравнении отчетливо выступает их специфика.

Наиболее эксплицитным и наиболее полноценным средством выражения связи между (эмоциональной) реакцией и ее причиной являются глаголы эмоциональной каузации *Р огорчило/обрадовало/расстроило/удивило/возмутило* и т.п. *У–а*. Они имеют два ряда специальных морфологических форм для выражения, акцентирования двух аспектов каузативного отношения:

а) активные причастия (и производные от них прилагательные и наречия), выражающие причину, стимул;

б) пассивные причастия, выражающие собственно состояние, реакцию.

Если составить соответствующую пропорцию, то каузативные прилагательные группы *страшный* окажутся в “активном” ряду, а соответствующие реакции (*Мне страшно*) – в пассивном:

Причастие	Отглагольное прилагательное	Каузативное прилагательное
акт.: пугающий	– пугающие события –	страшное известие (“пугающее”) страшный взгляд (“пугающий”)
пасс.: испуган	испуганный ↓	(Мне) страшно (КС) ↓
экспр.:	испуганный взгляд	-----

Таким образом, глагол (парадигматический способ выражения каузативного отношения, т.е. связи между состоянием и его причиной) имеет два типа значений – ‘причина’ и ‘состояние’ (которые выражаются разными формами). Слова группы *страш-*

но/смешно ведут себя как глаголы, т.е. тоже обслуживают эти два типа значений (причем семантический сдвиг у них происходит как бы в пределах одной и той же формы).



В расширенную парадигму глагола, кроме собственно глагольных форм, входят также отглагольные прилагательные и наречия двух типов – "активные" (типа *пугающий*) и "пассивные" (типа *испуганный*).

Ближайшим аналогом каузативных прилагательных и наречий группы *страшный* являются активные прилагательные и наречия группы *пугающий*, которые, однако, имеют только каузативное значение, т.е. всегда характеризуют стимул (*пугающие перемены; с изумляющей быстротой*) и не могут употребляться в предикативной позиции в значении состояния (**Мне было пугающе; *Мне стало изумляюще*).

Ближайшим аналогом состояний–реакций группы *страшно* являются не отглагольные прилагательные (как можно было бы ожидать), а пассивные причастия типа *испуган*:

- 1) те и другие обозначают состояние;
- 2) те и другие включают в свою семантику связь с причиной, причем пассивные слова наследуют ее от глаголов эмоциональной каузации вместе с валентностью причины (*Х испуган/огорчен тем, что Р*);
- 3) нередко образуют очень близкие по смыслу пары, ср. *страшно–испуган, обидно–обижен, интересно–заинтересован*.

При этом в расширенной парадигме глагола есть, кроме значений стимула и реакции, еще и экспрессивные значения. В семантической парадигме слов группы *страшно/смешно* экспрессивных значений нет. Почему?

В парадигме глагола экспрессивные значения возникают не у причастий, а у отглагольных прилагательных (и наречий). В их семантике уже нет каузативной составляющей и соответствующей причинной валентности (**испуганный чем-то взгляд*), а есть только эмоциональная составляющая: *испуганный взгляд* значит 'выражающий испуг', так же как *грустный взгляд* значит 'выражающий грусть'.

При этом, превратившись в прилагательные, отглагольные слова уже не могут приобретать каузативного значения даже в каузативном контексте: **испуганное/удивленное событие* (в таком контексте употребляются: либо активное причастие СВ каузативного глагола (*обрадовавшее/огорчившее/удивившее всех событие*), либо активное причастие НСВ – или соответствующее прилагательное (*пугающий, отталкивающий*); либо "каузативное" прилагательное с суффиксом – ТЕЛЬ (*удивительный, огорчительный, утешительный, поразительный, успокоительный, трогательный* и т.п.); либо, наконец, каузативное прилагательное группы (*страшный/смешной*)).

Таким образом, чтобы у глагольных дериватов (исходно каузативных) возникло экспрессивное значение, они должны утратить связь с причиной и превратиться в "чистое" состояние. Слова группы *страшно* никогда не становятся экспрессивными, это означает, что они не могут утрачивать связь с причиной (если бы могли, имели бы экспрессивное значение) – их связь с причиной НЕУСТРАНИМА.

Поскольку пары вида *страшно–испуган, обидно–обижен* и т.п. описывают примерно одну и ту же эмоцию (и имеют примерно одинаковый набор семантических компо-

нентов), но при этом обнаруживают разные свойства, значит, различается внутреннее устройство самих слов – тип причины и соотношение с причиной.

Что собой представляет 'причина' каузативных слов и какое место она занимает в их семантической структуре?

В разных эмоциях разное соотношение собственно эмоциональной и рациональной составляющей [Апресян 1995: 370]. Например, в удивлении и возмущении рациональная составляющая больше, а в страхе – меньше. Но и одна и та же эмоция может, так сказать, повышаться, продвигаться от уровня непосредственной, неконтролируемой реакции в сторону рациональной оценки и отношения (ср. разные "качества" страха: *Похолодел от страха; Боюсь за тебя; Боюсь, что его нет дома*; о системе значений *бояться* [Зализняк 1992]). Таким образом, можно говорить о высших и низших эмоциональных реакциях, но при этом надо иметь в виду, что низшие реакции могут "повышаться". У высших и низших реакций разные типы причины и разное соотношение с причиной. Высшие эмоциональные реакции – *Р огорчило/обрадовало/возмутило/расстроило* *У-а* – это реакции на СОДЕРЖАНИЕ ситуации *Р*. Их причиной является ФАКТ. Факт находится в информационном пространстве человека, это некоторая транспозиция внешней ситуации во внутренний мир, особая семантическая модель этой ситуации [Арутюнова 1988]. Факт нельзя актуально воспринимать и нельзя подвергаться актуальному воздействию факта на некотором интервале. С другой стороны, факт нельзя и "устранить".

У низших реакций причину можно назвать ФАКТОРОМ. Фактор – это внешний раздражитель в зоне восприятия человека, на который человек актуально и непосредственно реагирует, но который, в принципе, можно устранить.

Начнем с парадигматических каузативов – глаголов.

Низшие реакции обозначают лишь немногие глаголы, причем в почти "физиологических" значениях:

раздражает капание воды;

больного беспокоит повязка/шум с улицы (ср.: *Нас беспокоит отсутствие известий* – здесь *Р* ('то, что известия отсутствуют') уже факт).

Парадигматической формой обозначения низших реакций является форма НСВ.

Фактор, в отличие от чисто информационного факта, находится в реальном пространстве и времени, и воздействует (инициирует и поддерживает соответствующую реакцию) на некотором интервале.

У низших реакций соотношение с причиной (фактором) с и н х р о н н о е. Это не значит, что у низших реакций не может быть начала и конца (воздействие фактора может начинаться и прекращаться). Однако существенной для низших реакций является именно синхронность: это отношение между двумя одновременными каузально связанными ситуациями – наличием фактора и наличием состояния–реакции.

Для глаголов высших эмоциональных реакций исходным является СВ (хотя морфологически он обычно производный).

Глагол СВ обозначает информационное СОБЫТИЕ (изменение внутреннего состояния человека). Это событие включает по крайней мере три составляющих:

1) собственно информационная: *У УЗНАЛ*, что *Р*;

2) ОЦЕНКА (ОТНОШЕНИЕ): *У* рассматривает ситуацию *Р* как плохую/хорошую для себя/для других; соответствующую/не соответствующую норме и т.п.

3) ЭМОЦИЯ (РЕАКЦИЯ) – изменение эмоционального состояния *У-а* (так сказать, "задело" – "не задело"; это очень важная составляющая, потому что ни знание, ни оценка сами по себе автоматически не приводят к образованию эмоции, реакции).

За пропозициональным актантом *Р* скрываются две разных вещи:

– динамическая – причина–событие, то, что действует во времени: *У* узнал, что *Р*;

– статическая – причина–содержание (факт).

СВ акцентирует переход в некоторое эмоциональное состояние – само изменение, и на первом плане у него динамическая причина – событие. Соотношение с причиной у

СВ – последовательное (несинхронное): узнал → отреагировал → переживает.

У глагола НСВ, по сравнению с глаголом СВ соответствующего значения, оценка и эмоция меняются местами: оценка выдвигается на первый план, а эмоция уходит на второй план. Когда человек говорит: *Меня огорчает/возмущает, что Р* – он, строго говоря, не обязан испытывать это чувство, он просто таким образом характеризует (оценивает) ситуацию – как огорчительную, возмутительную и т.п.

Тем самым эмоциональный каузатив превращается в оценку, пропозициональное отношение:

Нас огорчает/возмущает/удивляет, что Р

Пропозициональное отношение вообще не находится во времени. оно находится "над временем" – в информационном пространстве человека. Такому отношению не нужен вид, поэтому употребляется немаркированный вид – НСВ. А кроме того, могут использоваться и неглагольные формы – слова КС:

Огорчительно/удивительно/возмутительно, что Р

Таким образом, соотношение с Р у пропозициональных установок НСВ такое же, как у глаголов низших реакций НСВ, – синхронное. И в этом сходстве есть глубокий смысл. Глаголы НСВ обозначают некоторое – одновременное или вневременное, но в конечном счете синхронное – СООТНОШЕНИЕ между некоторым состоянием субъекта и объектом оценки или фактором, т.е. само наличие связи между внешней ситуацией и ее экспериенциальным (информационным) коррелятом.

В группе каузативных слов тоже есть "низшие" реакции – и не только эмоциональные, но и физиологические – *больно, тяжело, страшно, смешно, противно, мерзко*; и есть более продвинутые в сторону пропозициональных установок и оценок. Например, *странно* практически не употребляется "изолированно", в виде чистой реакции, ср. **Мне стало странно*, а требует пропозиционального дополнения (*Странно, что Р*). При этом "низшие" реакции тоже могут повышаться до оценок (*Страшно, что Р*).

Слова низших реакций типа *больно, тяжело, смешно, страшно* предполагают, что человек подвергается воздействию некоторого фактора-раздражителя на некотором интервале и синхронно ощущает на себе это воздействие, т.е. испытывает состояние S в качестве непосредственной, неустранимой, непреодолимой, вынужденной реакции на Р.

Близким аналогом такого рода связи с причиной-фактором являются экспериенциальные значения глаголов *жать, давить, душить, жечь* и т.п. (у этих глаголов есть также и каузативные значения, ср. *жать руку приятелю; врач давит на живот*, т.е. те же два типа значений, что и у группы *страшно*, см. [Кустова 1998]). В экспериенциальном значении *Мне ботинок жмет / Меня этот галстук просто душит / Руку жжет / Рюкзак давит на плечи* они имеют субъекта состояния – Экспериенцера, выражаемого так же, как и при безличных глаголах состояния (*мне хочется/не спится; меня тошнит*), и обозначают реакцию на СИНХРОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРА на некотором интервале, причем воздействие фактора, как правило, устранимо (*Мне тяжело нести рюкзак; Рюкзак сильно давит на плечи – можно снять*).

Теперь мы можем вернуться к вопросу о том, почему пассивные слова утрачивают связь с причиной, а каузативные – нет.

Пассивные причастия *Х огорчен/расстроен* (в отличие от соответствующих каузативных глаголов) акцентируют собственно состояние – результат действия причины Р. Однако соотношение с причиной у них такое же, как у глагола СВ – последовательное (несинхронное): узнал → отреагировал → переживает. Причина-событие действует один раз ('узнал, что Р'), и второй раз подействовать уже не может. Состояние типа *огорчен/обрадован/расстроен* и т.п. является, так сказать, ИНЕРЦИОННЫМ: оно возникло в результате импульса, а дальше существует по инерции и постепенно уга-

сает. Поэтому пассивные причастия могут утрачивать причину в "стадии" прилагательных: состояние хотя и имело связь с причиной, но потом существует уже само по себе.

Состояния-реакции типа *страшно/смешно* – тоже результат, но не инерционный (как *огорчен*), а синхронный (как и глаголы *беспокоит (повязка)*; *раздражает (капание воды)*; *(ботинок) жмет*; *(рюкзак) давит* и т.п.); они, как и пропозициональные установки (и в отличие от реакций СВ), описывают не изменение, а соотношение:

Р испугало Y-а



Y испуган

Р воздействует на Y-а



Y-у страшно

Из-за этой синхронности из их семантической структуры нельзя изъять причину (без причины не будет и самого состояния) – ее можно только "повысить": преобразовать в объект оценки (содержание пропозициональной установки).

3. ОТРАЖЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДВУХВАЛЕНТНОСТИ В ЯЗЫКОВОМ ПОВЕДЕНИИ СЛОВ ГРУППЫ *СТРАШНО/СМЕШНО*

Итак, слова группы *страшно/смешно*, будучи реакциями, предполагают связь между двумя членами каузативного отношения – причиной и результатом – состоянием лица, т.е. являются семантически двухместными и имеют две валентности: субъекта состояния и причины состояния. Однако, в отличие от глаголов, которые являются парадигматическим способом выражения каузативного отношения, реакции группы *страшно/смешно* не имеют полноценных способов выражения всех элементов такого отношения и выражают его в более или менее редуцированном виде.

У КС субъект реакции имеет стандартное синтаксическое выражение в форме Дат. 'парадигматической для Экспериенцера), хотя может и не иметь поверхностно-синтаксического выражения, если субъект реакции совпадает с говорящим (ср. [Падучева 1991]) или если он обобщенный [но тогда и КС из реакции превращается в оценку, ср. *Ему было стыдно/неловко/страшно врать/признаваться/просить/обращаться к...* ('испытывал стыд/неловкость/страх оттого, что...') vs. *Стыдно врать/Врать стыдно* ('врать нехорошо')].

Что касается причины, КС, конечно, не имеет таких способов выражения причины, какие есть у глаголов экспериенциальной каузации. Тем не менее наличие у слов КС-реакций причинной составляющей проявляется в ряде особенностей их языкового поведения и в их системных парадигматических связях, а именно:

- КС подчиняет инфинитив особого рода;
- у слов КС из причины развивается валентность содержания;
- с прототипическими КС-реакциями соотносятся только каузативные наречия и прилагательные.

У каузативных прилагательных и наречий валентность причины "забита", поскольку они сами и являются обозначениями причины-фактора. Валентность субъекта того состояния, которое вызывается обозначаемой ими причиной, у них синтаксически невыразима, однако наличие связи с субъектом реакции проявляется в их некорреферентности.

В форме КС слова со значением состояния-отношения (состояния-реакции) подчиняют инфинитив. Этот инфинитив может выражать собственно причину: *Страшно умирать* (пример Ю.Д. Апресяна); *Страшно терять друзей*; *Обидно получить отказ*; *Неудобно себя хвалить*. Однако в таком случае КС не обозначает непосредственную реакцию, а продвигается в сторону оценки, пропозиционального отношения. – и инфинитив обычно может быть преобразован в пропозициональный объект (очень часто при этом предполагается обобщенный субъект), ср.: *Страшно, что мы*

теряем друзей – *Страшно, когда мы теряем друзей.* Такой же инфинитив могут присоединять и нейтральные слова, поскольку они тоже могут обозначать о б у с л о в л е н н о е состояние → оценку → отношение: *Грустно расставаться с друзьями – Грустно, что мы расстаемся – Грустно, когда (если) приходится расставаться с друзьями.*

Однако более свободно КС присоединяет другой инфинитив – обозначающий ситуацию, которая является КАНАЛОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ фактора на Экспериенцера, т.е. ситуацию КОНТАКТА со стимулом (ср. схему в разделе 1.2), тот интервал, на котором У подвергается воздействию, находится в сфере действия фактора: *Тяжело нести чемодан; Страшно идти по темному коридору; Смешно смотреть, как он ковыляет к выходу.*

Здесь тоже выражается связь с причиной – но косвенно (*Страшно идти по темному коридору* – страх вызывает темнота и что-то связанное с ней, но воздействие этого фактора связано с ситуацией, обозначенной инфинитивом).

Аналогичные особенности выражения связи с причиной имеют и другие экспериенциальные слова, ср.:

Он со страхом прислушивался к шагам в коридоре;

Он недоверчиво оглядел посылку

– формально-синтаксически они подчиняются обозначению канала восприятия (*слушал, смотрел*), но семантически связаны с причиной (или ее "материальными заместителями" – шаги, посылка).

Контакт с фактором может быть "физическим" (*тяжело нести*). Однако основные каналы воздействия на экспериенциальную сферу – информационные: *страшно/смешно/тяжело смотреть на это/слушать это*. С этой точки зрения стандартным и парадигматическим контекстом для КС являются глаголы *смотреть* и *слушать* (а также *видеть* и *слышать*), поскольку зрение и слух – основные каналы получения информации (и важные способы контакта с внешней ситуацией). В каком-то смысле любое выражение с каузативным экспериенциальным словом предполагает наличие канала информации, и его можно эксплицировать:

смешно заковылял к выходу – смешно было смотреть, как ковыляет;

интересно рассказывал – интересно было слушать, и т.д.

Но почему в одних случаях используются "активные" глаголы восприятия (*слушать, смотреть*), а в других – "пассивные" (*видеть, слышать*)? "Активные" глаголы восприятия так же, как и глаголы физического действия (типа *нести*), обозначают ситуацию контакта со стимулом и связаны с ИНТЕРВАЛОМ, на котором происходит воздействие. При этом в сферу действия КС попадают внешние – наблюдаемые, непосредственно воспринимаемые – признаки ситуации.

"Пассивные" глаголы – это тоже канал поступления информации, но в качестве стимула здесь выступает и воздействует другая информация – содержание воспринимаемой ситуации (факт), ср.:

Как он похудел! Страшно смотреть – признаки;

Приятно видеть такое единение – содержание (**приятно смотреть на такое единение*);

На него всегда приятно смотреть – приятный вид;

Всегда приятно вас видеть – приятно, что мы общаемся;

Приятно слушать такую музыку – приятная музыка (признаки);

Приятно слышать такие новости – хорошие новости (содержание);

Странно видеть его в такой компании – Странно, что он в этой компании (факт);

Странно слышать от вас подобные заявления – странные заявления (содержание);

Более "физиологические" реакции типа *противно* сочетаются только с активными глаголами:

противно слушать/противно смотреть. но не **противно видеть/противно слышать*.

Болес "умозрительные" реакции типа *странно* предпочитают пассивные глаголы:

Странно слышать от вас подобные заявления – а не **слушать*:

Странно видеть его в такой компании – а не **смотреть*.

А, например, у *приятно* есть и более "физиологический" вариант – ощущение. и более "содержательный" – оценка (*приятно. что*), ср.:

Приятно слушать музыку и *Приятно слышать о ваших успехах*.

Разумеется, такое распределение глаголов активного и пассивного восприятия – не абсолютное правило. а лишь тенденция (ср., например, *Приятно снова видеть горы/смотреть на горы* (пример предложен Ю.Д. Апресяном) – в обоих случаях выражается, скорее всего, оценка – что-то вроде 'хорошо, что я снова в горах': причем для такой интерпретации важен контекст обстоятельства *снова*).

Таким образом, контекст "пассивных" глаголов – это шаг к пропозициональной установке.

Реакции, как и глаголы экспериенциальной каузации, могут трансформироваться в пропозициональные отношения. связанные с содержанием. Причем такая трансформация может происходить не только с эмоциональными, но даже с физиологическими реакциями:

Больно, что его нет с нами;

Горько, что он нас покинул;

Страшно, что он солгал.

Валентность содержания имеет у этих слов такое же происхождение. как и у глаголов эмоциональной каузации типа *огорчить*, – она развивается из причины. Появление валентности содержания у слов типа *больно, горько, тяжело* (физиологических реакций) было бы совершенно необъяснимым, если бы они с самого начала не были "скрытыми каузативами".

Нейтральные и пассивные наречия (*весело, испуганно* и т.п.) в экспрессивном значении обозначают такой признак действия, который свидетельствует о состоянии субъекта э т о г о действия, т.е. у наречия и глагола один и тот же субъект. Такое употребление наречий можно назвать **коререферентным**:

Х грустно сказал – Х сказал, Х-у грустно;

Х испуганно посмотрел – Х посмотрел; взгляд Х-а выражает испуг, который испытывает Х.

Каузативные наречия обозначают такой признак действия Х-а, который вызывает реакцию у Y-а, т.е. они характеризуют действие Х-а через отсылку к состоянию д р у г о г о человека – неучастника. наблюдателя, воспринимающего эту ситуацию со стороны:

Х интересно/смешно рассказывал – Х рассказывал, Y-у – "получателю" информации – интересно/смешно;

Х страшно закричал/завыл: Х закричал/завыл – Y-у страшно.

Синтаксически такие наречия относятся к предикату Х-а. но указывают на состояние Y-а – в этом смысле их можно назвать **некоререферентными** (то же самое относится и к каузативным прилагательным, например, *У Х-а был страшный вид* значит не "вид. выражающий страх Х-а", а "вид Х-а. каузирующий страх у Y-а". ср.: – *Ты сдаешься или нет? – прокричал страшным голосом Воланд* (М.А. Булгаков) – страшно не Воланду, а тем, кто слышит его голос).

Некоререферентное употребление имеют не только слова каузативной группы. но и другие слова, выражающие экспериенциальное (информационное) отношение или интерпретацию (оценку в широком смысле), в неосновных. "вторичных" формах и синтаксических позициях, ср.: *неслышно подошел; незаметно пробрался; непонятно*

объяснил; ср. тж. *Он легкомысленно позвонил в 5-ю квартиру* (пример из работы [Филипенко 1999]).

Эксплицитным и синтаксически полноценным способом выражения связи между субъектом и внешней (воспринимаемой, оцениваемой и т.п.) ситуацией являются предикаты пропозиционального отношения и оценки (интерпретации), у которых субъект и пропозициональный объект присутствуют в предложении в явном виде, ср.: *Я не ожидал, что он придет*. Здесь ситуация, соответствующая пропозициональному объекту, "подчиняется" предикату отношения. Соотносительные с ними (и очень часто производные от них) прилагательные и наречия выражают то же отношение в свернутом виде, точнее говоря, "обратным способом": *Он приехал неожиданно*. Здесь доминантой является воспринимаемая и оцениваемая ситуация, а предикат наблюдателя, интерпретатора или другого "постороннего" субъекта вставляется в описание этой ситуации и подчиняется ее предикату. Это синтаксически неполноценная, редуцированная форма выражения информационного отношения: субъект такого отношения занимает относительно низкую синтаксическую позицию (*неожиданно/незаметно для нас*), либо вообще оказывается синтаксически невыразимым *страшно захохотал* – **страшно для меня*; такова же природа синтаксически невыразимого наблюдателя в предложениях типа *На дороге показался всадник* и субъекта сознания, контролирующего метатекстовые (в частности, вводные) слова [Падучева 1991].

Такие свернутые, редуцированные предикаты отношения (*непонятно, неслышно, страшно, легкомысленно* и т.п.) имеют некорреферентное употребление (т.е. их субъект некорреферентен субъекту основного предиката предложения) по одной и той же причине: контролируемый ими предикат вставляется в "чужую" ситуацию, они описывают связь человека (субъекта реакции, восприятия, оценки) с в н е ш н е й ситуацией – его состояние, обусловленное этой ситуацией, или отношение к ней. Экспериментер, как и субъект оценки, – это всегда "посторонний", он всегда воспринимает некоторую ситуацию со стороны, находится за ее пределами, даже если это его "собственная" ситуация, ср.: *Я понимаю, что я не прав*.

Что касается каузативных наречий (и прилагательных), то у них тоже есть такая валентность "внешнего" субъекта, и в основном, исходном каузативно-экспериментальном значении они не имеют корреферентного употребления. Это относится не только к эмоциональным реакциям, но и к физиологическим реакциям на механическое воздействие или воздействие окружающей среды. Вот некоторые примеры.

Температурные реакции: *жарко – холодно – тепло*.

"Температурные" слова в исходном "температурном" значении имеют некорреферентное (каузативное) употребление в форме наречий:

Варенуха (X), навалившись на стол, жарко дышал в щеку Римского (Y) – жар ощущает Y (Римский), а не X (Варенуха);

но не имеют корреферентного:

**Холодно стоял на морозе; *Жарко сидел у батареи.*

Если человек стоит на морозе и ему холодно, то это ситуации, безусловно, связанные. Почему нельзя сказать **Холодно стоял на морозе*, т.е. почему наречие *холодно* не может подчиняться предикату своего субъекта и характеризовать эту ситуацию (*стоять на морозе*) в качестве ее параметра, ее аспекта? Очевидно, потому, что *холодно* – это каузированное состояние (реакция). *Холодно* либо вставляется в "чужую" ситуацию – обозначая тот ее параметр, те ее признаки, которые вызывают реакцию, либо употребляется в форме КС – и тогда выражает связь с причиной обычным для этой формы способом: подчиняет инфинитив, обозначающий ситуацию контакта с фактором (интервал воздействия, каковым и является *стоять на морозе*):

Холодно стоять на морозе; Жарко спать на печке.

Вкусовые реакции: *горько – сладко*

*Горько есть – но не *горько ел;*

эти слова могут иметь некоррелятивное прочтение и в метафорических значениях: *горькие истины*.

Колкость (но не острота)

колючие растения; колючий взгляд; колкие замечания.

Боль и тяжесть

Врач больно сжал запястье пациенту: врач сжал – пациенту больно:

Диверсант тяжело навалился на пограничника: диверсант навалился – пограничнику тяжело.

**Больно сжал кулак → до боли.*

Больно обжегся возможно потому, что *обжегся* – это возвратный глагол. здесь один референт совмещает две роли – "Виновника" и Пациенса, причем боль испытывает именно Пациенс.

Коррелятивные употребления этих наречий связаны с другими ("не-реактивными") значениями (ср. *тяжело ступал*).

Комфорт/дискомфорт: жестко – мягко – удобно – неудобно

Мягко и жестко в значении ощущений человека не употребляются в качестве наречий, а употребляются только в виде КС:

**мягко сидел → (было) мягко сидеть;*

**жестко спал → жестко спать (на досках).*

Прилагательные *мягкий* и *жесткий* характеризуют признак предмета X через воздействие, производимое на человека Y, через ощущения Y-а: *мягкая/жесткая постель* – на которой мягко/жестко спать человеку; *мягкое наказание* – не оказывающее значительного отрицательного воздействия на Y-а; *жесткие требования/условия/сроки* – дискомфортные для Y-а. Между прочим, *твердый* не имеет таких свойств, хотя свойство "твердый" тоже устанавливается (определяется) путем "тактильного" взаимодействия: *твердый* – это такой, который сопротивляется нажатию, не поддается сжатию (ср. [Рахилина 2000]). Но в случае *твердый* человек концентрируется на свойстве объекта, а в случае *жесткий* – на своих ощущениях от взаимодействия с ним.

**Неудобно сидел → неудобно сидеть; Неудобно сели* – это уже не физиологическая реакция, а оценка "выгодности" позиции (например, отсюда не видно): *удобно устроил-ся* – возвратный глагол, *удобно* относится к Пациенсу.

Итак, рассмотренные нами слова группы *страшно/смешно* могут обозначать оба элемента каузативного отношения – стимул и реакцию. В позиции реакции (пассивное значение) они имеют скрытую (а иногда и явную) связь с причиной, выражаемую инфинитивом ситуации контакта или инфинитивом причины: в позиции стимула (каузативное значение) – скрытую связь с субъектом реакции и, вследствие этого, некоррелятивное употребление.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Экспериментальные слова имеют и другие характерные значения:

оценка/отклонение от нормы ('плохой, хороший, некрасивый, необычный' и т.п.): *ужасный вид; ужасные условия; Он страшный человек; страшный* (о внешности человека = 'некрасивый'; о внешнем виде предмета, ср. *страшный плац*): *Она удивительный человек; потрясающий фильм; поразительный голос* (очень необычный) и т.п.;

степень/количество/"величина": *ужасно умный; жутко красивый; жуткий мороз; Страшно рад слышать ваш голос!; тяжелая болезнь; человек удивительной доброты; больно умный* (прост.), *не больно старался; смешные цены; жалкие 5 рублей*; ср. также: *ощутимая/чувствительная потеря; заметный рост; внушительная при-*

бавка; невиданная наглость; неслыханная дерзость; поразительное/потрясающее нахальство.

Однако эти значения нерегулярны (лексикализованы) – как в смысле их наличия у того или иного слова, так и в смысле результата семантической деривации (например, *страшный* – это ‘много’, а *смешной* – ‘мало’).

Значения же экспериенциального ряда имеют почти грамматическую регулярность и “обязательность”: они образуются на базе ‘состояния’ по определенным семантическим формулам с предсказуемым семантическим результатом, причем набор этих значений определяется типом связи состояния с причиной в исходной форме парадигмы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аничков И.Е. 1997 – Проблема частей речи // Аничков И.Е. Труды по языкознанию. СПб., 1997.
- Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д. 1993 – Метафора в лексикографическом толковании эмоций // ВЯ. 1993. № 3.
- Апресян Ю.Д. 1995 – Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Ю.Д. Апресян. Избр. труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Апресян Ю.Д. 1995а – Типы информации для поверхностносемантического компонента модели “Смысл ⇔ Текст” // Ю.Д. Апресян. Избр. труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Арутюнова Н.Д. 1988 – Типы языковых значений. Оценка, событие, факт. М., 1988.
- Булыгина Т.В. 1982 – К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982.
- Вежицкая А. 1996 – Русский язык // Вежицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996.
- Виноградов В.В. 1947 – Русский язык (грамматическое учение о слове). М; Л., 1947.
- Галкина-Федорук Е.М. 1957 – О категории состояния в русском языке // РЯШ. 1957. № 4.
- Зализняк Анна А. 1992 – Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния. München, 1992.
- Исаченко А.И. 1955 – О возникновении и развитии категории состояния в славянских языках // ВЯ. 1955. № 6.
- Кибрик А.Е. 1992 – Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.
- Кустова Г.И. 1998 – Производные значения с экспериенциальной составляющей // Семиотика и информатика. М., 1998. Вып. 36.
- Падучева Е.В. 1991 – Говорящий: субъект речи и субъект сознания // Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991.
- Поспелов Н.С. 1955 – В защиту категории состояния // ВЯ. 1955. № 2.
- Рахилина Е.В. 2000 – Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. М., 2000.
- Травничек Ф. 1956 – Заметки о категории состояния // ВЯ. 1956. № 3.
- Филипенко М.В. 1999 – Предикативные наречия на -О // Типология и теория языка. От описания к объяснению. М., 1999.
- Шапиро А.Б. 1955 – Есть ли в русском языке категория состояния как часть речи? // ВЯ. 1955. № 2.
- Щерба Л.В. 1928 – О частях речи в русском языке // Л.В. Щерба. Избранные работы по русскому языку. М., 1957.
- Chafe W.L. 1971 – Meaning and the Structure of Language. Chicago; London. 1971. [русск. пер.: Чейф У.Л. Значение и структура языка. М., 1975].
- Fillmore Ch.J. 1968 – The case for case // E. Bach, R. Harms (eds), Universals in linguistic theory. New York, 1968. [русск. пер.: Ч. Филмор. Дело о падеже // НЗЛ. М., 1981. Вып. X.].
- Vendler Z. 1967 – Causal relations // The Journal of Philosophy. 1967. № 21. [русск. пер.: Вендлер З. Причинные отношения // НЗЛ. М., 1986. Вып. XVIII].

© 2002 г. Й. НЁРГОР-СЁРЕНСЕН

**РЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ РУССКИХ МЕСТОИМЕНИЙ
(В СОПОСТАВЛЕНИИ С МЕСТОИМЕНИЯМИ НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ
СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ)**

В настоящей статье рассматриваются референциальные свойства некоторых русских местоимений в функции анафорических слов (ср. [Арутюнова 1998; Булыгина, Шмелев 1991; Падучева 1981; 1982; Шведова, Белоусова 1995; Шмелев 1992; 1996; КОНСБЯ 1979]). Особое внимание уделяется указательному местоимению *этот* и личному местоимению 3-го лица *он* (*она*, *оно*, *они*). Выбор этих местоимений не случаен. Можно сказать, что они являются основными анафорическими местоимениями русского языка. Это утверждение основывается не только на том, что названные местоимения употребляются чаще каких-либо других местоимений, выполняющих анафорическую функцию, но чаще и на том, что, как анафорические слова, местоимения *он* (*она*, *оно*, *они*) и *этот* имеют наиболее обобщенное значение. Другим анафорическим местоимением как, например местоимениям *тот*, *такой*, свойственны более специализированные функции.

В дальнейшем обсуждаются некоторые до сих пор редко отмечавшиеся случаи функционирования личного местоимения 3-го лица и указательного местоимения *этот* как референциальных слов. В конце статьи русские местоимения сопоставляются с соответствующими указательными и личными местоимениями некоторых других славянских языков. Отмечаются существенные различия в функции формально тождественных местоимений разных славянских языков. Обращается также внимание на то, что эти различия не совпадают с историко-генетически обоснованным подразделением славянских языков на восточнославянские, западнославянские и южнославянские языки. В конце статьи анализируемые явления получают типологическое обоснование.

В традиционных работах по русскому языку личное местоимение 3-го лица описывается как референциальное, а в тексте еще и как кореференциальное. См. пример (1), где местоимение *он* указывает на тот же референт, что и антецедент *Андрея*.

- (1) Ласки от *Андрея* Настена по-прежнему видела немного, но и дурить *он* стал заметно меньше (В. Распутин).

Примеры такого типа настолько частотны, что создается впечатление, будто личное местоимение в анафорической функции всегда кореференциально. Однако некоторые лингвисты, и в частности, Е.В. Падучева, обращали внимание на более редкие случаи употребления этого местоимения как некорреференциального. Е.В. Падучева [Падучева 1985: 147–148] приводит ряд примеров, в том числе примеры (2) – (4).

- (2) Те, у кого нет *велосипеда*, мечтают *его* завести.
 (3) Правда, в *Вентимилье* пока нет *велосипедной трассы*, но уже собираются деньги для *ее* постройки.
 (4) Иван был *тракторист*, каким *его* рисуют на обложках журналов (Ф. Абрамов).

К примерам Е.В. Падучевой можно добавить пример (5).

- (5) Государственная власть парализована. В стране нет *президента*. Его выборы так и не удалось провести (Правда, 1988).

Е.В. Падучева обращает внимание на две особенности личного местоимения 3-го лица в примерах типа (2) – (5). Во-первых, несмотря на то, что в анализируемых примерах нелегко указать на антецедент (см. слова, отмеченные курсивом), местоимение не указывает на тот же самый референт, что антецедент. Иными словами, оно не является кореференциальным. К этому можно добавить, что вообще представляется спорным вопрос о том, является ли местоимение референциальным в таких случаях, и если его считать референциальным, то в каком смысле? Эта проблема будет обсуждаться ниже. Во-вторых, Е.В. Падучева утверждает, что роль местоимения в примерах этого типа "сводится к тому, что оно заменяет антецедент, т.е., всего лишь дает возможность избежать повторения слов". На этой основе она – по аналогии с английским термином "pronouns of laziness" предложенным Гичем [Geach 1962], называет их *местоимениями повтора* [Падучева 1985: 147].

Таким образом, Е.В. Падучева убедительно описывает некоторые характерные черты данного употребления личного местоимения 3-го лица. Однако она не обращает внимание на одну, на наш взгляд, очень важную особенность данных примеров, а именно на характер антецедентов. В примерах (2), (3) и (5) антецедент – существительное в родительном падеже при отрицании. При таком употреблении родительный падеж указывает на отсутствие или несуществование данного объекта в описываемой ситуации. В примере (4) антецедент выполняет синтаксическую роль именного предиката, что, как правило, связывается с нереференциальностью. Оказывается обоснованным заключение о том, что в примерах (2) – (5) антецеденты не являются референциальными в том конкретном смысле, в каком является референциальным антецедент примера (1).

Можно заключить, что хотя для местоимения 3-го лица антецедент обязателен, референциальность в традиционном смысле для него необязательна. Таким образом, русское местоимение 3-го лица отличается от соответствующих местоимений английского, немецкого, французского, скандинавских и многих других языков. Лингвисты, которые исследовали подобные примеры, чаще всего рассматривали их как исключения, как изолированные отклонения от общих правил употребления данного местоимения. Мы, однако, будем исходить из того, что эти, на первый взгляд, незначительные различия между языками отражают существенные расхождения. Это связано с тем, что референтность, с моей точки зрения, не универсальное понятие. Нельзя, конечно, представить себе язык без референциальной системы. Однако из этого не следует, что понятие референтности можно определить независимо от специфики отдельного языка.

Чтобы обосновать этот тезис, мы ниже сопоставим материал русского языка с материалом некоторых других славянских языков, но сначала проанализируем еще несколько примеров на русском языке. Выше мы уже рассмотрели пример, в котором роль именного предиката выполняет антецедент, см. пример (4). Однако и само местоимение может употребляться в функции предиката в русском языке, см. примеры (6) – (9).

- (6) Обсуждение на постоянных комиссиях Верховного Совета СССР проходит так, что позволяет любую проблему высветить с разных сторон. Для этого роль оппонента выполняет содокладчик, руководитель совместной комиссии. *Им* был депутат Е. Муравьев (Известия, 1988).
- (7) И поэтому потребовались качественно новые энергетические источники. *Ими* и стали атомные электростанции (Знание–сила, 1989: 1).
- (8) Дед и впрямь казался ему старым, человеком другого века (он и был *им*),... (Л. Зорин).

(9) И хотя она уже давно по должности не комиссар, но она остается *им* по званию.

С семантической точки зрения эти примеры представляют собой два типа предложений. В примерах (6) и (7) местоименные формы *им* и *ими* входят в предложения *идентификации*. Рассмотрим подробнее пример (6): Антецедентом местоимения *им* является существительное предыдущего предложения *содокладчик*. Оно имеет референциальный характер; поэтому и местоименную форму *им* следует считать референциальной, точнее сказать кореференциальной, так как она указывает на тот же референт, что и существительное *содокладчик*. В предложении, в которое входит местоимение *им*, подлежащее *депутат Е. Муравьев* тоже референциально. Коммуникативная функция этого предложения состоит в том чтобы *идентифицировать* референт именного предиката (т.е. местоимения *им*) с референтом подлежащего. В этом и заключается специфика предложения идентификации.

Аналогично можно интерпретировать и пример (7). Как местоименная форма *ими*, так и ее антецедент *новые энергетические источники* являются референциальными. Подлежащее последнего предложения *атомные электростанции* тоже референциальное выражение, и коммуникативная функция этого предложения состоит в том, чтобы уподобить референты именного предиката и подлежащего.

В примерах (8) и (9) представлены предложения с местоименной формой *им* другого типа, а именно предложения *характеризации*. Формально предложение характеристики отличается от предложения идентификации тем, что не только само местоимение, но и его антецедент являются именными предикатами. Следует также обратить внимание на то, что они являются предикатами другого семантического типа, а именно предикатами характеризующими и, следовательно, неререференциальными. Обратимся к примеру (8). Здесь антецедентом следует считать *старым человеком другого века*, т.е. составное характеризующее, явно неререференциальное, выражение. Указывая на неререференциальный антецедент, местоименная форма *им* тоже воспринимается как неререференциальная.

Пример (9) можно интерпретировать аналогичным образом. Он приведен для того, чтобы показать, что подлежащее (*она*) и именной предикат (*им*) не обязательно характеризуются одним и тем же родом. Местоимение *им* согласуется в роде с именным предикатом предыдущего предложения *комиссар, который, следовательно, является его антецедентом*.

Коммуникативная функция предложения характеристики с личным местоимением 3-го лица в роли именного предиката состоит в том, чтобы подтвердить характеристику, которая уже осуществилась или была предложена в предыдущем контексте. Это проявляется в актуальном, т.е. *тема-рематическом* членении предложения. В предложении характеристики и подлежащее, и именной предикат принадлежат к теме, а ремой является или сама связка [см. пример (8)], или элемент, который, входя в предикативную группу, уточняет данную в предложении характеристику подлежащего [см. пример (9)]. Тема-рематическое членение, соответственно, отражается в обязательном фразовом ударении или на связке [в примере (8) *был*], или на уточняющем выражении [в примере (9) *по званию*]. В предложении же идентификации темой является личное местоимение 3-го лица, а ремой подлежащее, так как последнее указывает на раньше не упомянутый референт, с которым идентифицируется референт местоимения [ср. фразовое ударение на словах *Муравьев* в примере (6) и *электростанции* в примере (7)].

Итак, о местоимении 3-го лица в анафорической функции можно заключить, во-первых, что оно не обязательно референциально, а во-вторых, что для его употребления обязателен антецедент.

Обратимся к другому основному анафорическому местоимению, а именно к указательному местоимению *этот*. Нужно подчеркнуть, что в настоящей статье будет учитываться только анафорическая, а не дейктическая функция этого местоимения.

Как и в проведенном выше анализе личного местоимения, начнем со стандартного, самого частотного употребления указательного местоимения [см. например (10)].

(1) Для Андриана дорога в Кислицы... показалась долгой. Пыльная дорога *эта* нырнула в деревушки (Спутник, 1986: 6).

Здесь указательное местоимение сопровождает лексический повтор. И antecedent, и словосочетание, содержащее местоимение, несомненно референциальны.

Возникает вопрос, обязательно ли характеризуется референтностью указательное местоимение – в противоположность личному местоимению 3-го лица, которое в некоторых своих употреблениях является нерепренциальным. В лингвистической литературе иногда выдвигается тезис, что во всяком случае словоформу *это* можно употреблять как нерепренциальное слово [см. пример (11)].

(11) Результат налицо: прирост концентрации фреонов сейчас не пятнадцать процентов ежегодно, как *это* было лет десять назад, а всего пять (Знание–сила, 1988: 1).

В некоторых примерах можно заменить личное местоимение 3-го лица в функции предиката указательным местоимением *это*. См. пример (6а), представляющий собой модификацию примера (6).

(6а) Обсуждение на постоянных комиссиях Верховного Совета СССР проходит так, что позволяет любую проблему высветить с разных сторон. Для этого роль оппонента выполняет содокладчик, руководитель совместной комиссии. *Это* был депутат Е. Муравьева.

Такое употребление словоформы *это* иногда сравнивается с так называемым формальным подлежащим в германских и романских языках, например *it*, *that* в английском языке, *das* в немецком языке, *il* во французском языке [Pisarkowa 1969: 43, Nilsson 1982: 67–68]. Такие формальные подлежащие нельзя характеризовать как референциальные. Однако в примере (11) местоимение *это* занимает позицию референциального слова. Правда, для него трудно указать конкретное слово – antecedent. В отличие от личного местоимения 3-го лица, местоимение *это* не просто повторяет референтность какого-то конкретного существительного (или словосочетания с существительным в роли главного члена). Оно как бы повторяет всю информацию о референте, данную в контексте, а это в примере (11) включает значение всего предыдущего предложения.

Пример (6а) можно интерпретировать аналогичным образом. Здесь местоимение *это* занимает позицию референциального слова в предложении идентификации. И (6), и (6а) представляют собой предложения идентификации. Разница заключается в следующем: в отличие от местоимения *это* у местоимения *им* всегда есть легко идентифицируемый antecedent в виде конкретного существительного (или эквивалентного существительному слова или словосочетания). Так, в примере (6) antecedentом является существительное предыдущего предложения *содокладчик*. Для местоимения *это* труднее указать конкретное слово-antecedent. Правда, в (6а) *это* указывает на тот же самый референт, что и существительное *содокладчик*, но, в отличие от личного местоимения *им*, оно не только повторяет референтность этого существительного. Как и в примере (11), местоимение *это* повторяет всю информацию о референте, данную в контексте, а это включает не только значение слова *содокладчик*, но и содержание приложения *руководитель совместной комиссии* и вообще все, что сообщается об этом референте в предыдущем предложении.

На наш взгляд, такая трактовка также интуитивно оправдана. Более широкая референтность указательного местоимения и вытекающая из этого невозможность четко ограничить его antecedent выражается в том, что местоимение ни с чем не согласуется. Не имея определенного antecedent, с которым можно было бы согласоваться, оно выступает в максимально немаркированной форме, а именно, в форме единственного числа среднего рода.

В подтверждение данного тезиса приведем пример предложения идентификации, в которое входят и личное местоимение 3-го лица, и указательное местоимение *это*. см. пример (12).

(12) По этим косам Гарусов узнал свою будущую жену, девочку в красной шубке и белых ботинках, которая спускалась когда-то по лестнице с разноцветными стеклами. Он подошел поближе – и точно *это* была *она*. ...

Оба местоимения анафорические. Аналогично выше приведенным примерам их можно интерпретировать следующим образом. Антецедентом личного местоимения *она* следует считать словосочетание предыдущего контекста *свою будущую жену*. Для местоимения *это*, с другой стороны, невозможно указать конкретный антецедент. Местоимение *это* скорее указывает на зрительное впечатление образа молодой женщины, возникающее у *Гарусова* и описываемое в предыдущем контексте. Это зрительное впечатление представляется в предыдущем предложении как реально существующее, однако на него указывает все описание, а не какое-то конкретное существительное или словосочетание. Коммуникативная функция предложения *...и точно это была она...* состоит в том, чтобы соотнести зрительное впечатление, представленное местоимением *это*, с референтом словосочетания *свою будущую жену*, представленным местоимением *она*.

Итак, указательное местоимение *этот*, включая словоформу *это*, хотя и не обязательно указывает на антецедент, является тем не менее обязательно референциальным. Признаки двух проанализированных анафорических местоимений можно обобщить следующим образом:

Личное местоимение 3-го лица:	Необязательно референциальное
	Антецедент обязателен
Указательное местоимение <i>этот</i>	Обязательно референциальное
	Антецедент необязателен

Возникает вопрос, нет ли противоречия в заключении о том, что личное местоимение 3-го лица – самое распространенное и нейтральное анафорическое выражение, является обязательно референциальным?

Данное заключение основано на традиционном толковании понятия референтности. Однако, на наш взгляд, такое толкование недостаточно дифференцировано для описания референтности в русском языке. По нашему убеждению, референтность не является универсальным понятием. С определенными оговорками можно сказать, что разные языки характеризуются разными уровнями референтности. Таким образом, не исключено, что и личное местоимение окажется последовательно референциальным, если исходить из толкования референтности, которое учитывает особенности русского языка.

Для того, чтобы точнее определить референтность в русском языке, следует обратиться к грамматической системе русских существительных. Русским существительным присущи четыре грамматические категории, обладающие следующими свойствами:

<i>Грамматические категории</i>	<i>Характерные свойства</i>
Род, одуш./неодуш.	Лексически обусловленные (ингерентные)
Число	Морфологически обусловленные (флективные); Сохраняющиеся в памяти
Падеж	Морфологически обусловленные (флективные): Не сохраняющиеся в памяти

Исходя из этого можно определить, какова общая роль из названных категорий в грамматической системе. Категории рода и одушевленности/неодушевленности входят

в лексическое значение существительного как неизменяемые компоненты. Иными словами, они способствуют формированию идеи о денотате, т.е., концепте, обозначаемом существительным независимо от контекста. Денотаты в сущности своей неактуализованные элементы значения. Они входят в лингвистическую компетенцию носителей языка как элементы, из которых по мере потребности можно построить текст. Если носитель языка решается ввести концепт-денотат в какой-то конкретный дискурс, он должен добавить число, единственное или множественное, к существительному, обозначающему этот денотат. Таким образом, категория числа создает из концепта-денотата *элемент дискурса*. Элемент дискурса представляет собой воображаемую единицу, на которую участники дискурса (собеседники) обращают внимание. Эта единица вкладывается в воображение собеседников как нечто, что можно упоминать повторно в рамках данного дискурса, как нечто, что каждый раз сопровождается фиксированным числом, которое обеспечивает идентификацию данной единицы. Таким образом, можно сказать, что значение категории числа сохраняется в памяти вместе с элементом дискурса. Однако элемент дискурса остается воображаемой единицей в том смысле, что он не обязательно воспринимается как участник какой-либо из тех ситуаций, которые упоминаются в высказываниях (см. также [Nørgård-Sørensen 1997]).

Наконец, категория падежа может из элемента дискурса создать *элемент текстового мира*. Элемент текстового мира – это единица, которая воспринимается как существующая, присутствующая по крайней мере в одной из тех ситуаций, которые создаются высказываниями текста, и которые вместе взятые представляют собой *текстовой мир*. С другой стороны, само собой разумеется, что значение падежа связано с функцией существительного в данной синтаксической конструкции и, следовательно, не сохраняется в памяти собеседников.

Итак, в русском языке можно различать два типа упоминающихся в речи элементов: элементы дискурса и элементы текстового мира (см. также [Nørgård-Sørensen 1998a; 1998b]). В языках, для которых свойственна вышеописанная структура грамматических категорий, принципиально возможно различие двух слоев референтности. На наш взгляд, эта возможность осуществлена в русском языке, где, как уже было показано, основные анафорические выражения обладают разными сферами референтности. Это можно проиллюстрировать следующим образом:

<i>Элемент</i>	<i>Созданный категорией</i>	<i>Референциально-анафорическое выражение</i>
дискурса	числа	Личное местоимение 3-го лица
текстового мира	падежа	Указательное местоимение

Данную схему следует понимать так, что личное местоимение может указывать на любой элемент дискурса, в том числе и на все элементы текстового мира, тогда как указательное местоимение указывает исключительно на элементы текстового мира. Иными словами, у личного местоимения более широкая сфера референтности, включающая сферу референтности указательного местоимения.

На основе этой теории можно объяснить рассмотренные примеры. Применительно к примерам (2) – (5) и (8) – (9) мы установили, что личные местоимения 3-го лица *нереференциальны*. Теперь можно уточнить, а скорее скорректировать этот вывод: личные местоимения на самом деле являются референциальными, только не в традиционном смысле, а скорее в рамках более широкого понимания референтности – по отношению к элементам дискурса. Когда в первой половине настоящей статьи речь шла о референтности в традиционном смысле, имелась в виду референтность в узком смысле, т.е. референтность по отношению к текстовому миру.

Подведем итоги сказанного. Выше мы обратили внимание на то, что в некоторых случаях невозможно воспринимать личное местоимение 3-го лица как референциальное в традиционном смысле. Можно выделить два типа таких случаев на основе характера антецедента:

А. Антецедент – существительное в родительном падеже, выражающем отсутствие / несуществование: см. примеры (2), (3), (5).

Б. Антецедент – характеризующий именной предикат: см. примеры (4), (8), (9).

Как уже было сказано, в этих случаях речь идет не о нереферентности, а скорее о референтности по отношению к текстовому миру, т.е. к более широкой сфере референтности. Для наших целей еще важно подчеркнуть, что в примерах (2) – (5) и (8) – (9) можно употреблять только личное местоимение 3-го лица, а не указательное местоимение.

Возникает вопрос: Почему в русском языке различается два уровня референтности? По нашему убеждению, это различие возникло не случайно. Обратимся снова к категории падежа. В русском языке при отрицании для родительного падежа характерна функция указания на отсутствующий/несуществующий элемент, см., например, антецеденты в примерах (2), (3) и (5). В этой функции родительный падеж противопоставляется именительному и винительному падежам, которые употребляются в соответствующих конструкциях без отрицания. Это значит, что в русском языке грамматикализована оппозиция существования/несуществования (в смысле присутствия/отсутствия в описываемой ситуации).

На основе этого факта можно предложить следующий ответ на заданный выше вопрос: два уровня референтности отражают классификацию упоминаемых в тексте единиц на *существующие* (т.е. присутствующие хотя бы в одной из тех ситуаций, которые описываются в высказываниях текста) и *несуществующие*, т.е. воображаемые единицы, которые, хотя и упоминаются в дискурсе, не воспринимаются как присутствующие в какой-либо из описанных ситуаций. Типичными примерами отсутствующих (т.е. в текстовом мире несуществующих) единиц являются, с одной стороны, референты существительных в родительном падеже при отрицании, с другой стороны, референты существительных в роли характеризующего именного предиката, а это как раз такие существительные, которые могут быть антецедентами личного местоимения 3-го лица, а не указательного местоимения.

Таким образом, референциальную систему основных анафорических местоимений в русском языке можно представить следующим образом:

Сфера референтности

	<i>Элементы дискурса</i>	<i>Элементы текстового мира</i>
Личное местоимение 3-го лица	+	+
Основное указательное местоимение		+

Это заключение вызывает следующий вопрос: почему такое существенное различие в сфере референтности находит только ограниченное отражение в употреблении данных местоимений? На первый взгляд было бы естественным ожидать, что это различие представлено широко, т.е. не только в сравнительно редких конструкциях с антецедентом в родительном падеже при отрицании или с антецедентом в функции характеризующего именного предиката.

На этот вопрос можно дать очень простой ответ. В роли антецедента анафорического выражения выступают не любые существительные, а только такие, которые занимают или собственно тематическую, или собственно рематическую позицию.

Остальные, коммуникативно более периферийные существительные не в состоянии выполнять функцию антецедента. Этот вывод подтверждается разными исследованиями анафорических отношений. Например, Т. ван Дейк и В. Кинч в 1983 г. описывают эксперимент на материале английского языка, из которого однозначно вытекает, что в функции антецедента личного местоимения 3-го лица (*he, she, it, they*) выступают только собственно тематические или собственно рематические существительные (в первую очередь, собственно тематические существительные). Еще Т. Бергер [Berger 1988: 22–31; 1991] в своих исследованиях условий употребления анафорического *он* в русском языке показал, что при немаркированном порядке синтаксических единиц, т.е. *S-V-O-Adv*, антецедентом личного местоимения 3-го лица может служить существительное в любой из трех возможных синтаксических функций. Автор приводит, в частности, примеры (13а) и (13б).

(13а) *Окунев привез своего друга к себе на квартиру. В доме Совета у него была отдельная комната. (Островский)*

(13б) *Окунев привез своего друга к себе на квартиру. Она находилась на пятом этаже нового дома.*

Как следует из этих примеров, при немаркированном порядке синтаксических единиц существительное может выполнять функцию антецедента личного местоимения 3-го лица независимо от своей синтаксической функции [как подлежащее или дополнение, см. пример (13а), который принципиально допускает оба толкования, или как входящее в состав адвербиального оборота, см. пример (13б)]. С другой стороны, как дальше показывает Т. Бергер, при маркированном порядке синтаксических единиц, например *S-V-Adv-O*, круг потенциальных антецедентов более ограничен [см. пример (14)].

(14) *Окунев привез к себе на квартиру своего друга. *Она находилась на пятом этаже нового дома.*

Пример (14) отмечен звездочкой, так как он содержит недопустимую анафорическую связь и, следовательно, представляет собой неправильную конструкцию. Недопустимость данной анафорической связи объясняется по-нашему тем, что при маркированном порядке синтаксических единиц сфера ремы значительно суживается. В состав ремы входит лишь конечная синтаксическая единица этот *эпюд*, тогда как единица *при учителе* остается за рамками и собственно темы, и собственно ремы. С другой стороны, высказывание с немаркированным порядком синтаксических единиц, см. примеры (13а) и (13б), характеризуется более широкой ремой, охватывающей все, что не входит в состав темы.

Исходя из этого можно заключить, что в функции антецедента анафорического выражения выступают только собственно тематические и собственно рематические существительные. Какими бывают собственно тематические и собственно рематические существительные? Едва ли есть сомнение в том, что в большинстве случаев такие существительные являются референциальными в традиционном смысле, т.е. по отношению к текстовому миру. Единственные исключения, по-видимому, составляют как раз существительные в родительном падеже при отрицании и существительные в функции характеризующего именного предиката. Они тоже регулярно употребляются как собственно тематические или собственно рематические. Иными словами, представляется совершенно естественным, что отмеченное существенное различие в сфере референтности двух основных анафорических местоимений – личного местоимения 3-го лица и указательного местоимения *этот* – проявляется лишь в этих сравнительно нечастых случаях.

Это заключение позволяет уточнить предложенную теорию. Выше мы установили, что различие двух сфер референтности у основных анафорических местоимений следует толковать как отражение грамматикализованного в падежной системе выражения оппозиции существования/несуществования. Сейчас можно добавить, что такой

параллелизм в грамматической системе, а следовательно и предложенное различие двух сфер референтности релевантно только для тех существительных, которые являются потенциальными antecedентами анафорических выражений. Вопросы об определении референциальных свойств остальных существительных мы касаться не будем. Отметим лишь, что за рамками потенциальных antecedентов анафорических выражений несомненно целесообразно опираться на традиционное различие референциальных и неререференциальных слов. Как следует из вышесказанного, предложенное различие двух сфер референтности релевантно только для потенциальных antecedентов анафорических местоимений.

Для подтверждения предложенной теории рассмотрим аналогичные конструкции в некоторых других славянских языках. Ниже приводятся примеры на польском, чешском, сербском и болгарском языках – как примеры из оригинальных текстов на указанных языках, так и переводы приведенных выше примеров на русском языке. Как известно, среди названных языков польский, чешский и сербский характеризуются грамматической структурой, которая ведет свое происхождение из старославянского языка и близка к структуре русского языка. Болгарский же язык, принадлежащий как и македонский язык к типологически обособленной группе балканских языков, резко отличается от остальных славянских языков. Он характеризуется грамматической структурой иного типа и другим набором грамматических категорий.

Анализ основных анафорических местоимений в славянских языках показывает, что болгарский язык и здесь располагает особой системой. Это наблюдение не вызывает удивления. Однако в других рассматриваемых славянских языках также отмечались некоторые существенные различия в употреблении основных анафорических местоимений.

Для освещения этого вопроса в типологическом свете рассмотрим материал отдельных языков. Ниже приводятся примеры на польском языке, из которых некоторые представляют собой переводы приведенных выше примеров на русском языке (при возможности употребления нескольких анафорических выражений приводятся варианты в квадратных скобках).

- (15) Ci, którzy nie mają roweru, marzą o *jego* nabyciu [Перевод примера (2)].
- (16) Rzeczywiście, w Ventimiglii nie ma jeszcze toru rowerowego, ale zbiera się już pieniądze na *jego* budowę [Перевод примера (3)].
- (17) W roli oponenta występuje wykładowca, przewodniczący wspólnej komisji. Był *nim* [to] poseł E.M. [Перевод конца примера (6)].
- (18) I dlatego potrzebowano nowych jakościowo źródeł energii. Stały się *nimi* elektrownie atomowe [Перевод примера (7)].
- (19) Uważał się za wielkiego filozofa, i *nim* rzeczywiście był.
- (20) Chcę być prezydentem i będę *nim* [Rothstein 1993: 743].

В этих примерах отмечается фактически полный параллелизм с русским языком. Как и в русском языке, для предложения идентификации [см. пример (17)] характерен выбор между согласуемой формой личного местоимения 3-го лица и несогласуемой формой указательного местоимения (*to*). Выбор определяется теми же семантическими факторами, что и в русском языке. Наконец, как и в русском языке, в рассматриваемых конструкциях личное местоимение нельзя заменить каким-либо другим анафорическим выражением, в том числе и указательным местоимением.

Итак, польский язык характеризуется теми же двумя сферами референтности, что и русский язык. Так как польскому языку также свойственно выражение оппозиции существования/несуществования с помощью падежной системы [см., например, antecedенты *roweru* в примере (15) и *toru rowerowego* в примере (16)], рассмотренный материал подтверждает вывод о семантической связи между грамматикализацией этой оппозиции и различием двух сфер референтности в области у потенциальных antecedентов анафорических выражений.

Рассмотрим материал чешского языка.

- (21) Ti, kteří nemají kolo, sní o tom si *ho* pořídit [Перевод примера (2)].
 (22) Je pravda, že ve Ventimiglie není dráha pro kola, ale už se vybírají peníze na její stavbu [Перевод примера (3)].
 (23) Roli oponenta vyplňoval přednášející, předseda společného vyboru. *Tím* byl [Byl *jím*] [Byl *to*] delegát E.M. [Перевод конца примера (6)].
 (24) Děd mu připadal starý(m), člověkem jiné doby (a *tím* také [*jímž* i] byl) [Перевод примера (8)].
 (25) A proto bylo zapotřebí kvalitativně nových energetických zdrojů. *Těmi* se staly [Staly se *jimi*] atomové elektárny [Перевод примера (7)].

Приведенные примеры обнаруживают существенную разницу между чешским языком, с одной стороны, и русским и польским языками, с другой. В чешском языке в функции именного предиката употребляется не только личное местоимение, но и указательное местоимение *ten*. Это свидетельствует о том, что сфера референтности чешского указательного местоимения шире чем сфера референтности соответствующих местоимений русского и польского языков. Совпадая со сферой референтности личного местоимения 3-го лица, она охватывает и элементы дискурса, и элементы текстового мира:

Сфера референтности

	Элементы дискурса	Элементы текстового мира
Личное местоимение 3-го лица	+	+
Основное указательное местоимение	+	+

Если это так, возникает вопрос: почему указательное местоимение не употребляется в предложениях типа (21) – (22), т.е. в предложениях, где антецедентом анафорического выражения является существительное, указывающее на несуществующий предмет. Ответить на этот вопрос относительно просто. В отличие от соответствующих местоимений русского и польского языков, указательное местоимение чешского языка *ten* широко употребляется как маркер *темы*, особенно при введении новой текстовой темы. Эту функцию не может выполнять анафора существительного, указывающего на несуществующий предмет. Таким образом, совпадением сфер референтности обоих рассматриваемых местоимений можно объяснить их употребление во всех вышеприведенных примерах. В чешском языке распределение личного и указательного местоимений определяется тема-рематической структурой, а не сферами референтности.

Важно еще обратить внимание на то, что современный чешский язык не характеризуется выражением оппозиции существования/несуществования с помощью падежной системы. См. примеры (21) – (22), где антецеденты *kolo* и *dráha (pro kola)*, указывающие на несуществующие предметы, выполняют функцию подлежащего и, следовательно, употребляются в именительном падеже, как и в соответствующих конструкциях без отрицания. Таким образом, рассмотренный материал чешского языка служит дополнительным, хотя и негативным подтверждением тезиса о взаимосвязи между различием сфер референтности двух основных анафорических местоимений и выражением оппозиции существования/несуществования с помощью падежной системы.

Рассмотрим материал сербского языка:

- (26) Oni koji nemaju bicikla maštaju da *ga* nabave [Перевод примера (2)].
 (27) Istina, u Ventimilji još nema biciklističke staze, ali već se skupljaju sredstva za *njenu* izgradnju [Перевод примера (3)].

- (28) Državna vlast je paralizovana. Zemlja je bez predsednika. *Njegov* izbor se nije mogao sprovesti. [Перевод примера (5)].
- (29) – Nema auto.
– *Zašto ga ne kupiš?* [Browne 1993: 364].
- (30) Ulogu oponenta vrši koreferent, predsednik zajedničke komisije. *To* je bio delegat E.M. [Перевод конца примера (6)].
- (31) Dedu mu se učinio starim, kao čovek iz nekog drugog veka (*što* je on i bio) [Перевод примера (8)].
- (32) I zbog toga su bili potrebni suštinski novi energetske izvori. Upravo *tačvima* su se pokazale atomske centrale [Перевод примера (7)].

В первой группе примеров, а именно в примерах (26) – (29), обнаруживается та же самая картина, что и в русском и польском языках. В функции анафоры существительного, обозначающего отсутствующий предмет, употребляется исключительно личное местоимение 3-го лица. Это свидетельствует о том, что в сербском языке, как и в русском и польском языках, различаются сферы референтности двух основных анафорических местоимений.

С другой стороны, как следует из второй группы примеров, т.е. примеров (30) – (32), в функции именного предиката не употребляется ни личное местоимение, ни склоняемая форма основного указательного местоимения *taj*, а только некоторые специализированные в функции именного предиката местоимения, включая максимально немаркированную форму указательного местоимения *to* (ср. русское *это*, польское и чешское *to*). Это, однако, объясняется не сферами референтности названных местоимений, а скорее определенными общими ограничениями употребления личного местоимения 3-го лица в сербском языке. Как отмечает В. Браун [Browne 1993: 364], личное местоимение не употребляется в функции анафорического выражения, если антецедентом является указательное, вопросительное или неопределенное местоимение в среднем роде, целое предложение или инфинитив, см. примеры (33) и (34).

(33) *Ovo je za tebe. Zadrži to.*

(34) *Marija voli plesati. I ja to volim.*

Оказывается, что примеры (30) – (32) отражают еще одно ограничение в употреблении указательного местоимения в сербском языке. Оно также не употребляется, если антецедентом является именной предикат. Однако этот факт следует толковать, наряду с примерами В. Брауна, как ограничение в анафорической функции данного местоимения, а не как проявление его референциальных свойств.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что сербский язык – как и близко родственные ему языки – характеризуется теми же двумя сферами референтности, что и русский и польский языки. Для сербского языка также характерно выражение оппозиции существования/несуществования с помощью падежной системы, см. антецеденты *bicikla* в примере (26) и *biciklističke staze* в примере (27). Правда, в современном сербском языке выражение этой оппозиции в основном ограничено предложениями с глаголом *nemati* в функции предиката, т.е. такими предложениями, основная коммуникативная функция которых как раз и состоит в утверждении существования или несуществования чего-либо. Однако для наших целей принципиально неважно, в каких рамках выражается данная оппозиция. Важно лишь то, является ли его выражение обязательным, иными словами, представляет ли она собой грамматикализованную оппозицию.

Таким образом, материал сербского языка также подтверждает вывод о неслучайности связи между различием сфер референтности двух основных анафорических выражений и грамматикализацией оппозиции существования/несуществования.

Рассмотрим, наконец, материал болгарского языка:

- (35) *Тези, които нямат велосипед, мечтаят да се снабдят с такъв* [Перевод примера (2)].

- (36) Държавната власт е парализирана. В страната няма президент. Изборите за *президент* [за *такъв*] така и не можах да бъдат проведени [Перевод примера (5)].
- (37) Ролята на опонента се изпълнява от съдокладчика, ръководител на съвместната комисия. *Това* беше депутатът Е.М. [Перевод конца примера (6)].
- (38) Дядото му се струваше стар, като човек от друг век (той и беше *такъв*) [Перевод примера (8)].
- (39) И затова възникна необходимостта от качествено нови енергетични източници. *Такива* станаха атомните електростанции [Перевод примера (7)].

Как показват приведените примери, в двата разглеждани конструктива не се използва нито склоняема форма указателного местоимения, нито лично местоимение 3-го лица. Използват се по-специализирани местоимения, в основното, местоимение *такъв*, което, указвайки не на референциална идентичност, а по-скоро на идентичност по качество, както правило, се разглежда като нереперенциално. В предложенията за идентификация [вж. пример (37)] се използва изключително форма единствено число средного рода указателного местоимения *това* (ср. руското *это*, полското, чешкото и сръбското *то*), т.е. максимално неутрална форма, която в дадена функция не се съгласува с антецедентом и се явява фактически несклоняема. Други думи, които се отнасят до предложението за идентификация, в българския език не са налични, а в полския и чешкия език те са характерни за руския, полския и чешкия език.

Ако разгледаме местоименията, т.е. основното указателно местоимение *този/тя* и лично местоимение 3-го лица *той*, те се явяват като анафори на антецеденти, указващи на несъществуваща единица или изпълняваща синтаксична роля на характеризирания именна предиката, то това означава, че сфера референтности е ограничена от елементите на текстовия свят:

Сфера референтности

	<i>Елементи на дискурса</i>	<i>Елементи на текстовия свят</i>
Лично местоимение 3-го лица		+
Основното указателно местоимение		+

Тази особеност на българския език е безусловно свързана с друга особеност, а именно, с категорията на определеността. В езика, които се отличават с категорията на определеността, и лично, и указателно местоименията се явяват ингерентно определеността. Определеността, разбираемо, не се явява с референтност по отношение на елементите на текстовия свят, а по-скоро се предполага, т.е. пресупонира. По-точно определеността могат да бъдат само елементите на текстовия свят, но разликата между елементите на текстовия свят и елементите на дискурса в българския език не е граматическа. Само по себе си разбираемо, че българския език, който е загубил падежната система, не е граматическо изразяване на оппозицията съществува/не съществува.

И така, сферите на референтността на двата основни анафорични местоимения се различават в руския, полския и сръбския език, а това са именно тези езици, за които е характерно задължително изразяване на съществува/не съществува с помощта на падежната система, т.е. за които изразяването на тази оппозиция е граматически статус. В чешкия и българския език, които са загубили изразяването на съществува/не съществува с помощта на падежната система (българският език отдавна, чешкият език сравнително отдавна), сферите на референтността на съответните местоимения не се различават. Разликата между чешкия и българския език се обяснява

их сугубо специфическими грамматическими системами, в том числе наличием в болгарском языке категории определенности.

Таким образом, материал разных славянских языков подтверждает предложенную мною теорию о тесной взаимосвязи между различием сфер референтности двух основных анафорических местоимений и выражением значения существования/несуществования с помощью падежной системы. Этот параллелизм объясняется тем, что обе эти черты отражают грамматикализацию оппозиции существования/несуществования, которая лежит в основе различения элементов текстового мира и элементов дискурса. Представляется естественным, что отдельные процессы грамматикализации в одном и том же языке не происходят независимо друг от друга. Представленный материал служит примером *параллельной грамматикализации*, которую можно определить следующим образом. Если в каком-либо языке грамматикализуется семантическая оппозиция, то это отражается не только в одном, а скорее в нескольких формальных грамматических (морфологических и/или синтаксических) оппозициях одновременно. Это заключение носит типологический характер. Проведенное исследование свидетельствует о том, что в грамматических и типологических исследованиях следует глубже учитывать возможность параллельной грамматикализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арутюнова Н.Д. 1998 – Язык и мир человека. М., 1998.
- Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. 1991 – Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1991.
- КОНСБЯ 1979 – Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.
- Падучева Е.В. 1981 – Местоимение *это* с предметным antecedентом // Проблемы структурной лингвистики 1979. М., 1981.
- Падучева Е.В. 1982 – Значение и синтаксические функции слова *это* // Проблемы структурной лингвистики 1980. М., 1982.
- Падучева Е.В. 1985 – Высказывание и его соотносительность с действительностью. М., 1985.
- Шведова Н.Ю., Белоусова А.С. 1995 – Система местоимений как исход смыслового строения языка и его смысловых категорий. М., 1995.
- Шмелев А.Д. 1992 – Определенность/неопределенность в аспекте теории референтности // Бондарко А.В. (ред.). Теория функциональной грамматики. Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность/неопределенность. СПб., 1992.
- Шмелев А.Д. 1996 – Референциальные механизмы русского языка. Tampere, 1996.
- Berger T. 1988 – Die transphrastische Verwendung des Anaphorikums *on* in der modernen russischen Standardsprache // J. Raecke (ed.). Slavistische Linguistik 1987, München, 1988.
- Berger T. 1991 – Überlegungen zur Deixis im Russischen // Hartenstein K., Jachnow H. (Eds.). Slavistische Linguistik 1990. München, 1991.
- Browne W. 1993 – Serbo-Croat // Comrie B., Corbett G.G. (Eds.). The Slavonic languages. London; New York, 1993.
- Geach P.T. 1962 – Reference and generality. New York, 1962.
- Nilsson B. 1982 – Personal pronouns in Russian and Polish. Stockholm, 1982.
- Nørgård-Sørensen J. 1992 – Coherence theory. The case of Russian. Berlin; New York, 1992.
- Nørgård-Sørensen J. 1997 – Russian nominal morphology: A hierarchy of semantic features // Jung-hanns U., Zybatow G. (Eds.). Formale Slavistik. Frankfurt-am-Main, 1997.
- Nørgård-Sørensen J. 1998a – Pronouns and their reference in Russian // Scando-Slavica, T. 44, 1998.
- Nørgård-Sørensen J. 1998b – Some aspects of pronominal reference in Russian and English // Korzen I., Herslund M. (Eds.). Clause combining and text structure. Copenhagen, 1998.
- Pisarkowa K. 1969 – Funkcje składniowe polskich zaimków odmiennych. Wrocław, 1969.

© 2002 г. Л.Б. ВИШНЯЦКИЙ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЯЗЫКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

(Взгляд археолога)

Введение. Проблема происхождения языка имеет несколько достаточно автономных, хотя и тесно взаимосвязанных между собой аспектов, и может быть сформулирована лишь как ряд отдельных вопросов [Николаева 1996]. Во-первых, необходимо понять, почему вообще появляется язык, возникает ли он в связи с необходимостью совершенствования способов коммуникации, или лишь как средство мышления, и почему это происходит только после отделения гоминидной линии эволюции. Далее, для существования языка необходимы определенные анатомические и нейропсихологические предпосылки и способности. Вопрос об их возникновении составляет второй аспект рассматриваемой проблемы. Третий ее аспект связан с генезисом знаков, образующих язык. Как они возникали? В какой форме – вербальной, жестовой, или иной? Каковы были источники их формирования, как за ними закреплялось определенное значение? Четвертый аспект проблемы – это происхождение синтаксиса. Здесь возникают вопросы о том, когда, в какую эпоху и на какой стадии эволюции человека сформировалась языковая способность, когда она была реализована, когда приобрел свое нынешнее значение синтаксис и т.п. Далее все выделенные аспекты проблемы происхождения языка рассматриваются в том порядке, в каком они были здесь перечислены.

Причины возникновения языка. Исследования приматологов убедительно свидетельствуют о том, что интеллектуальный потенциал шимпанзе и ряда других человекообразных обезьян вполне достаточен для осуществления ими довольно сложных форм знакового поведения.

Во-первых, человекообразные обезьяны обладают тем, что зоопсихологи иногда метафорически называют "теорией сознания". Речь идет о способности мысленно ставить себя на место другого, приписывать другим особям определенные умственные состояния (представления) и целенаправленно манипулировать ими в собственных целях. Такая способность четко проявляется в некоторых видах поведения, осуществление которых без нее невозможно представить. Наиболее ярким (но не единственным) ее показателем являются многократно описанные случаи так называемого тактического обмана, когда обезьяна пытается заставить (часто с успехом) партнера по общению принять в качестве руководства к действию ложную информацию о ее состоянии, прошлых или будущих поступках и т.д. Поскольку обман требует намеренного искажения реальности, он явно предполагает наличие "теории ума", осознание факта понимания партнером ситуации. Такое осознание является необходимым условием знакового поведения и рассматривается как важный индикатор языковых способностей.

Во-вторых, экспериментами в лабораторных условиях было подтверждено высказанное Ламетри еще в XVIII веке предположение, что при необходимости обезьяну можно научить знакам, используемым для обучения глухонемых [Hewes 1993: 23].

Не вызывает сомнения, что шимпанзе, гориллы и орангутаны способны общаться с людьми и друг с другом с помощью усвоенных в результате обучения визуальных символов. Большинство шимпанзе в экспериментах осваивали от 120 до 170 знаков, и это не было пределом. Словарь орангутана Чантека включал 150 знаков, причем ежедневно он оперировал примерно 50 из них. Среди знаков не только названия объектов и действий, но и имена собственные, обозначения цвета, оценки характера воздействия (хорошо, больно) и т.д. [Miles, Harper 1994].

В-третьих, выяснилось, что знаковым системам коммуникации обученных обезьян свойственны такие важные качества человеческого языка, как семантическая гибкость и продуктивность. Значения слов, используемых нами, могут расширяться, сужаться, переходить с объекта на объект. Подобная же подвижность свойственна и знакам, которыми оперируют обезьяны. Зафиксировано довольно много случаев, когда они, фактически, изобретали новые смысловые единицы, обозначая отсутствующие в их "лексиконе", но ставшие необходимыми, понятия сочетаниями известных им знаков, либо перенося значение последних с одного предмета или явления на другие [Miles, Harper 1994: 266].

Наконец, в-четвертых, обезьяны способны комбинировать знаки (обычно от 2 до 4, но иногда и больше), соблюдая при этом простейшие синтаксические требования. Они улавливают смысловые различия, вытекающие из изменения порядка знаков (например: *Я щекотать ты* и *Ты щекотать я*), и выстраивают их, как правило, в должной последовательности.

Таким образом, вывод, что в области коммуникативного поведения между высшими приматами и человеком существует скорее преемственность, чем непроходимая пропасть, кажется неизбежным [Snowdon 1982: 212; Сергеев 1986: 177; King 1991: 112]. Большинство исследователей сейчас считают, что лингвистические способности человекообразных обезьян соответствуют таковым двух-трехлетнего ребенка [Miles, Harper 1994: 269; Savage-Rumbaugh 1994]¹. Вместе с тем, нельзя не заметить, что проявляются эти способности почти исключительно только в условиях эксперимента, тогда как у обезьян, живущих на воле и не подвергшихся "аккультурации" человеком, ничего подобного зафиксировано пока не было². Правда, следует иметь в виду, что голосовые сигналы живущих на воле высших обезьян изучены еще совершенно недостаточно, но те исследования, которые уже проводились, пока не дают оснований подозревать, что вокализации, например, шимпанзе, имеют знаковую природу [Arcadi 2000]. Таким образом, если шимпанзе и находятся, как считают некоторые авторы, "на грани создания языка" [Kendon 1991: 212], они все же явно не переходят эту грань. Что же, если не недостаток соответствующих способностей, удерживает их? Э. Кендон, задав этот вопрос, отвечает на него так: "Шимпанзе не создали подобную языку систему коммуникации потому, что они не нуждаются в ней. Их социальная жизнь ее не требует". Намного раньше эту же мысль другими словами высказал Ф. Энгельс, заметив, что животным просто нечего сказать друг другу, а то немногое, что они имеют сообщить, "может быть сообщено и без помощи членораздельной речи" [Маркс, Энгельс 1960: 489]. По-видимому, действительно, знаковая коммуникация не получила в поведении ныне живущих высших обезьян сколько-нибудь заметного распространения именно потому, что в естественных условиях они просто

¹ Поэтому, как пишет М. Ичас, «всякая попытка определить "человеческий язык" таким образом, чтобы язык шимпанзе оказался "не языком", ведет к заключению, будто и язык двух-трехлетних детей не имеет отношения к человеческому. По-видимому, – продолжает он, – куда более разумно говорить, что хотя язык, которому обучаются шимпанзе, действительно лишен многих свойств "нормального" человеческого языка, он тем не менее сходен с одной из стадий в его развитии» [Ичас 1994. 467–468].

² Недавно появились сообщения, что карликовые шимпанзе, или, как их еще называют, бонобо, применяют знаковые средства передачи информации и в природе, используя палочки в качестве указателей маршрута группы или, например, пути к броду [Savage-Rumbaugh et al. 1996], но это пока чуть ли не единственный известный пример такого рода.

не испытывают в ней необходимости (подобно тому, как люди на протяжении многих тысячелетий не испытывали – а кое-где и ныне не испытывают – необходимости в письменности). Среда их обитания была до самого недавнего времени (до начала активного воздействия на нее современной цивилизации) относительно стабильной, и складывавшийся в течение миллионов лет характер приспособления к ней не требовал реализации языкового потенциала. Объем информации, циркулирующей в сообществах обезьян и необходимой для сохранения этих сообществ, оставался достаточно низок, а ее природа достаточно проста для того, чтобы все или почти все нужное могло быть передано посредством врожденных сигналов, либо же – в отдельных случаях – с помощью зачаточных знаков [Сифарт, Чини 1993; Zuberbühler 2000], выступающих еще изолированно, а не в качестве составляющих некоей знаковой системы.

Предложенное объяснение отсутствия языка у высших обезьян подразумевает, что он должен был возникнуть как средство коммуникации. Такое понимание, однако, не является единственно возможным. Еще Т. Гоббс полагал, что первоначально язык служил не общению, а лишь мышлению, и эта точка зрения имеет приверженцев и сегодня. В частности, по мнению антрополога и лингвиста Р. Берлинга, посвятившего этой теме отдельную статью, язык не мог развиваться из коммуникативной системы приматов и поэтому правильнее рассматривать его не как часть такой системы, а как "составляющую радикально преобразующегося ума". "Я подозреваю, – пишет Берлинг, – что мы узнаем гораздо больше о происхождении языка, изучая то, как человекообразные обезьяны и другие приматы пользуются своим умом, чем то, как они общаются" [Burling 1993: 37]. Второе, однако, предполагает первое, и неправомочность отрыва одного от другого в данном случае очевидна. Мышление, или, во всяком случае, образование понятий и пользование ими, действительно, как показывает пример человекообразных обезьян, возникает раньше языка³, но трудно согласиться с тем, что первоначальной функцией последнего было обеспечение развития первого. Конечно, такую роль язык, наверняка, тоже выполнял, но она была, скорее, вторичной, производной от основной, каковой являлась коммуникативная роль.

Коммуникативный процесс, по выражению Б.В. Якушина, первичен по отношению к языку, он является материальной базой языка как системы. "Потребность в коммуникации порождает средства коммуникации; общение и закрепляет, и изменяет, и совершенствует их" [Якушин 1985: 67]. Почему же у гоминид потребность в коммуникации достигла такого уровня, что тех средств ее удовлетворения, которые достались им в наследство от предшествующей стадии развития, оказалось недостаточно? Почему им пришлось пустить в дело те интеллектуальные резервы, которыми столь упорно "пренебрегают" человекообразные обезьяны, и начать все более активно прибегать к таким способам общения, которые требуют использования знаков? По моему мнению, это можно объяснить лишь общим усложнением среды обитания и поведения гоминид, которое началось в процессе первой "культурной революции" [Вишняцкий 1999; Vishnyatsky 1999]. Усложнение заключалось, прежде всего, в расширении круга используемых ресурсов, вхождении в практику новых способов и средств

³ Впрочем, вопросы о том, предшествовало ли мышление языку или наоборот, возможна ли мысль без языка и т.п., остаются предметом разногласий (обзор соперничающих теорий см., например, в [Priest 1991]). Высказывались и высказываются и положения о том, что разум, мышление, – это продукт языка, и никак не наоборот [Поршнева 1974: 149–150; Davidson, Noble 1993: 165], так и убеждение, что язык – это средство сообщения мыслей, а не производства их, и, следовательно, мышление независимо от языка и имеет собственные генетические корни и композиционную структуру [Выготский 1934; Chomsky, Fodor 1980]. Не вдаваясь здесь в обсуждение этой проблемы, замечу лишь, что обращение к внутреннему опыту вряд ли может способствовать ее решению, поскольку допускает диаметрально противоположные заключения. "Для меня не подлежит сомнению, что наше мышление протекает в основном, минуя символы (слова), и к тому же бессознательно", – писал Эйнштейн. Кант, напротив, считал, что мыслить – это значит говорить с самим собой.

жизнеобеспечения, появлении новых аспектов во взаимоотношениях между особями и группами. Мир гоминид становился все разнообразней, чтобы жить в нем требовалось все больше сведений о все большем количестве вещей, при принятии решений все больше становился выбор возможных вариантов и все больше факторов надо было учитывать, чтобы решение не оказалось в итоге неудовлетворительным. Все чаще возникали ситуации, когда врожденных сигналов оказывалось недостаточно для взаимопонимания, координации действий, сообщения жизненно важной информации, так что приходилось дополнять эти сигналы новыми, имевшими, естественно, уже знаковый характер. Таким образом, возникновение и последующее развитие языка было следствием общего усложнения культуры и происходящей из этого необходимости оперировать все возрастающим количеством информации, а также приобретать, хранить и передавать информацию.

Не исключено, что главную роль в становлении знакового поведения и вообще в развитии высших психических функций играла первоначально необходимость приспособления не столько к естественной, физической среде, сколько к среде социальной. Применительно к интеллекту в целом первым эту идею в развернутом виде изложил и обосновал Н. Хамфри, статья которого, опубликованная четверть века назад [Humphrey 1976], оказала большое влияние на последующее изучение поведения приматов и их когнитивной эволюции. Ф. Де Вааль в книге о шимпанзе, вышедшей несколько лет спустя после появления работы Хамфри [de Waal 1982], рассмотрел их "социальные стратегии" в свете некоторых из политических рекомендаций Макиавелли. Эта аналогия была подхвачена вскоре Э. Уитеном и Р. Бирном, введшими в употребление понятие "макиавеллиевский ум" [Wynne, Whiten 1988; Wynne 1996], призванное отразить и подчеркнуть те особенности поведения и мышления обезьян, которые демонстрируют их немалую искусственность в сфере выстраивания и поддержания отношений с другими особями внутри сообщества.

То, что развитие интеллекта у обезьян действительно направлялось в большей степени необходимостью приспособления к окружению из себе подобных, чем к физической среде, подтверждается, как будто, наличием довольно устойчивой корреляции между степенью энцефализации разных видов и степенью их социальности, с одной стороны, и отсутствием столь же явной зависимости от экологических параметров, с другой. Сопоставление данных по 43 видам гапlorиновых приматов (т.е. долгопятов и обезьян) показало, что у них существует прямая связь между размером коры головного мозга и численностью сообществ, причем связь эта не зависит ни от филогенетических взаимоотношений, ни от аллометрии, ни от образа жизни [Barton 1996]. Р. Данбар, отталкиваясь от факта такой корреляции, предложил оригинальную гипотезу происхождения языка [Dunbar 1993; Aiello, Dunbar 1993]. Он заметил, что существует прямая связь не только между относительной величиной коры мозга и численностью сообществ, но также между их численностью и количеством времени, которое представители каждого сообщества расходуют на груминг, имеющий одной из главных функций снятие напряжений во взаимоотношениях между особями, поддержание сплоченности внутри групп и сохранение их целостности. Поскольку же количество затрачиваемого на это времени не может расти беспредельно, то логично предположить, что по достижении сообществами гоминид некоего порогового значения численности должно было стать необходимым замещение или, во всяком случае, дополнение груминга каким-то другим средством обеспечения социальной стабильности, менее времязатратным, но не менее эффективным. Таким средством и стал язык. Остается, правда, непонятным, чем мог быть вызван постоянный рост размера групп, но, возможно, что, говоря о гоминидах, ведущую роль следует отводить уже не количественному изменению сообществ (как это делает Данбар), а их качественному усложнению, обусловленному появлением новых сфер социальной жизни, новых аспектов взаимоотношений, и также требовавшему увеличения временных затрат на груминг. К гипотезе Данбара мы еще вернемся ниже, а здесь осталось только заметить, что даже современные языки, как подчеркивают некоторые лингвисты

[Aitchison 1996], лучше всего приспособлены именно для обсуждения тем, связанных с социальной сферой, и гораздо хуже для описания пространственных отношений и ряда других свойств физического мира (например, объяснить кому-то исключительно на словах, как завязывать узел, – совсем не простая задача).

Биологический фундамент языка – это участки мозга, контролирующие производство и восприятие знаков, а применительно к вербально-звуковому языку это еще и обеспечивающие артикуляцию необходимых фонем органы грудной клетки, гортани и ротовой полости. Ниже суммируются имеющиеся данные о том, как шло в процессе эволюции гоминид преобразование перечисленных структур.

Наиболее интенсивно изучалось и изучается развитие мозга. Основным материалом для таких исследований служат так называемые эндокраничные отливки, т.е. муляжи мозговой полости. Они дают возможность судить не только об объеме мозга ископаемых форм, но и о некоторых важных особенностях его структуры, находящих отражение в рельефе внутренней поверхности черепной коробки. Абсолютный объем мозговой полости большинства австралопитеков варьирует в пределах 400–500 см³. По этому показателю они в целом мало отличаются от шимпанзе и уступают гориллам, но если принять в расчет различия в размерах тела, то коэффициент церебрализации у них чуть выше, чем у современных гоминоидов [Karrelman 1996]. Анализ очень скудных материалов по эндокранам ранних (древнее 3 млн. лет) австралопитеков приводит к заключению, что для первого этапа существования гоминид как самостоятельной линии эволюции нет убедительных свидетельств изменений строения мозга или его размеров по сравнению с человекообразными обезьянами [Tobias 1995: 64]. Для следующего хронологического интервала (после 3 млн. л. н.) некоторые сдвиги уже прослеживаются. Недавно найденный в Штеркфонтейне (Южная Африка) череп австралопитека, жившего примерно 2,6–2,8 млн. лет назад, имеет объем мозговой полости около 515 см. [Gannon et al. 1998]. Это пока максимальный размер, зафиксированный для ранних гоминид⁴. Кроме того – и это особенно важно для нашей темы – на эндокраничных отливках поздних австралопитеков намечаются выпуклости в некоторых из тех областей, где у людей, как считается, находятся основные речевые центры⁵. Обычно выделяют три таких центра, но один из них, расположенный на медиальной поверхности лобной доли мозга, не оставляет отпечатка на костях черепа и потому судить о степени его развития и самом существовании у ископаемых гоминид невозможно. Два других такие отпечатки оставляют. Это поле Брока, связанное с латеральной поверхностью левой лобной доли, и поле Вернике, находящееся также на латеральной поверхности левого полушария на границе теменной и височной областей⁶. У австралопитеков отмечается поле Брока, а в одном случае предположительно и поле Вернике [Tobias 1998: 74]. Если же учесть, что в результате недавних исследований [Gannon et al. 1998] характерная для человека левополушарная асимметрия височной доли в области поля Вернике была обнаружена у шимпанзе (на 17 из 18 изученных образцов), то можно думать, что у австралопитека соответствующее образование тоже имело, и лишь вследствие специфичности ископаемого материала не может быть четко зафиксировано.

С появлением *Homo habilis* (около 2,4 млн. л. н.) в эволюции мозга "был сделан гигантский шаг к новому уровню организации" [Gannon et al. 1998: 77]. Наиболее существенные изменения заключались в увеличении абсолютного и относительного размера мозга, значительном расширении теменной области, формировании подоб-

⁴ В старой литературе встречаются сообщения об австралопитеках с объемом мозга около 600 см³ и даже более, но они не пользуются доверием большинства специалистов и являются, видимо, результатом ошибочной реконструкции черепной коробки.

⁵ Видно, правильнее называть их не речевыми, а языковыми, поскольку они, как показывают недавние исследования [Petitto et al. 2000], усиленно функционируют и у глухих людей, когда последние общаются посредством жестового языка.

⁶ Правда, следует иметь в виду, что первоначальное становление этих структур могло быть связано с неречевыми функциями [Wilkins, Wakefield 1995].

ного человеческому узору борозд и появлению достаточно хорошо выраженных специфических выпуклостей в областях, где находятся поле Брока и поле Вернике.

Тенденция к росту объема мозговой полости, отчетливо наметившаяся у *Homo habilis*, сохраняется и у *Homo erectus* (питекантропы). Средний размер эндокрана достигает на этой стадии 1000 см³. Правда, остается пока неясным, был ли процесс энцефализации постоянным и непрерывным, или же он носил у *Homoerectus* скачкообразный характер. Одни считают, что на протяжении всей истории этого вида во всех областях его расселения прослеживается постепенное увеличение мозга его представителей [Wolpoff 1984; Henneberg 1987; Krantz 1995]. Другие, отмечая увеличение мозга у первых питекантропов, не видят существенных изменений в последующий период вплоть до появления неандерталоидов⁷ [Rightmire 1981]. У неандерталоидов объем мозговой полости, как правило, превышает 1100 см³, а у их поздних представителей – классических неандертальцев – достигает уже 1400 см³. Последние, таким образом, по размеру мозга сравниваются с современными людьми, хотя это касается лишь абсолютной его величины. Что же до величины относительной, то здесь некоторая – пусть и незначительная – разница в нашу пользу все же, видимо, существовала [Ruff et al. 1997], хотя достигнута она была, скорее всего, не за счет увеличения самого мозга, а за счет уменьшения массы тела [Kappelman 1996].

Если понимание эволюции мозга важно для оценки способности к знаковому поведению в целом, то изучение строения дыхательных и голосовых органов гоминид проливает свет на развитие речевой способности, необходимой для нашего вербально-звукового языка. Одно из направлений такого рода исследований, получившее название палеоларингологии [Laitman et al. 1992], имеет целью реконструировать верхние дыхательные пути наших предков. Реконструкции возможны благодаря тому, что анатомия основания черепа коррелирует с некоторыми особенностями мягких тканей верхних дыхательных путей. В частности, исследованиями на целом ряде млекопитающих было показано, что существует связь между степенью изогнутости основания черепа и положением гортани в горле: при слабоизогнутом основании гортань расположена высоко, при сильно изогнутом значительно ниже [Laitman, Reidenberg 1988]. Последняя черта характерна лишь для людей, причем у детей до двух лет гортань расположена так же высоко, как у животных (что дает им и животным возможность есть и дышать практически одновременно), и лишь в 3 года начинает опускаться (что позволяет лучше и разнообразнее артикулировать звуки, но создает риск подавиться). С целью реконструировать положение гортани изучались базикраны (область основания черепа) ископаемых гоминид. Было установлено, что австралопитеки в этом отношении гораздо ближе к человекообразным обезьянам, чем к современным людям. Следовательно, их голосовой репертуар был, скорее всего, очень ограничен. Изменения в современном направлении начались у ранних *Homo erectus*: анализ черепа KNM-ER 3733 возрастом около 1,5 млн. лет выявил зачаточный изгиб базикраниума. У ранних неандерталоидов (Петралона, Брокен Хилл) фиксируется уже полный изгиб, близкий к характерному для черепов современных людей. В то же время морфология основания черепа классических неандертальцев сильно отличается от таковой *Homo sapiens* [Laitman et al. 1992: 394]⁸.

⁷ Так я называю все формы гоминид, промежуточные между *Homo erectus* и людьми современного физического типа (*Homo sapiens*), и относимые к нескольким видам (*Homo Heidelbergensis*, *Homo neanderthalensis* и др.).

⁸ Следует заметить, что некоторые исследователи считают результаты палеоларингологических реконструкций не имеющими прямого отношения к вопросу о речевых способностях гоминид. По их мнению, эволюция гортани, глотки и т.д. имела лишь третьестепенное значение для становления человеческой речи, поскольку, как показывает медицинская практика, люди с удаленной гортанью все же могут говорить, как и люди с поврежденным языком, небом, губами. На основании этих данных высказано даже предположение, что если пересадить человеку гортань шимпанзе, то его речь будет мало отличаться от речи других людей [Wind 1989: 189–190].

Еще один орган, связанный с речевой деятельностью – это диафрагма, обеспечивающая точный контроль дыхания, необходимый для быстрой членораздельной речи. У современных людей одним из следствий такой функции диафрагмы является рост числа тел нервных клеток в спинном мозге грудных позвонков, что имеет результатом расширение позвоночного канала грудного отдела по сравнению с другими приматами. У *Homo erectus*, по крайней мере, ранних, судя по грудным позвонкам подростковой особи из Нариокотоме, такого расширения еще не произошло – они в этом отношении ближе к обезьянам, чем к современным людям [MacLarnon 1993].

Напротив, по размерам и строению челюстей и ротовой полости и питскантропы и неандертальцы гораздо ближе к современным людям, чем к обезьянам. И те, и другие, как предполагается, могли совершать языком все движения, необходимые для того, чтобы успешно артикулировать гласные и согласные звуки [Duchin 1990: 694–695].

Недавно была предпринята также попытка использовать в качестве показателя наличия речи толщину канала подъязычного нерва (он расположен в толще затылочной кости черепа между яремным отростком и мышелком). Поскольку этот нерв обеспечивает движения почти всех (кроме одного) мускулов языка, и поскольку можно ожидать, что число таких движений возрастало в процессе развития речи, было высказано предположение, что и сам нерв и, соответственно, канал, должны были увеличиваться, а коль скоро это так, то размер последнего мог бы служить показателем фонетических возможностей как современных, так и ископаемых видов. Проведенное сравнение величины сечения канала шимпанзе (обыкновенных и карликовых), горилл, современных людей и ряда ископаемых гоминид показало, что у грацильных австралопитеков и, возможно, хабилисов, она еще не выходит за рамки вариативности, свойственные человекообразным обезьянам, а вот у ранних неандерталоидов и классических неандертальцев, наоборот, достигает уже тех же значений, что и у ныне живущих представителей *Homo sapiens* [Kay et al. 1998]. Однако как исходный постулат этого исследования (существование значительной корреляции между толщиной подъязычного нерва и толщиной соответствующего канала), так и его выводы были вскоре поставлены под сомнение [DeGusta et al. 1999], так что остается неясным, может ли в действительности предложенный признак служить в качестве критерия степени развития речи.

Отдельным и весьма активно обсуждаемым аспектом проблемы становления биологического фундамента речевой способности является вопрос, в какой мере этот фундамент влияет на то, как мы усваиваем язык и говорим. Существуют две противостоящие точки зрения. Согласно одной из них, врожденной является лишь общая способность к научению языку, а какую форму он в результате примет, зависит исключительно от конкретных обстоятельств и среды, в которых эта способность реализуется. Согласно альтернативной точке зрения, люди обладают неким врожденным аппаратом для освоения языка, который не просто обеспечивает возможность научения, но и прямо влияет на характер нашей речи, организуя ее в соответствии с генетически детерминированной системой правил. Эту не зависящую от научения систему правил Н. Хомский – основоположник указанного подхода – рассматривал как некую общую для всего нашего биологического вида "универсальную грамматику", коренящуюся в нейронной структуре мозга ("языковой орган") и обеспечивающую быстроту и легкость усвоения языка и пользования им [Chomsky 1972]. По мнению сторонников первой точки зрения, считающих становление языка постепенным эволюционным процессом, теория Хомского требует внезапного качественного изменения лингвистических способностей приматов, который можно объяснить только "либо божественным вмешательством, либо несколькими одновременными и координированными мутациями", что крайне маловероятно и не согласуется с фактом морфологической эволюции мозга и голосовых органов [Miles, Harper 1994: 269–270]. Мне эта критика кажется справедливой, но, тем не менее, вопрос нельзя пока считать решенным [Bishop 1999].

Источники и генезис языковых знаков. Вопрос о природных источниках и стадиях генезиса знаков, составивших основу человеческого языка, многим представляется важнейшим во всей проблеме его происхождения и часто попросту заслоняет ее собой. Между тем, вопрос этот, в общем-то, вторичен, и как бы он ни был решен, это не может иметь сколько-нибудь серьезных последствий для наших представлений о характере и движущих силах развития знакового поведения. Этот вопрос получил бы первостепенное значение лишь в том случае, если бы мы вернулись к представлениям об интеллектуальной пропасти, разделяющей человека и животных. Тогда его решение означало бы решение проблемы, аналогичной по масштабу проблеме возникновения живого из неживого, и имело бы кардинальное значение и далеко идущие последствия для всей культурологии. На самом деле, однако, формирование знаков человеческого языка – это, скорее, развитие уже имевшегося в наличии качества, нежели возникновение качества абсолютно нового. Отрицание пропасти, таким образом, существенно понижает ранг вопроса. Он во многом сродни вопросу о том, делали ли первые орудия из камня, кости, или дерева, а надежды получить на него когда-нибудь убедительный ответ, пожалуй, даже меньше. И то, и другое, конечно, крайне любопытно, будит воображение, дает простор для множества гипотез, но в то же время очень напоминает такой фрагмент кроссворда, с которым не пересекается ни одна другая строка и решение которому поэтому, хоть и интересно само по себе, мало что дает для разгадки кроссворда в целом. Впрочем, в нашем случае, повторю еще раз, надежды на такое решение практически нет.

Существует две основные точки зрения относительно происхождения языковых знаков. Одна заключается в том, что они изначально носили вербально-звуковой характер и выросли из разного рода естественных вокализаций, характерных для наших отдаленных предков⁹, другая же предполагает, что звуковому языку предшествовал жестовый, который мог сформироваться на основе кинетических и мимических движений столь широко представленных в коммуникационном репертуаре многих современных обезьян. Внутри каждого из этих двух направлений сосуществует множество конкурирующих гипотез, рассматривающих в качестве исходного материала для генезиса языковых знаков разные виды естественных звуков и движений и по-разному рисуя детали реконструируемых процессов. История большинства гипотез интересно и достаточно подробно изложена в нескольких книгах на русском языке [Донских 1984; 1988; Якушин 1985], но о нынешнем состоянии проблемы несколько слов сказать все же следует.

Начало современного этапа ее обсуждения на Западе часто связывают с работами Ч. Хокетта, который выделил полтора десятка так называемых "конструктивных черт" (*desigh features*), характеризующих человеческую речь (перемещаемость, продуктивность, дуальность, дискретность, семантичность, произвольность и др.), и попытался показать, каким образом их возникновение и развитие привели к превращению естественной коммуникационной системы в язык [Hockett 1960; Hockett, Ascher 1964]. Особое внимание Хокетт уделил теме трансформации фиксированных вокализаций в слова, объяснению того, как и почему фонемы складывались в морфемы и как за последними закреплялось определенное значение. Он заметил, что коммуникационная система наших отдаленных предков, будучи закрытой, т.е. состоящей из ограниченного числа сигналов, прикрепленных к столь же ограниченному числу явлений, неизбежно должна была претерпеть радикальную трансформацию в случае появления необходимости обозначать все большее количество объектов. Первым шагом такой трансформации, ведущим к превращению закрытой системы

⁹ В одной из классических работ этого направления, авторы, дав волю фантазии и желая подчеркнуть несводимость проблемы к вопросу об эволюции голосовых органов, указывают на теоретическую возможность того, что при несколько ином раскладе анатомических реалий речь в принципе могла бы носить не вербально-звуковой, а сфинктерно-звуковой характер [Hockett, Ascher 1964: 142].

в открытую, было, по Хокетту, увеличение фонетического разнообразия вокализаций. Однако этот путь естественным образом ограничен и, кроме того, чреват возрастанием количества ошибок как при производстве звуков, так и особенно при их восприятии, поскольку различия между отдельными звуками по мере возрастания их числа должны были делаться все более тонкими и трудноуловимыми. Следовательно, при сохранении тенденции к увеличению количества объектов, явлений и отношений, требовавших обозначения, становился необходимым более эффективный способ повышения информативности коммуникативной системы. Естественным решением проблемы было наделение значением не отдельных, пусть даже сложных звуков, а их легко различаемых и численно неограниченных сочетаний. Так "пре-морфемы стали морфемами, звуки стали фонологическими компонентами, а пре-язык стал языком" [Hockett, Ascher 1964: 43]. Интересно, что в недавних работах специалистов в области теории игр "модель" Хокетта – правда, без ссылок на его работы и без упоминания его имени – получила математическое выражение и подтверждение [Nowak, Krakauer 1999].

Хотя в принципе многие из понятий, предложенных Хокеттом, применимы и к языку жестов, в целом его гипотеза – это гипотеза происхождения именно речи. В отечественной литературе столь же большую роль в обсуждении проблемы генезиса речи сыграли работы В.В. Бунака, выделившего в ее развитии семь стадий (от голосовых сигналов до речевых синтагм) и даже сопоставившего их со стадиями в эволюции мышления, орудийной деятельности и физического типа гоминид [Бунак 1966]. В качестве голосовых сигналов, явившихся исходной формой, источником будущих звуковых знаков, Бунак рассматривал так называемые органические, или жизненные шумы, издаваемые животными в спокойном состоянии. Другие авторы, напротив, видели этот источник в аффектированных звуках, связанных у обезьян с различными эмоциями и побуждениями [Леонтьев 1963].

Сторонники "речевого" направления обычно категорически отвергают возможность того, что первоначально язык мог быть жестовым, или, по крайней мере, относятся к ней весьма скептически [Алексеев 1984: 203–205; Бунак 1966: 524–525], но у их оппонентов есть все же некоторые аргументы, с которыми трудно не считаться. У обезьян, как известно, коммуникация осуществляется через несколько сенсорных каналов [Васильев, Дерягина 1991], но при этом вокализации часто служат не для того, чтобы передать конкретную информацию, а лишь чтобы привлечь внимание к визуальным, тактильным или иным сигналам [Wallman 1993: 44]. Как заметила по этому поводу Дж. Ланкастер [Wallman 1993: 44], слепое животное в сообществе приматов было бы в гораздо большей степени ущемлено в плане общения, чем глухое. В пользу гипотезы существования дозвуковой стадии в развитии языка может свидетельствовать и тот факт, что искусственные знаки, используемые шимпанзе и в природе, и в условиях эксперимента), – жестовые, тогда как звуковые сигналы, судя по всему, – врожденные. Есть также данные, что маленькие дети усваивают жестовый язык легче, чем голосовой. Иконичность, свойственная первому в гораздо большей степени, чем второму¹⁰, – еще одно свойство, которое могло обеспечить его исторический приоритет.

О том, что речи предшествовал жестовый язык, развитие которого привело затем к появлению языка возгласов, писал еще Кондильяк. Сходных воззрений придерживались также Э. Тэйлор, Л.Г. Морган, А. Уоллес, В. Вундт и некоторые другие классики антропологии, биологии и философии. О "кинетической речи", предшествовавшей звуковой, писал Н.Я. Марр. Что же касается современности, то число приверженцев идеи об исходной жестовой стадии в истории языка едва ли не превышает число тех, кто считает, что язык изначально был звуковым. Важный импульс для теоретизиро-

¹⁰ Жестовый язык, в отличие от звукового, обладает таким качеством, как "пространственность" (dimensionality) [Hockett 1978], что создает гораздо более широкие возможности для использования иконических (по Пирсу) знаков.

вания в этом направлении дали получившие широкую известность работы Г. Хьюза [Hewes 1973; 1976]. Впоследствии различные сценарии возникновения и эволюции языка жестов до звукового языка или параллельно с ним были предложены целым рядом лингвистов, приматологов, антропологов [Якушин 1985; Parker 1985; Васильев, Дерягина 1991; Kendon 1991; Milo, Quiatt 1993; Armstrong et al. 1994]. Им приходится решать в общем-то те же по сути своей проблемы, над которыми бьются "речевики", а кроме того еще и объяснять, как и почему жестовый язык в конечном счете все же превратился в звуковой. "Если звуковому языку предшествовал язык жестов, то проблема глоттогенеза – это проблема возникновения языка жестов. Но она, в свою очередь, остается проблемой происхождения языка. Точно так же, как и в случае со звуками, необходимо указывать источники развития жестикуляции, объяснять причину того, что жесты получили определенное значение, описывать синтаксис языка жестов. Если это сделано, то проблема возникновения звукового языка становится проблемой вытеснения жестов сопровождающими их звуками" [Донских 1984: 6–7]. Последняя часть сформулированной О.А. Донских задачи интересно решается, например, в книге Б.В. Якушина, где представлена картина того, как язык иконических и индексных знаков мог превратиться в язык символов, сменив при этом визуальную форму на звуковую [Якушин 1985: 126–134].

В принципе, кстати, нельзя исключить, что становление языка изначально носило полицентрический характер и совершалось независимо в нескольких географически изолированных популяциях гоминид. В этом случае процесс мог протекать в очень различающихся между собой формах, но ни реконструировать их, ни даже просто оценить степень правдоподобия такой гипотезы нет никакой возможности.

Происхождение синтаксиса. Одной из главных, или, возможно, самой главной особенностью нашего языка, наглядно отличающей его от коммуникативных систем обезьян и других животных, является наличие синтаксиса. Некоторые исследователи, придающие этому признаку особенно большое значение, считают, что именно и только с появлением синтаксиса можно говорить о языке в собственном смысле слова, а архаичные бессинтаксические формы знаковой коммуникации, предполагаемые для ранних гоминид, лучше называть протоязыком [Bickerton 1990: 1996]. Существует точка зрения (довольно спорная), что отсутствие синтаксиса ограничивало не только эффективность языка, но и крайне негативно сказывалось на мышлении, делая невозможным, или, во всяком случае, сильно затрудняя построение сложных логических цепочек типа: "событие x произошло потому, что произошло событие y : x всегда случается, когда случается y ; если не произойдет x , то не произойдет и y " и т.д. [Bickerton 1990: 162–163]. Правда, речь в последнем случае идет уже о довольно сложных синтаксических отношениях и конструкциях, тогда как простейшие их формы (вроде тех, что используют иногда обезьяны, обученные визуальным знакам) допускаются и для протоязыка.

Существует целый ряд гипотез относительно возникновения синтаксиса. Одни авторы полагают, что это событие было подобно взрыву, т.е. произошло быстро и резко, за счет некоей макромутации, вызвавшей соответствующую реорганизацию мозга [Bickerton 1990: 190], тогда как другие считают его результатом постепенного эволюционного процесса [Aiello, Dunbar 1993: 190; Armstrong et al. 1994: 356; Mithen 1997: 156; Tobias 1998: 76]. Предложена математическая модель, демонстрирующая неизбежность синтаксизации языка при условии, что количество используемых его носителями знаков превышает определенный пороговый уровень [Nowak et al. 2000]. Показано также, что решающую роль в становлении синтаксиса могли играть жестовые, а не звуковые знаки [Armstrong et al. 1994].

Время происхождения языка. Хотя ни речь, ни жестовый язык, если таковой ей предшествовал, в силу своей невещественной природы археологически неуловимы, и точно установить время их появления, а тем более датировать основные стадии

эволюции надежды очень мало, приблизительные оценки на основе разного рода косвенных данных все же вполне возможны.

Большинство таких оценок основаны на анализе антропологических материалов. Факт заметного увеличения мозга уже у *Homo habilis* истолковывается обычно как показатель возросшего интеллектуального и в том числе языкового потенциала этих гоминид. Наличие у *Homo habilis* образований, гомологичных нашим полям Брока и Вернике, также служит в качестве довода в пользу существования на этой ранней стадии эволюции зачатков речи [Tobias 1987; 1995; 1998]. Более того, Ф. Тобайас допускает теперь даже, что уже поздние австралопитеки могли обладать зачаточными речевыми способностями [Tobias 1998: 77]. Однако здесь стоит вспомнить, что, во-первых, как мы уже видели на примере человекообразных обезьян, обладать способностями – еще не значит пользоваться ими, а во-вторых, функции обоих названных полей, особенно на ранних этапах их эволюции, точно пока не выяснены. Не исключено, что их формирование не имело прямого отношения к становлению знакового поведения, и, таким образом, их наличие не может служить "железным" доказательством наличия языка.

Труднее поставить под сомнение эволюционный смысл некоторых преобразований голосовых органов. Дело в том, что низкое положение гортани, обеспечивающее, как считается, возможность членораздельной речи, имеет и отрицательную сторону – человек, в отличие от других животных, может подавиться. Маловероятно, что риск, связанный с такого рода анатомическими изменениями, был их единственным результатом и не компенсировался с самого начала иной, полезной функцией (или функциями). Поэтому резонно предполагать, что те гоминиды, у которых гортань уже была расположена достаточно низко, не просто имели возможность членораздельной речи, но и пользовались ей. Произошло же это, как свидетельствуют результаты палеоларингологических исследований, уже у ранних неандерталоидов, т.е. по меньшей мере 300–400 тысяч лет назад [Laitman, Reidenberg 1988: 107; Laitman et al. 1992: 393], а то и раньше, у *Homo erectus* между 1000000 и 500000 тысячами лет назад [Crelin 1987: 253–254].

Особняком стоит вопрос о фонетическом репертуаре и языковых способностях классических неандертальцев. Их часто оценивают весьма уничижительно, ссылаясь при этом главным образом на известную работу Ф. Либермана и Э. Крелина [Lieberman, Crelin 1971], реконструировавших по черепу из Ля Шапель-о-Сен вокальный тракт его обладателя, а затем попытавшихся определить на этой основе возможность произнесения им различных звуков. Согласно выводам, полученным в итоге, неандерталец был не способен артикулировать ряд гласных (*и, а, у*) и мог испытывать трудности с некоторыми согласными. Это, однако, ни в коем случае не означает, что *Homo neanderthalensis* были лишены речи (такого вывода не делает и сам Либерман). Во-первых, чтобы говорить, совсем не обязательно произносить все звуки, которые произносит современный человек, тем более, что и сейчас существует немало языков, располагающих лишь одной или двумя гласными (при обилии согласных), либо же очень ограниченным числом фонем в целом. И десятка звуков достаточно для создания сколь угодно большого количества слов. Во-вторых, восстановление мягких тканей по костям скелета – не слишком надежная основа для сколько-нибудь далеко идущих выводов. Работа Либермана и Крелина в этом отношении не раз подвергалась критике с методической точки зрения [Wind 1981; 1988; Houghton 1993], тем более, что новая реконструкция черепа из Ля Шапель-о-Сен [Heim 1989] предполагает гораздо большую степень изогнутости его основания, чем старая реконструкция М. Буля, которой пользовались американские исследователи. В-третьих, находка в пещере Кебара (Израиль) неандертальской подъязычной кости, свидетельствует, по мнению ряда исследователей, что ее обладатель был способен к членораздельной речи в той же мере, что и современный человек [Arensburg, Tillier 1990; Arensburg et al. 1990; Schepartz 1993]¹¹.

¹¹ Здесь, правда, остается еще много неясного, поскольку сама по себе морфология кости,

Таким образом, хотя краниофациальная морфология неандертальцев, безусловно, отличалась от нашей, отличия были не настолько велики, чтобы представители этого вида не могли обладать такими же или почти такими же лингвистическими способностями, как современный человек [Houghton 1993: 145].

Интересные возможности для определения времени возникновения языка открывает уже упоминавшаяся гипотеза Р. Данбара. Существование прямой зависимости между относительной величиной коры головного мозга (т.е. отношением коры к остальному мозгу) и размером сообществ приматов, с одной стороны, и между размером сообществ и временем, которое их члены тратят на груминг, с другой, позволяет рассчитать приблизительную численность групп ранних гоминид (для этого используются данные по эндокринным отливам)¹², а затем установить, на каком этапе их эволюционной истории эта численность достигла того порогового значения, при котором должно было стать необходимым замещение или, во всяком случае, дополнение груминга каким-то другим средством обеспечения социальной стабильности, менее времязатратным. Поскольку приматы могут тратить на груминг без ущерба для других видов активности до 20% времени ежедневно, то критическая точка предположительно соответствует такой численности, при которой эти затраты возросли бы до 25–30% (у современных людей при естественной численности сообщества в 148 членов они достигли бы 40%). Такая точка, как показывают расчеты, была наверняка уже достигнута к середине среднего плейстоцена, а значит, по крайней мере ранние неандерталоиды должны были уже обладать речью [Aiello, Dunbar 1993]. Этот вывод, полученный столь оригинальным путем, полностью соответствует заключениям, сделанным на основе изучения эволюции гортани, ротовой полости и подъязычного канала.

Археологи по своим материалам также пытаются судить о времени происхождения языка (обзоры см. [Davidson 1991; Hewes 1993; Graves 1994; Ingold 1994]). Некоторые из них считают, что первые достоверные признаки его существования появляются лишь в верхнем палеолите (т.е. не ранее 40 тысяч лет назад), вместе с искусством и другими новациями в культуре. Однако, как заметил П. Грэйвс, строго говоря, только изобретение письма может служить прямым свидетельством наличия языка [Graves 1994: 168], а из этого ведь никто не станет делать вывод, что люди бесписьменных эпох им не обладали. Интересное возражение против мнения, будто язык появился лишь с переходом к верхнему палеолиту, выдвинула С. Сэвидж-Рамбо. Постулат, что орудийная деятельность предшествует языку, требует, пишет она, допущения, что когнитивные способности, необходимые для изготовления орудий, менее сложны, чем способности, требуемые для образования простого языка. Однако такой взгляд трудно совместим с тем фактом, что дети начинают говорить несколько раньше, чем они становятся способны конструировать простейшие орудия [Savage-Rumbaugh 1994: 15].

Впрочем, и наличие орудий, даже требующих высокого уровня мастерства для их изготовления, само по себе вряд ли может быть доказательством наличия языка. Тем не менее, это не значит, что археологические данные абсолютно непригодны для определения времени его появления. Есть виды деятельности, которые невозможно

даже если она в самом деле очень близка таковой у современных людей, не показательна в смысле артикуляционных возможностей, а для вывода о ее низком (как у нас) положении в горле достаточных оснований нет [Lieberman 1992: 1993].

¹² Сколь бы ненадежными и спорными не казались такие расчеты, нельзя не заметить, что "естественная" численность сообщества, выведенная Данбаром для современных людей (148 человек), находит подтверждение в этнографических данных. Она соответствует как раз тому пороговому значению, до достижения которого отношения родства, свойства и взаимопомощи оказываются вполне достаточными для упорядочения социальных отношений. Если же этот предел превышает, то организационные отношения имеют тенденцию усложняться, происходит сегментация, эта группа делится на подгруппы более высокого уровня, чем домохозяйства (households) или семьи" [Fogre 1972: 371; см. также Kosse 1990].

или, по крайней мере, очень трудно осуществлять без хотя бы какого-то общения и предварительного обсуждения. Зафиксировав отражение таких действий в археологическом материале, можно, следовательно, с большей степенью вероятности предполагать наличие того или иного явления в соответствующий период языка. По мнению А. Ронена, древнейшим свидетельством языка и символизма в целом является использование огня, который, как он полагает, кое-где был "приручен" (т.е. постоянно поддерживался) уже в нижнем палеолите [Ronen 1998].

Более надежным признаком наличия и использования лингвистических способностей может, видимо, служить мореплавание. Еще недавно сторонники мнения о позднем возникновении языка утверждали, что древнейшим достоверным свидетельством его существования является факт заселения Австралии 50–55 тысяч лет назад, поскольку дальнейшее путешествие по морю (иного способа добраться до Австралии, как считается, не было) требовало специальной подготовки (постройки плавсредств, создания запасов провизии и воды и др.) и предварительного обсуждения [Davidson, Noble 1992]. Теперь, однако, если руководствоваться этой же логикой, но обратиться к истории иных островов, можно найти основания, чтобы удревить язык как минимум до 700 тысяч лет. Именно этим временем датируются кости животных и камни, найденные в нескольких пунктах на о-ве Флорес (восток Индонезии). Остров этот также, по-видимому, не имел в среднем плейстоцене (и позже) сухопутной связи с материком, и потому наличие здесь столь древних каменных изделий означало бы его заселение морским путем, что, в свою очередь, предполагало бы существование языка у первопоселенцев. Такой вывод, собственно, и был уже сделан рядом авторов [Bednarik, 1995; Morwood et al. 1999], но, к сожалению, приводимые в публикациях рисунки не убеждают в том, что в данном случае мы действительно имеем дело с артефактами, а это заставляет воздержаться от окончательного заключения.

Многие археологи, не отрицая возможности существования языка уже на ранних стадиях эволюции человека, считают, тем не менее, что "полностью современный", "развитый синтаксический язык" появился лишь у людей современного физического типа, и стал катализатором бурных изменений в иных сферах культуры, фиксируемых для этого периода [White 1985; Clark 1995; Mellars 1996]. Однако никаких прямых данных, которые подтверждали бы эту гипотезу (т.е. что язык приобрел современную форму именно в рассматриваемый период) нет, так что она остается пока "чисто спекулятивной" [Straus 1997: 244].

Заключение. Появление языка можно рассматривать как следствие более интенсивного использования гоминидами тех способностей к знаковой коммуникации, которые имеются уже у человекообразных обезьян. Эта интенсификация была обусловлена неблагоприятными изменениями среды обитания, ростом компенсирующей роли культурного (не детерминированного генетически) поведения и резким увеличением объемов информации, циркулировавшей в сообществах наших предков и необходимой для успешной адаптации к новым условиям существования. Мозговые центры, обеспечивающие, как считается, производство и восприятие знаков, были достаточно выражены уже у первых представителей рода *Homo*, живших около 2 млн. лет назад, но использовались ли эти центры тогда именно в данном качестве и, если да, то в какой мере, сказать невозможно. Невозможно и с уверенностью сказать, какого рода знаки – визуальные или звуковые – играли главную роль в развитии языка на самых ранних стадиях его эволюции. Речь, судя по антропологическим данным, зазвучала на Земле как минимум 300–400 тысяч лет назад, когда анатомические органы, участвующие в произнесении звуков, приобрели свое современное или близкое к таковому строение. Около 40 тысяч лет назад вместе с общим усложнением культуры произошло, вероятно, и некоторое усложнение языка, но данных для суждения о том, насколько существенным оно было и в чем конкретно состояло, нет.

- Алексеев В.П.* 1984 – Становление человечества. М., 1984.
- Бунак В.В.* 1966 – Речь и интеллект. стадии их развития в антропогенезе // Ископаемые гоминиды и происхождение человека. М., 1966.
- Васильев С.В., Дерягина М.А.* 1991 – Формы коммуникации у обезьян и этапы происхождения речи // Поведение приматов и проблемы антропогенеза. М., 1991.
- Вишняцкий Л.Б.* 1999 – История одной случайности. или происхождение человека // *Stratum*. 1999. № 1.
- Выготский Л.С.* 1934 – Мышление и речь. М.; Л., 1934.
- Донских О.А.* 1984 – Происхождение языка как философская проблема. Новосибирск, 1984.
- Донских О.А.* 1988 – К истокам языка. Новосибирск, 1988.
- Ичас М.* 1994 – О природе живого: механизмы и смысл. М., 1994.
- Леонтьев А.А.* 1963 – Возникновение и первоначальное развитие языка. М., 1963.
- Маркс К., Энгельс Ф.* 1960 – Сочинения. М., 1960.
- Николаева Т.М.* 1996 – Теории происхождения языка и его эволюции. Новое направление в современном языкознании // ВЯ. 1996. № 2.
- Поршнев Б.Ф.* 1974 – О начале человеческой истории. М., 1974.
- Сергеев Б.Ф.* 1986 – Ступени эволюции интеллекта. Т., 1986.
- Сифарт Р.М., Чини Д.Л.* 1993 – Разум и мышление у обезьян // В мире науки. 1993. № 2–3.
- Якушин Б.В.* 1985 – Гипотезы о происхождении языка. М., 1985.
- Atiello L.C., Dunbar R.I.M.* 1993 – Neocortex size, group size, and the evolution of language // *Current anthropology*. 1993. V. 34. № 2.
- Aitchison J.* 1996 – The seeds of speech: Language origin and evolution. Cambridge, 1996.
- Arcadi A.C.* 2000 – Vocal responsiveness in male wild chimpanzees: implications for the evolution of language // *Journal of human evolution*. 2000. V. 39. № 2.
- Arensburg B., Achepartz L.A., Tillier A.-M., Vandermeersch B., Douday H., Rak Y.* 1990 – A reappraisal of the anatomical basis for speech in Middle Paleolithic hominids // *American journal of physical anthropology*. 1990. V. 83. № 2.
- Arensburg B., Tillier A.-M.* 1990 – Le langage des Néanderthaliens // *Recherche*. 1990. V. 21. № 224.
- Armstrong D.F., Stokoe W.C., Wilcox S.E.* 1994 – Signs of the origin of syntax // *Current anthropology*. 1994. V. 35. № 4.
- Barton R.A.* 1996 – Neocortex size and behavioural ecology in primates // *Proceedings of the Royal Society of London. Biology*. V. 263. 1996.
- Bickerton D.* 1990 – Language and species. Chicago, 1991.
- Bickerton D.* 1996 – Language and human behaviour. London, 1996.
- Bishop D.V.M.* 1999 – Enhanced: an innate basis for language? // *Science*. 1999. V. 286.
- Burling R.* 1993 – Primate calls, human language, and nonverbal communication // *Current anthropology*. 1993. V. 34. № 1.
- Byrne R.W.* 1996 – Machiavellian intelligence // *Evolutionary Anthropology*. V. 5. № 5.
- Byrne R.W., Whiten A.* (Eds.) 1988 – Machiavellian intelligence: Social expertise and the evolution of intellect in monkeys, apes, and humans. Oxford, 1988.
- Chomsky N.* 1972 – Language and mind. New York, 1972.
- Chomsky N., Fodor J.A.* 1980 – The inductivist fallacy: Statement of paradox // *Language and learning*. Oxford, 1980.
- Clark J.D.* 1995 – Recent developments in human biological and cultural evolution // *South African archaeological bulletin*. 1995. V. 50. № 162.
- Conroy G.C., Weber G.W., Seider H., Tobias P.V., Kane A., Brunson B.* 1998 – Endocranial capacity in an early hominid cranium from Sterkfontein, South Africa // *Science*. 1998. V. 280.
- Crelin E.S.* 1987 – The human vocal tract. Anatomy, function, development and evolution. New York, 1987.
- Davidson I.* 1991 – The archaeology of language origins: a review // *Antiquity*. 1991. V. 65. № 246.
- Davidson I., Noble W.* 1993 – On the evolution of language // *Current Anthropology*. 1993. V. 34. № 2.
- DeGusta D., Gilbert W.H., Turner S.P.* 1999 – Hypoglossal canal size and hominid speech // *Proceedings of the National Academy of Sciences. USA*. 1999. V. 96. № 4.

- Duchin L.E.* 1990 – The evolution of articulate speech: comparative anatomy of the oral cavity in Pan and Homo // *Journal of human evolution*. 1990. V. 19. № 6/7.
- Dunbar R.I.M.* 1993 – Co-evolution of neocortex size, group size, and language in humans // *Behavior and brain sciences*. 1993. V. 16.
- Forge A.* 1972 – Normative factors in the settlement size of Neolithic cultivators (New Guinea) // *Man, settlement and urbanism*. London, 1972.
- Gannon P.J., Holloway R.L., Broadfield D.C., Braun A.R.* 1998 – Asymmetry of chimpanzee *planum temporale*: humanlike pattern of Wernicke's brain language area homologue // *Science*. 1998. V. 279.
- Graves P.* 1994 – Flakes and ladders: what the archaeological record can tell us about the origins of language // *World archaeology*. 1994. V. 26. № 2.
- Henneberg M.* 1987 – Hominid cranial capacity change through time: a Darwinian process // *Human evolution*. 1987. V. 2. № 3.
- Hewes G.W.* 1993 – A history of speculation on the relation between tools and language // *Tools, language and cognition in human evolution*. Cambridge, 1993.
- Hockett C.F.* 1960 – The origin of speech // *Scientific American*. 1960. V. 203.
- Hockett C.F.* 1978 – In search of Jove's brow // *American speech*. 1978. V. 53.
- Hockett C.F., Ascher R.* 1964 – The human revolution // *Current anthropology*. 1964. V. 5. № 2.
- Houghton P.* 1993 – Neandertal supralaryngeal vocal tract // *American journal of physical Anthropology*. 1993. V. 90. № 2.
- Humphrey N.K.* 1976 – The social function of intellect // *Growing points in ethology*. Cambridge, 1976.
- Kappelman J.* 1996 – The evolution of body mass and relative brain size in fossil hominids // *Journal of human evolution*. 1996. V. 30. № 3.
- Kay R.F., Cartmill M., Balow M.* 1998 – The hypoglossal canal and the origin of human vocal behavior // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. USA. 1998. V. 95. № 9.
- Kendon A.* 1991 – Some considerations for a theory of language origins // *Man*. 1991. V. 26. № 2.
- King B.J.* 1991 – Social information transfer in monkeys, apes, and hominids // *Yearbook of physical anthropology*. 1991. V. 34.
- Kosse K.* 1990 – Group size and societal complexity: Thresholds in the long-term memory // *Journal of anthropological archaeology*. 1990. V. 9. № 3.
- Krantz G.S.* 1995 – *Homo erectus* brain sizes by subspecies // *Human evolution*. 1995. V. 10. № 2.
- Laitman J.T., Reidenberg J.S.* 1988 – Advances in understanding the relationship between the skull base and larynx with comments on the origins of speech // *Human evolution*. 1988. V. 3. № 1–2.
- Laitman J.T., Reidenberg J.S., Gannon P.J.* 1992 – Fossil skulls and hominid vocal tracts: new approaches to charting the evolutions of human speech // *Language origin: A multidisciplinary approach*. Dordrecht, 1992.
- Lieberman Ph.* 1992 – On Neanderthal speech and Neanderthal extinction // *Current anthropology*. 1992. V. 33. № 4.
- Lieberman Ph.* 1993 – On the Kebara KMH 2 hyoid and Neanderthal speech // *Current anthropology*. 1993. V. 34. № 2.
- Lieberman Ph., Crelin E.* 1971 – On the speech of neanderthal man // *Linguistic inquiry*. 1971. V. 2.
- MacLarnon A.* 1993 – The vertebral canal // *The Nariokotome Homo erectus skeleton*. Cambridge (Mass.), 1993.
- Mellars P.* 1996 – Symbolism, language, and the Neanderthal mind // *Modelling the early human mind*. Cambridge, 1996.
- Miles H.L., Harper S.E.* 1994 – "Ape language" studies and the study human language origins // *Hominid culture in primate perspective*. Niwot, 1994.
- Milo R.G., Quiatt D.* 1993 – Glottogenesis and anatomically modern *Homo sapiens*: The evidence for and implications of a later origin of vocal language // *Current anthropology*. 1993. V. 34. № 5.
- Mithen S.* 1997 – What more is there to say? Three books on the evolution of language // *Cambridge archaeological journal*. 1997. V. 7. № 1.
- Morwood M.J., Aziz F., O'Sullivan P., Nasruddin D.R., Hobbs A., Raza* 1999 – Archaeological and paleontological research in central Flores, east Indonesia: results of fieldwork 1997–1998 // *Antiquity*. V. 73. № 280.
- Nowak M.A., Krakauer D.C.* 1999 – The evolution of language // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. USA. 1999. V. 96. № 14.

- Nowak M.A., Plotkin J.B., Jansen V.A.A. 2000 – The evolution of syntactic communication // *Nature*. 2000. V. 404.
- Parker S. 1985 – A social-technological model for the evolution of language // *Current anthropology*. 1985. V. 26. № 6.
- Petitto L.A., Zatorre R.J., Gauna K., Nikelski E.J., Dostie D., Evans A.C. 2000 – Speech-like cerebral activity in profoundly deaf people processing signed languages: Implications for the neural basis of human language // *Proceedings of the National Academy of Sciences. USA*. 2000. V. 97. № 25.
- Priest S. 1991 – *Theories of the mind*. London, 1991.
- Rightmire G. 1981 – Patterns in the evolution of *Homo erectus* // *Paleobiology*. 1981. V. 7. № 2.
- Ronen A. 1998 – Domestic fire as evidence for language // *Neandertals and modern humans in Western Asia*. New York, 1998.
- Ruff C.B., Trinkaus E., Holliday T.W. 1997 – Body mass and encephalization in Pleistocene *Homo* // *Nature*. 1997. V. 387.
- Savage-Rumbaugh E.S. 1994 – Hominid evolution: looking to modern apes for clues // *Hominid culture in primate perspective*. Niwot, 1994.
- Savage-Rumbaugh S.E., Williams S., Furuichi T., Kano T. 1996 – *Language perceived: Paniscus branches out – Great Ape Societies*. Cambridge, 1996.
- Schepartz L. 1993 – Language and modern human origins // *Yearbook of physical anthropology*. 1993. V. 36.
- Snowdon C.T. 1982 – Linguistic and psycholinguistic approaches to primate communication // *Primate communication*. Cambridge, 1982.
- Straus L.G. 1997 – The Iberian situation between 40,000 and 30,000 B.P. in light of European models of migration and convergence // *Conceptual issues in modern human origins research*. New York, 1997.
- Tobias P.V. 1987 – The brain of *Homo habilis*: a new level of organization in cerebral evolution // *Journal of human evolution*. 1987. V. 16. № 6.
- Tobias P.V. 1995 – The brain of the first hominids // *Origins of the human brain*. Oxford, 1995.
- Tobias P.V. 1998 – Evidence for the early beginnings of the spoken language // *Cambridge archaeological journal*. 1998. V. 8. № 1.
- Vishnyatsky L.B. 1999 – Why cultural behaviour became a part of early hominid adaptation strategies (on the causes of the first "cultural revolution") // *Hominid evolution. Lifestyles and survival strategies*. Gelsenkirchen, 1999.
- De Waal F. 1982 – *Chimpanzee politics: Power and sex among apes*. London, 1982.
- Wallman J. 1993 – Comment // *Current anthropology*. 1993. V. 34. № 1.
- White R. 1985 – Thoughts on social relationships and language in hominid evolution // *Journal of social and personal relationships*. 1985. V. 2.
- Wilkins W.K., Wakefield J. 1995 – Brain evolution and neurolinguistic preconditions // *Behavioral and brain sciences*. 1995. V. 18.
- Wind J. 1981 – Langage articulé chez les néanderthaliens? // *Les processus de l'hominisation*. Paris, 1981.
- Wind J. 1988 – Les néanderthaliens: ont-ils parlé? // *L'homme de Néandertal*. V. 5. Liège, 1988.
- Wind J. 1989 – The evolutionary history of the human speech organs // *Studies in language origins*. 1989. V. 1.
- Wolpoff M.H. 1984 – Evolution in *Homo erectus*: The question of stasis // *Paleobiology*. 1984. V. 10.
- Zuberbühler K. 2000 – Interspecies semantic communication in two forest primates // *Proceedings of the Royal society of London. Series B*. 2000. V. 267. № 1444.

© 2002 г. В. ДИТРИХ

**ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКОВ АМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ
НА РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ (II):
"ОБЩИЕ ЯЗЫКИ": АЦТЕКСКИЙ, КЕЧУА И ТУПИ.
СУБСТРАТ, АДСТРАТ ИЛИ ИНТЕРСТРАТ?***

**4. ЭТАПЫ ЗАВОЕВАНИЯ ИСПАНОЯЗЫЧНОЙ АМЕРИКИ (ИСПАНОАМЕРИКИ)
И РАННИЙ ПЕРИОД КОЛОНИЗАЦИИ БРАЗИЛИИ**

4.1. Введение. Второй этап завоевания Испаноамерики начался с территории Кубы в 1519 г., а именно, Эрнан Кортес подчинил себе ацтекскую империю мексиканского нагорья, а затем и остатки империй майя в Юкатане, в Гватемале и в остальной части Центральной Америки. В 1535 г. Мексика приобретает статус вице-королевства "Новая Испания". Третий этап охватывает период с 1531 по 1556 гг. Писарро завоевывает сначала (1531–1533) империю Инков на центральном нагорье Анд и основывает в 1535 г. Лиму, ставшую столицей "Новой Кастилии". В 1542 г. вице-королевством становится Перу, а оттуда завоевания простираются в северном направлении, охватывая районы Эквадора и Колумбии, а также в южном направлении, вплоть до современной Чили. Из Испании делаются попытки освоить районы Рио-де-Плата, сначала с переменным успехом, а затем постепенно удается завоевать Парагвай (был основан Асунсион в 1537 г.) и Боливию (Потоси открывает в 1545 г. месторождения серебра). Колонизацию Венесуэлы в 1528 г. император Карл V предоставил аугсбургскому торговому дому Вельзеров, однако в 1546 г. этот торговый дом отказался от такого плана и за дело взялась Испания. Таким образом, к концу правления Карла V все, что можно было завоевать в Испаноамерике по договору в Тордесильясе, было завоевано. Освоение и эксплуатация новых земель, а также охват миссионерской деятельностью новых поданных испанской короны начались уже в это время, но в полной мере происходили в последующий период [Dietrich, Geckeler 1993].

Бразилию открыл в 1500 г. Педру Альвариш Кабрал в том районе, который позже назовут *Салвадор (Баия)*, однако лишь в 1532 г. было заложено первое португальское поселение Сан-Висенте (под Сантос). Первой столицей стал основанный в 1549 г. Сальвадор-да-Баия, ставший в 1554 г. центром южной части Сан-Пауло. Основателем был патер бразильской миссии иезуитов Жозе ди Аншиета (родом с Канар), первым описавший грамматику языка тупинамба (см. 2.6). Рио-де-Жанейро, изначально французское владение, переходит в 1567 г. в руки португальцев. На северное побережье от Пернамбуко до Мараньяо одновременно претендовали голландцы, французы и – на первых порах ненастойчиво – португальцы. Такое положение сохранилось до 1654 г., даты изгнания голландцев из Пернамбуко. Заселение Бразилии (вряд ли можно говорить о завоевании, поскольку на пути колонизаторов здесь не было никаких индейских империй) длительное время происходило только на побережье, так что остальная часть континента не была освоена вплоть до XVIII века. Португальские

* Окончание. Начало: В. Дитрих. Влияние американдских языков на романские (языковые контакты в Северной Америке и странах Карибского бассейна) // ВЯ. 1999. № 3.

поселенцы прибывали обычно без женщин. вначале вступали в связь с местными жительницами. поэтому "мамлюки" впоследствии составили большинство бразильского метисского населения: однако от первой половины XVI в. через посредство португальских чиновников, путешественников и т.п. до нашего времени дошло не очень много слов индейского происхождения, которые употреблялись бы в современном бразильском или европейском португальском. Свидетельства подобного рода мы находим у французских и немецких путешественников и искателей приключений (А. Гевэ. Ж. де Лери, Г. Штадена). Тем не менее, довольно вероятно, что в шестнадцатом веке обычным языком смешанных семей был "бразильский язык", возникший из тупинамба (Tupinambá) и служивший в качестве языка общения между переселенцами и индейцами тупинамба, а также и другими индейцами, выучившими этот смешанный язык в миссиях. "Бразильский язык" использовался также в общении с африканскими рабами. Этот язык процветал, главным образом, в областях, значительно удаленных от столицы – Баия. Там дети начинали изучать португальский только в школе в качестве письменного языка [Rodrigues 1986: 99–101]. Первое документированное обращение к туземным языкам можно констатировать у португальских миссионеров.

4.2. Начало миссионерской деятельности и образование "всеобщих языков" ("linguas generales"/"linguas gerais"). Колумб еще в своих первых письмах (от 2 и 12 ноября 1492 г.) говорил о необходимости обращения индейцев [Rosenblat 1964: 193]. Первые миссионеры принадлежали к нищенствующим орденам (францисканцев, доминиканцев, августинцев). Христианизация предполагала привитие испанского языка высшим слоям индейского общества. В Бразилии же миссионерская деятельность началась только с прибытием в Баия иезуитов (1549, ср. [Handelmann 1987: 113]), когда отношение к выбору языка изменилось. После того как Тридентский церковный собор первых заседаний (1545–1547 гг.), а после этого и испанские законы об Индиях ("Leyes de Indias") от 1550 г. (кн. VI, раздел I, закон 18) предписали использовать испанский язык в миссионерской деятельности среди индейцев, из-за слишком большого количества и недостаточной приспособленности (то есть, яковы недостаточной разработанности) туземных языков выражать истины веры. Третий церковный собор в Лиме 1583 г. принял противоположное постановление: преподавать индейцам на их собственном языке, поскольку опыт показал, что назидания по-испански либо совсем не были понятны, либо понимались неправильно. С этого времени во всех центрах основывались кафедры (Cátedras, у автора Lehrstühle – прим. перев.) главных языков, на которых проповедники должны были учиться как минимум в течение года – иначе же им грозило отстранение от проповеднической деятельности. Филипп II в 1596 г. попытался отменить эту сложившуюся в Америке языковую практику, введенную Лимским собором, однако ему это не удалось [Товар 1984: 191 и сл.].

Начиная с 1583 г. появляется большое число описаний языков, использовавшихся в миссии. Эти почти официальные описания возникли, естественно, на кафедрах, специально для этих языков основанных, но базировавшихся на многолетнем языковом опыте миссионеров предшествовавших десятилетий. На этих кафедрах занимались такими языками, как науа в Мексике, кечуа в Лиме и в Кито, чибча (мунска) в Боготе, а с 1666 г. и чилийским арауканским языком мапуче, который преподавался также в Лиме. Язык аймара изучался на "кафедре" в Лиме очень недолго

Кафедры поддерживались государством в университетах столиц вице-королевств, на них работали иезуиты, выполнявшие большую часть миссионерской деятельности. Другие языки описывались и преподавались в самих орденах. Например, в ордене францисканцев – кумангито (карибе) в Венесуэле: гуарани в Бразилии (начиная с 1549 г.) и в Парагвае (по меньшей мере с 1612 г.) – у иезуитов. При описании этих языков всегда речь шла о сведении (reducción) этих языков к искусству или к грамматике ("a Arte" или "a Gramática"). Отсюда, естественно, вытекает то обстоятельство, что от языкового варьирования (главным образом, диалектического), встречаемого и здесь, и везде, отвлекались, а грамматическое описание сводилось к единообразной схеме. Однако это не обязательно означало (вопреки тому, что часто утверждают)

упрощение грамматики и синтаксиса, ибо ранние исследователи этих языков прекрасно знали эти языки. Кроме того, сведение к грамматике (*reducción a Gramática*) в целом состояло в парадигматической схематизации, – скажем, в расплетании запутанного клубка частиц, которые определяют самые разные стороны синтаксиса этих языков и функций которых и сегодня не всегда легко бывает точно определить.

В отношении крупных, широкораспространенных языков американских индейцев, описанных таким образом, очень скоро укоренился термин "общие языки" (*lenguas generales*). Они не только были стандартизированы в результате описания с целью преподавания, но и могли использоваться в рамках миссионерской деятельности на обширных территориях. Этому способствовало распространение языков империи ацтеков в Мексике и империи инков в Перу, – то, что еще в доколумбову эпоху вынуждало мелкие племена принять язык своих господ. "Общие языки" существовали и преподавались на кафедрах вплоть до указа (*cédula*) Карла III в мае 1770 г. о принудительном употреблении испанского языка и о запрете туземных языков [Tovar 1984: 192].

К широкораспространенным языкам, использованным для христианизации, относятся: тупинамба (*Tupinambá*), на котором говорили различные племена на бразильском побережье, тупиниким (*Tupiniquim*), карио/карихо (*Cario/Carijó*), потигуара (*Potiguara*) и т.д. Язык тупинамба иезуиты изучали, описывали и использовали в миссионерской практике с 1549 г., со времени основания Сальвадора-да-Баиа. Очень скоро этот язык стали называть "бразильским языком" (*língua brasílica*). Термин "тупи" (*Tupí*) становится обычным только где-то в середине XIX в. [Schwamborn 1987]. Проповедник бразильской миссии и первый грамматист этого языка, Жозе ди Аншьета (*José de Anchieta*), считает тупинамба в своем описании 1595 г. наиболее употребительным на побережье Бразилии (*a língua mais usada na Costa do Brasil*). Тогда этот язык был более широко распространен, чем португальский, из-за браков первых переселенцев с местными женщинами. В районах, отдаленных от столицы Баиа, образовались две разные смешанные формы тупинамба, их Родригес [Rodrigues 1986: 99–109] называет общими языками (*líguas gerais*), в противоположность несмешанному тупи Аншьеты и дальнейших миссий.

На юге же образовался так называемый общий язык Сан-Пауло (*Língua Geral Paulista*), основу которого составлял тупи индейцев Сан-Висенте. Это язык, на котором в XVIII в. разговаривали бандейранты, которые, исходя из Сан-Паулу, исследовали Минаш Жерайш (*Minas Gerais*), Гойаш (*Goiás*), Мату Грошшу (*Mato Grosso*) и южную Бразилию [Rodrigues 1986: 102]. Переняла этот язык в XVIII в., забыв родной свой язык, и часть индейцев бороро на юге от Гойаш. Этот общий язык, постепенно все больше удалявшийся от первоначального тупи Сан-Висенте, почти не документирован, однако сохранился, например, в многочисленных топонимах в областях, в которых никогда не проживали индейцы тупи-гуарани. В XVIII в. общий язык Сан-Висенте был сильно потеснен португальским из-за массивного переселения португальцев, а в XIX в. этот язык полностью исчез.

На севере, в Мараньян (*Maranhão*) и в Пара (*Pará*), вместе с португальской колонизацией района Амазонки, возник общий амазонский язык (*Língua Geral Amazônica*), позже названный также ньенгату (*Nheengatú*) "хороший язык". Этот язык сохранился до сегодняшнего дня, он влияет по-прежнему на региональный португальский язык. Ньенгату возник в результате смешения (но без креолизации) языка тупинамба, на котором говорили от Баиа вплоть до устья реки Токантин. Во время освоения района Амазонки португальскими миссионерами, солдатами, купцами и поселенцами чистый тупинамба служил языком христианизации, а общий язык (*Língua Geral*) обслуживал общение европейцев с индейцами, а также между разноязычными индейцами. Некоторые индейские племена отказались от своих собственных языков в пользу ньенгату: например, частично это произошло с банива (*Baniwa*) в верховьях Риу-Негру, где этот язык до сих пор еще в ходу [Taylor 1985].

Итак, общий язык (*Língua geral*) в бразильском языковом пространстве играл не ту же роль, что общий язык (*lengua general*) в испанских колониях Америки. В Испа-

ноамерике "общие языки" – стандартизированные чистые языки индейцев, а в Бразилии они являются вариантами, упрощенными в грамматическом и фонетическом отношениях. Во времена бразильской колонии, естественно, никакое грамматическое описание языка тупи(намба) не называют "общим языком".

Близким родственником "бразильского языка" (*língua brasílica*) является парагвайский гуарани. Район между реками Парана и Рио-Парагвай был в 1536 освоен, начиная с Рио-де-ла-Плата (в 1537 г. был основан Асунсьон), а после перехода этого района во владение Испании им управляли из Лимы в качестве "провинции Парагвай". Миссионерскую деятельность, начиная с 1612 г., проводят иезуиты в районе Гуайра (*Guairá*), сегодня принадлежащем штату Парана (Бразилия) на востоке от Параны. Антонио Руис де Монтойя, в 1639 г. опубликовавший первые грамматику и словарь языка гуарани, руководил миссией, которая все больше и больше подвергалась налетам бандейрантов из Капитания Сан-Пауло: для искателей приключений, постоянно осваивавших новые земли и поэтому нуждавшихся в рабах для полевых работ, миссионеры были помехой. Эта опасность вынуждает иезуитов уйти на плато по Паране и увести с собой примерно 10 тыс. обращенных индейцев. В результате они заселяют на юге сегодняшних Парагвая и аргентинской провинции Мисьонес (*Misiones*) существовавшие еще до этого поселения, расширяя их и основывая на их месте ставшие позже знаменитыми "редукции" – большие, отгороженные от внешнего мира лагеря миссионеров, в которых индейцы жили и работали вместе с миссионерами. Языком общения был гуарани, считавшийся общим языком Провинции Парагвай (*lengua general de la Provincia del Paraguay*), несмотря на то, что еще не существовало кафедры и никакой государственной поддержки ему не оказывалось [Dietrich 1984; Rodrigues 1986: 99]. Следуя традиции Аншьеты со времен Бразилии XVI в., на гуарани также пишутся пьесы и ставятся спектакли. После изгнания иезуитов из Южной Америки в 1767 г. обращенные индейцы редукций становятся поселенцами, явно выделявшимися из числа остальных, "общинных" индейцев. Они образуют семьи с белыми и метисами в районах, прилежащих к редукциям, и составляют основу для парагвайской нации, даже и в языковом отношении, поскольку они сохранили свой гуарани и в качестве основного языка, и в качестве субстрата в испанском (осваиваемом повсеместно в качестве второго языка). По Родригесу [Rodrigues 1986: 99 и сл.], современный парагвайский гуарани тоже можно назвать "общим языком" (*língua geral*): хотя в фонетическом и грамматическом отношениях этот язык не подвергся упрощению, но лексика его частично испанизирована.

Если отвлечься от аравакских и карибских заимствований в ранний период испанского завоевания Карибского района, "общие языки", и только они, в силу большой роли и распространенности, оказали главное влияние на испанский и на португальский. Престиж и внешнее влияние кафедр и церковных институций, с одной стороны, и распространение этих языков в результате смешения населения, с другой, были при этом важными факторами. Выходцы из смешанных семей могли осуществлять посредничество только в условиях престижного "общего языка", а также при условии, что эти выходцы владеют общим языком (испанским *lengua general* или португальским *língua geral*) как родным.

От легендарной славы иезуитских "редукций" парагвайский гуарани унаследовал при формировании национального государства в XIX в. часть своего идентифицирующего влияния. Конечно, влияние "общих языков" в монолингвальных испанских и португальских слоях общества ограничивалось определенными лексическими пластами. Там же, где не было никаких государственных судов второй инстанции (*Audiencia*) и никаких миссионерских центров, а потому не возникал "общий язык" (как, например, в Юкатане, районе майя), – не было и никаких межрегионально употребляемых заимствований в испанском языке. В Гватемале был один суд второй инстанции (*Audiencia*), но не было миссионерских центров, поэтому-то и не возник "общий язык Гватемалы"; есть скорее заимствования из языка науатль, а не из языка майя; из языка майя там нет межрегиональных заимствований.

5.1. Введение. Несмотря на большой процент носителей туземных языков (почти 5,3 млн. по переписи 1990 г.), в Мексике 92,5% населения являются испанскими монолингвами. Для всех метисов испанский язык является родным. 56 индейских языков являются официальными [Zimmermann 1992b: 333]. Но из них только несколько представлены значительным числом (одноязычных или двуязычных) говорящих: науатль (1,2 млн.), майя (710 тыс.), сапотек (400 тыс.), микстекский (380 тыс.), отоми (280 тыс.), тцелталь (260 тыс.), тцотциль (230 тыс.), тотонакский (210 тыс.), масатекский (170 тыс.), чоль (130 тыс.), уастекский (120 тыс.), чинантекский (100 тыс. [Zimmermann 1992b: 334]). Малочисленным языкам продолжает грозить вымирание, после того как, со времен завоевания Мексики, из 120 языков сохранилось только 15¹.

По плану испанизации индейцев, первоначально страдавшему односторонностью и безуспешно претворяющемуся в жизнь, после не слишком настойчивых попыток, теперь уже в течение последних нескольких лет на вооружение принята этнолингвистическая программа, по которой учителя индейского происхождения должны получать этнолингвистическое образование по своему языку и культуре, чтобы затем учить грамоте своих соплеменников, не теряя самоидентификации (об идентичности и о ее потере см. также [Zimmermann 1992a]). Такая программа преследует важные цели и заслуживает поддержки, однако может быть выполнена, только если испаноязычное общество перестанет проявлять пренебрежительное отношение к индейскому меньшинству. Наибольшим престижем пользуются майя на полуострове Юкатан [Lore Blanch 1981: 427].

Влияние индейских языков наиболее ощутимо в испанском языке американских индейцев [Zimmermann 1992b: 344–346, 352]. Оно проявляется в первую очередь в фонетике, меньше – в синтаксисе (в отсутствии согласования по роду и числу, неправильном употреблении предлогов – это общая черта билингв в различных частях Америки, например, в Парагвае, Перу, Боливии, Эквадоре). Бросается в глаза, что в испанском языке индейцев почти нет лексических заимствований из туземного языка. Это свидетельствует о превосходящих силах другого мира, в котором собственных, туземных семантем недостаточно для именованя предметов и представлений, а поэтому лексика родного языка совершенно не подходит. И наоборот, заимствований из испанского очень много в языках американских индейцев, заимствуются даже функциональные слова, союзы, предлоги, междометия [Zimmermann 1992b: 346]. Это явление наблюдается в испанском языке индейцев других районов Испаноамерики (в Парагвае, Перу, Боливии).

5.2. Ацтекизмы в испанском. В стандартном испанском языке Мексики, напротив, имеются лишь редкие вкрапления из туземных языков, – несмотря на сильное индейское присутствие на селе. Там, где эти вкрапления есть, мы имеем дело с заимствованиями из ацтекского. Влияния других языков в образованном, "культурном", языке (*habla culta*) не наблюдается вовсе. Хотя сапотекский (*Zapotec*) является преобладающим языком в районе города Оаксака, в испанском языке города [Garza Cuarón 1987] не заметно большого влияния. Остальные ацтекизмы обычно стары, т.е. датируются временем завоевания Мексики (см. I, 4.2).

Часть этих слов оказалась настолько живучей, что из испанского проникла в другие европейские языки, например: *aguacate* < науа *awakatl* 'яичко, тестикула; авокадо'.

¹ Особенности испанского языка Мексики исследованы довольно хорошо и недавно довольно хорошо резюмированы в работе [Zimmermann 1992b]. Туземное влияние особенно подробно было исследовано в работах [Lore Blanch 1967; 1969; 1983], где показано, что влияние это за пределами лексикона незначительно, ср. также далее 6.6–6.7. Большинство исследований сконцентрировано на центре региона, Северная Мексика исследована мало. Число социолингвистических исследований зоны влияния майя в Южной Мексике и в Юкатане растет [Pfeiler 1986], есть и чисто лингвистические обследования [García Fajardo 1984].

Это слово проникло через Колумбию на север Эквадора, а в южном Эквадоре употребляют *palta* < кечуа *pallta* 'авокадо'. В Бразилии же имеем *abacate*, в штате Баия – *abacado*; в европейском португальском – *avocado*, *abacate* и *aguacate*; *cacahuate* / *cacahuete* 'арахис' (в карибском регионе – *maní* из таинского языка); *chicle* 'жевательная резинка' – от именованя молочного сока, добываемого из каучукового дерева, *zapote* (*Achras sapota* L., Chicle tree); *chile* 'перец чили', *chayote* 'чайоте, *Sechium edule* (Jacq.) Sw.' – картофелевидный овощ с длинными усиками, называемый в Гватемале также *güisquil*, в Бразилии и Парагвае – *chuchu* / *chuchú*; *coyote* 'волк, обитающий в прериях, койот', *ocelote* 'тигр, оцелот'; *tiza* 'мел'.

5.3. Науатлизмы в испанском языке Мексики и Центральной Америки. Многие ацтекские (науатлизмы) употребляются и в центральноамериканских странах. О фонетической и морфологической адаптации этих заимствований [Champion 1984]. Словари (типа [Robelo s.a., Santamaría 1974]) приводят гораздо больше слов, чем на самом деле употребимы в этом регионе. Приведем наиболее частотные слова [Lore Blanch 1969] в Мексике (далее проникшие через Гватемалу, Сальвадор, Гондурас – вплоть до Никарагуа): *camote* 'сладкий картофель' сегодня более распространено (в Мексике, Центральной Америке, в Андах – вплоть до западной и центральной Аргентины), чем *batata*; *elote* 'зеленый кукурузный початок'; *nopal* 'опунция (вид кактуса)' (об этом фрукте *tuna* см. 4.3); *zacate* употребляется в Мексике вместо исп. *yerba* 'сорняк, кормовая трава'. К типичным блюдам и напиткам относятся: *guacamole* 'салат из авокадо (*aguacate*)'; *pulque* 'вино из агавы' (происхождение спорно); *tequila* 'алкогольный напиток, получаемый из *Agave tequilana*', зарегистрирован с XIX в., происходит от имени места *Tequila* (Jalisco); *atole* 'острый напиток из вареного маиса, молока, сахара и корицы'; *tamal* 'кусочек теста с мясом, завернутый в банановый или маисовый лист' (распространено вплоть до западной Аргентины).

В фауне представлены: *quetzal* '*Trogon viridis*, *Pharomachrus mocinno*', священная птица ацтеков, встречается сегодня еще в Гватемале в значении 'гватемальская денежная единица'; *zopilote* '*Cathartes aura*', разновидность коршуна; *guajolote*, вид павлина; *escuincle* 'бездомная собака (также в переносном смысле – о человеке)". Из области домоводства и дворового хозяйства происходят: *jacal* 'хижина сельского индейского населения'; *galpón* 'навес, место под навесом', слово пришло с конкистадорами в Южную Америку и сохранилось вплоть до настоящего времени, а на своей родине было забыто; *tiangué* / *tianguis* 'рынок, рыночная площадь'; *metate* 'прямоугольная каменная мельница'; *jícara*, первоначально 'калебас (сосуд из выдолбленной тыквы), из которого пьют шоколад', затем – 'шоколадная чашка из фарфора', в Мексике, в Центральной Америке и в Карибике это слово обозначает сегодня различные сосуды для питья; *mecate* 'плетеный шнур с бахромой'.

Сильное влияние языков науа на "разговорный язык" видно из употребления глаголов, адаптировавшихся к испанским глаголам на *-ar*. Как и вышеуказанные существительные, они пришли через Гватемалу, Сальвадор, Гондурас вплоть до Никарагуа, а частично и до Коста-Рики [Sala 1977; Geoffroy Rivas 1987: 18]: *chimar* / *shimar* 'обирать, ошипывать; спариваться (грубо: о людях)'; *tapiscar* 'собирать урожай (маиса)' от *tapisca* 'урожай маиса (кофе, какао)'; (*a*)*tilintar* 'нечто натягивать' от *tilinqueñtilinte* 'растянутый, натянутый'.

5.4. Предположительное влияние на фонетику испанского языка в Мексике. Для мексиканского испанского характерно, с одной стороны, ослабление (главным образом, безударных) гласных и сохранение имплозивного /s/, которое в остальной части Ибероамерики ослабло до [h] или вовсе пропадало: ['djes'pess] 'diez pesos' ("десять песо"), *caf'cito*, *cóm'sta sté* '¿cómo está Vd.?' ("как поживаете?"), *mient's*, *lo s'pims* 'lo supimos' [Kubarth 1987: 68–70; Zimmermann 1992b: 348 и сл.]. Это явление упоминается уже в работе [Henríquez Ureña 1938], позже о нем писал Мальмберг [Malmberg 1974: 289 и сл.], который, не зная соотношений в языке науатль, говорил о субстрате.

В работе [Lore Blanch 1967–1970] показано в деталях, что констатируемая общая краткость гласных мексиканского испанского и ослабление (вплоть до выпадения) безударных гласных вряд ли являются результатом влияния науатля, поскольку последнему, с его фонологически релевантными оппозициями по количеству, это свойство совершенно чуждо. Кроме того, скопления согласных (в результате выпадения гласных) в науатле абсолютно исключено. А упомянутое ослабление безударных гласных характерно для более обширной области, чем зона науа, о чем свидетельствуют данные лингвистического атласа Мексики [Lore Blanch 1990], и спорадически наблюдаются в Сальвадоре, Колумбии, Эквадоре, Перу, Боливии и Аргентине².

В работе [Lore Blanch 1967–1970: 145–151] отвергается даже допущение, будто мексиканский испанский язык унаследовал из субстрата науа некоторые согласные, отсутствующие в стандартном испанском языке. Фонема /ʃ/ в кастильском диалекте изменилась в соответствии с общим правилом в /x/, т.е. сегодня эта фонема не представлена больше как /ʃ/ или совпала в некоторых случаях с /s/ и не представляет собой больше самостоятельной фонемы (например, в топонимах типа *Tlaxcala, Huixtla, Tuxtla Gutiérrez*). А исходная фонема /c/, как и в остальной части Испаноамерики, совпала с /s/ ([co'pilo] > [sopi'lote]) или с /ç/ (*tzictli* > *chicle*, [wi'cilac] > *Huichilac*). Топонимы с (tz) также часто реализуются с [s] или c[c] (напр.: *Tepoztlán* [teposo'tlan]).

Некоторое влияние ацтекского усматривается в указанной работе [Lore Blanch 1967–1970: 150 и сл.] только в слоговой трактовке сочетания ⟨tl⟩ в испанском языке Мексики. Хотя глухое *l*, чуждое испанскому, и не прижилось (если трактовать это сочетание не как новую фонему), – однако графическое представление ⟨tl⟩ составляет консонантный нексус, ведущий себя в слогаделении все-таки как отдельная единица, так что /tl/ допустимо в начале слога: ['a-tlas], ['iç-tle].

Долгое и напряженное /s/ (в центральной Мексике это конвексный, переднеязычно-зубной звук), которое только на карибском побережье и на юге, а также в остальной части Испаноамерики в имплозивном положении заменяется на придыхание или остается неизменным в остальных позициях, по [Lore Blanch 1967–1970: 155–161], не обязательно объяснять как субстрат науатля. Хотя науа обладал и обладает фонемой /s/, но эта фонема артикулируется не очень четко. Кроме того – считается в этой работе, – имплозивное /s/ в Мексике вообще не слишком четко реализовано.

5.5. Предположительное влияние науа на грамматику испанского языка в Мексике.

Ни одна из неоднократно упомянутых здесь гипотез не обладает убедительностью. Лопе Бланч показывает, что указанные явления можно объяснить, оставаясь на почве самого испанского языка. Так объяснимы: употребление диминутивов, возвратных глаголов (например, *regresarse* вместо *regresar* "возвращаться"), посессивных оборотов (типа: *su ropa de mi hermano* букв. "его одежда моего брата"; *me dieron un golpe en mi cabeza* "мне дали удар в мою голову") и наличие различных семантических калек – "calcos semánticos" [Lore Blanch 1983: 161–168]. Суффикс *-eco* для обозначения физических или моральных недостатков, квалифицируемый как заимствование из науатля со времен работы [Rufino José Cuerpo 1867; 1955], в более позднем исследовании [Lore Blanch 1983: 169–176] убедительно объясняется как чисто испанское явление: ни значение, ни распространение соответствующих единиц не свидетельствуют в пользу заимствования. И наоборот, деономастический суффикс *-eca, -eco* (*azteca, yucateco, guatemalteco*) восходит, несомненно, к *-écatl* из науа, поскольку употребляется в той же функции и с той же (невысокой) частотностью. Итак, индейское влияние и здесь, как и в области фонетики, весьма мало и маргинально.

² По той же причине представляется маловероятным воздействие субстрата в случае часто наблюдаемого напряженного произношения имплозивного /r/ (*verrde, cuerrro*), поскольку в науатле нет вообще /r/ [Lore Blanch 1967]. Скорее наоборот, в Мексике часто фрикативное произношение имплозивного /r/, т.е. ослабление, которое скорее можно было бы связать с субстратом.

6.1. Распространение и диалектное членение кечуа. Зона влияния кечуа (в меньшей степени – область языка аймара в юго-восточном районе озера Титикака). прежде всего в Боливии, составляет – после зоны влияния науа, начинающейся с Центральной Мексики, – второй обширный ареал, в котором местные языки обладают и большой культурой, и большим количеством носителей³. Наши исторические сведения о распространении кечуа и его диалектов в новой истории, основанные на преданиях об империи инков и ее распаде, а также о дальнейшей жизни языков во времена испанского колониального владычества, гораздо обширнее, чем, скажем, об аравакских языках Венесуэлы и Антильских островов. Поэтому более активно обсуждаются вопросы, связанные с происхождением кечуа, с его отношением к аймара и к так называемым языкам ару и хаки (хакеару, кауки/кавки) и с процессом распространения диалектов кечуа. Не имея возможности в деталях рассмотреть эти проблемы в данной статье⁴, остановимся вкратце – чтобы создать некоторое представление о влиянии на испанский язык – на некоторых тезисах из существующей литературы, прежде всего из работ [Torego 1983] и [Cerrón-Palomino 1987].

Диалекты кечуа весьма многочисленны в замкнутых языковых пространствах на Центральноперуанском нагорье (в департаментах Хунип, Паско, Анкаш и Уануко): на юге же от этой зоны, в департаментах Уанкавелика, Айякучо, Куско, Апуримак, в северо-восточном Арекипа и в Пуно, диалектная раздробленность очень невелика. На северном и южном побережьях озера Титикака область кечуа пересекается с областью аймара, которая далее образует широкую полосу в Боливии вокруг Десагуадеро, между озерами Титикака и Поопо. Уже к северу от Поопо, в области Оруро, происходит смешение арапа и кечуа, а вот начиная с Кочабамба и к югу от Оруро имеется снова замкнутое кечуазычное пространство, через Сукре и Потоси – вплоть до юго-западной части департамента Чукисака на южной боливийской границе [Torego 1983: 92; Siebenäuger 1993: 42]. А дальше, от департамента Потоси, кечуазычная зона пересекает современную аргентинскую границу в провинции Кебрада де Умауака (провинция Хухуй). В Перу число говорящих колеблется между 3 и 4.4 млн., для Боливии в работе [Carranza 1993: 36 и сл.] приводится число 1.6 млн., для Хухуй – 20 тыс. носителей.

В изоляции от этой языковой зоны сегодня на кечуа говорят: 1) в районах, расположенных далеко на юге от указанной области, к востоку от города Сантьяго-дель-Эстеро, в одноименной аргентинской провинции (150 тыс.), 2) в качестве sporadических включений – в испанизированном Северном Перу, а именно, на очень разных диалектах хахамарка и ферреньяфе (департамент Ламбаеке), Ламас (департамент Сан-Мартин), почти во всем Рио-Напо (диалект кихо) и в районах вдоль верхней части реки Пастаса, а также в Эквадоре и в Перу (департамент Лорето, диалект канела). Здесь мы имеем дело с продолжением экваторианского кечуа в новейшее время. В Эквадоре на кечуа говорят в замкнутой области на нагорье (altiplano) Лоха на юге – вплоть до Ибарры (пров. Имбабура) на севере (2.2 млн.), причем диалектная раздробленность не столь велика, как в Центральном Перу. С другой стороны границы, в южноколумбийском районе вокруг Пасто и на востоке в Путумайо мы находим около 10 тыс. носителей языка инга [Carranza 1993: 37 и сл.].

Современное диалектное членение дает ключ к выяснению того, как возник и распространился язык кечуа в качестве койне империи Инков. Тореро подразделяет

³ Число говорящих: от 6,5 до 7,8 млн. для кечуа и от 1,5 до 1,8 млн. для языка аймара – то есть, даже вдвое больше, чем предполагается для эпохи расцвета империи инков. В работе [Cerrón-Palomino 1987: 76] эта численность принимается 8,35 млн., по [Fabre 1994: 444] – даже до 12,5 млн. Для языка аймара авторы [Klein, Stark 1985: 546] предполагают численность примерно 1,8 млн., а [Fabre 1994: 264] – от 2,2 до 2,4 млн.

⁴ См. об этом: [Büttner 1983; Tovar, Larrucea de Tovar 1984: 53–55; Cerrón-Palomino 1987: 323–341; Siebenäuger 1993: 31–38; Fabre 1994: 444–484].

современные диалекты (называемые им языками, в силу того, что они не являются взаимопонимаемыми), на две главные группы: Q I и Q II. Q I, или диалект уайуаш, соответствует центральным диалектам анкаш, уануко и хуни. в которых имеется противопоставление долгих и кратких гласных. К диалекту Q II, внутри которого диалектное дробление незначительно, относятся, прежде всего, другие издавна распространившиеся диалекты кечуа (см. ниже), которые позже, на правах второго языка, расширили свою зону влияния в результате языковой политики "кечуизации" в империи Инков. В этом диалекте нет качественных оппозиций гласных, зато он обладает тремя рядами смычных фонем и аффрикат: глухими, глухими глоттализованными и глухими придыхательными (например, /p/, /p'/. /p^h/; придыхательные фонемы в современной официальной орфографии пишутся как ⟨p'⟩, ⟨k'⟩, ⟨q'⟩, ⟨t'⟩, ⟨ch'⟩). Это типичная черта языка аймара, и по мнению Торероса, результат аймаризации кечуа в районе Куско: эта разновидность кечуа стала в эпоху испанской колонизации "общим языком", а потому обладала статусом обязательности – чего не было в доколумбову эру империи Инков. К разновидности Q IIА относятся диалекты Кахамарка и Ферреньяфе, к Q IIВ – диалекты Ламаса, Эквадора и Рио-Напо. Q IIС (состоящий из диалектов Айякучо, Куско, Боливии и Сантьяго-дель-Эстеро) образует относительно гомогенный ареал, обладающий примерно 2.5 млн. носителями в Перу⁵.

По Тореро, в раннюю эпоху (после 880 г. н.э.) с побережья Перу начали распространяться по направлению к нагорью три диалектные формы кечуа: а) кечуа Лимы, входящий в Q I; б) диалект, распространенный далее вплоть до северного нагорья Уануко, Ханина и Анкаша; в) диалекты Юнгай и Чинчай (Yúngay und Chínchay), входящие в Q II. Юнгайский кечуа (отличающийся от остальных переходом [nt], [mp] и [ŋk] в [nd], [mb] и [ŋg], соответственно), завоевывал позиции от побережья вокруг Касма (Анкаш) к северу от Ламбаеке и Кахамарка и достиг, по-видимому очень рано, центрального района Сьерра-Эквадор (провинция Пичинча, Котопахи, Тунгурауа [Klein, Stark 1985: 452]. А чинчайский кечуа распространялся от департамента Ика (к югу от Лимы) – по направлению Айякучо (Q IIС) и господствовал вокруг Юнгай (Yúngay) в центральной части Эквадора (Южная Колумбия, вплоть до севера – провинция Имбатура) и на юге Эквадора (провинции Каньяр, Асуай и Лоха), а также вблизи Напо и Пастаса.

Неясным представляется происхождение инков. По [Togero 1983: 66 и сл.] и [Martha Hardman 1982], инки происходят из района озера Титикака; они говорили на языке семьи ару (хаки или пукина). Завоевав же долину Куско, они приняли в качестве родного языка чинчайский диалект кечуа, распространению которого способствовали. Носители кечуа постепенно заселяли все новые территории (такое расширение территорий называлось *mitimazgo*), закрепляя завоевания инков⁶. По ходу расширения империи Инков более ранние местные языки были потеснены и прекратили существование. Так, язык аймара был потеснен на юг, язык акеару – на задворки Лимы. В небытие ушел язык юнга, существовавший до инков на североперуанском и эквадориальном побережьях и давший названия великим культурам чиму и мочика, а также культурам Пуруа и каньяри экваторианской горной цепи (см. ниже 7.3.2). Язык пукина, предположительный праязык инков, был вытеснен в суровейшие районы

⁵ Аргентинский кечуа (в Катамарка и Ла-Риоха), вымерший в начале XX в., можно отнести к Q IIВ, его лексикон претерпел значительную перестройку под влиянием адстрата Q IIС.

⁶ Так, в позднее время северная империя называлась *Chinchay-suyu* (< *chíncha* 'север' + *suyu* 'область'), а вся империя *Tawantinsuyu*, в испанизированном варианте – *Tahuantinsuyo* (< *tawa* 'четыре' + *-ntin* 'все, целиком' + *suyu*, т.е. 'четыре объединенных империи'). Название языка *quechua* восходит к сочинению "Arte de la Lengua General del Perú" одного монаха (Domingo de Santo Tomás, Valladolid 1560). Неясны и кажутся случайными происхождение и мотивация выбора этого названия. Самоназвание же – как и во многих подобных случаях – 'человеческий язык', *runa simi*.

боливийского нагорья. После падения империи Инков некоторое время продолжалось возрождение этих региональных языков, которые, впрочем, так и не приобрели значительной роли, поскольку миссионеры способствовали преобладающему господству диалекту кечуа, на котором говорили в Куско и который был впервые кодифицирован грамматикой Гонсалеса Ольгина (González Holguín) в 1607 г.⁷ Распространение языка кечуа в северной Аргентине, в таких районах, как сегодняшние провинции Хухуй, Сальта, Тукуман, Сантьяго-дель-Эстеро, Катамарка и Ла-Риоха, также способствовало забвению местных языков, таких как какан (Cacán) (в виде субстрата атакаменно все еще представленного в топонимии), луле и вилела. Вытеснению этих языков способствовало и использование кечуа в качестве "общего языка" миссионерами. В результате указанные языки, по-видимому, окончательно вымерли уже к концу XVII в. [Tovar, Larrucea de Tovar 1984: 33].

Аймара, как видно из вышесказанного, обладал некоторыми общими генетическими корнями не с кечуа, а с языком акеару, на котором сегодня еще говорят в области Лимы. Можно поэтому предположить, что аймара в ходе политики "кечуизации" постепенно вытеснялся на юг. После Третьего церковного собора в Лиме (1583) он стал ненадолго "общим языком", однако вскоре был вытеснен языком кечуа и в дальнейшем (как и некоторые другие "малочисленные" языки, поддерживаемые только отдельными орденами), культивировался иезуитами в Пули на озере Титикака [Tovar, Larrucea de Tovar 1984: 192 и сл.].

Многовековой контакт аймара – кечуа (кечуа-аймарское двуязычие и сегодня широко распространено среди носителей языка аймара) привел к сильному типологическому взаимовлиянию этих языков. Для многих заимствований в испанском бывает невозможно сказать, какой именно язык был источником. О фонетическом аймарском субстрате в кечуа Куско выше уже говорилось.

6.2. Кечуа в социолингвистическом аспекте. Сосуществованию испанского с кечуа (в Эквадоре, Перу и Боливии), а также испанского с аймара (в департаменте Пуно – Перу – и в Боливии) и возникшей вследствие этого кечуа-испанской и аймара-испанской диглоссии носителей этих индейских языков в последние годы посвящено большое число социолингвистических исследований: рассматриваются условия переключения кодов, процессы изменения в употреблении туземного и официального языков, а также перспективы двуязычного воспитания. Этим вопросам здесь мы не можем уделить должного внимания⁸. Детальный опрос, посвященный языковой компетенции и употреблению в Эквадоре [Büttner 1993: 280–286], показывает поразительно высокий уровень представленности кечуа во всех андских районах страны (меньше – на юге); выясняется также дифференцированный монолингвизм у кечуа, на севере составляющий до 25%, а на юге – примерно до 3–4%. Бросается в глаза, в частности, и распределение по поколениям: у детей преобладает испанский; хотя родители бегло владеют обоими языками, вполне возможно, что употребление кечуа не будет передано детям. Эти исследования выросли из дискуссий о языковой политике, имевших место в шестидесятые годы, об официальном признании многоязычия многих испаноамериканских стран и о возможных и желательных мерах по укреплению равноправия туземных языков или о насаждении испанского языка.

6.3. Фонетическое и синтаксическое влияние. Как и при рассмотрении зон влияния языков науа и майя в Мексике и в Гватемале, – в районе Анд Эквадора, Перу и Боливии следует различать два случая фонетического влияния кечуа и аймара на региональный испанский язык: испанский у носителей кечуа и аймара, с одной стороны, и испанский у испанских монолингв, с другой [Cassano 1982]. В последнем случае влияние на артикуляцию, в силу малой престижности туземных языков, бывает маловероятным. И наоборот, в первом случае влияние это – естественное проявление

⁷ См. [Tovar, Larrucea de Tovar 1984: 47 и сл., 53–56; Fabre 1994: 444–484, 694, 734; Siebenäuger 1993: 32–40].

⁸ См., например, [Büttner 1993] о ситуации в Эквадоре, [Escobar 1978] и [von Gleich 1989] в Перу и [Hardman 1981] – в Боливии.

билингвизма в узком смысле слова (ср. I. 1.5). Такое методические разграничение справедливо отчасти и для стабильных синтаксических образцов. встречаемых в "промежуточном языке" (*media lingua*) индейцев, говорящих по-испански не как на родном языке [Muysken 1979]. Впрочем, в работе [Pozzi-Escot 1972] указывается, что в областях с большим количеством безграмотных носителей туземных языков имеет место ослабление норм стандартного языка и у испаноязычных носителей "региональной разновидности культурного языка" (*habla culta regional*), а поэтому вырабатывается новая региональная норма. Эта норма устанавливается как в фонетике, так и в синтаксисе.

6.4. Фонетические интерстраты⁹. В фонетике "региональной культурной нормы" (*norma culta regional*) хорошо известно явление сохранения оппозиции /j/ – /ʃ/, контрастирующее с распространённым в долинах (*tierras bajas*) *yeísmo*. например, ср.: <yema> [ˈjema] – <llame> [ˈame] (отсутствие *yeísmo*). Это явление объяснимо тем, что в кечуа и аймара указанная оппозиция также существует, а именно, противопоставление /j/ – /ʃ/ имеется в кечуа районах Айкакучо-Куско, Боливии и Южного Эквадора, а следовательно, и в испанском языке этого региона. В североперуанских диалектах кечуа, – например, в Кахамарка и в центральноэкваториальной горной цепи – существует нечто вроде 'žeísmo', когда /ʃ/ реализуется как [ž], а /j/ – как отличное от него [j]. Эта зона *žeísmo* расположена в Андах, к северу от массива Нудо де Асуай в Эквадоре и совпадает с областью распространения сходного явления в местном кечуа (*ažin* 'хорошо' вместо *allin*, ср. [Cerrón-Palomino 1987: 163 и сл.]. Депалатализация /ʃ/ в /l/, наблюдаемая в центральноперуанских и североекваториальных районах кечуа [Cerrón-Palomino 1987: 165 и сл.], нашла отражение в испанизированных формах местных населённых пунктов этих зон. Например, *Otavallo* (провинция Имчабура, Эквадор) < *Utawallu*, имя провинции империи Киту, которое само, видимо, восходит к имени из языка кара, или каранки из эпохи, предшествовавшей инкскому господству.

Параллельно оппозиции /ʃ/ – /j/ в экваториальном кечуа существует еще – неизвестная на юге – оппозиция /s/ – /z/. переносимая (впрочем, только на морфемных стыках) на региональный испанский дальше в район между Куэнка и Риобамба, частично – вплоть до северной Сьерры вокруг Ибарра. Таким образом, возникает противопоставление /az'ido/ <has ido> ("ты шел", форма перфекта) и /a'sido/ <asido> ("схваченный", пассивное причастие), однако невозможно [ez'el] <es él> ("есть он"). подробнее (но без приведенного выше объяснения) [Lipski 1989]. Это явление иногда считают субстратом какого-то неясного доинкского местного языка [Cerrón-Palomino 1987: 182–186]. Скажем, языка пуруха или каньари, поскольку по крайней мере в языке юнга оппозиция /s/ – /z/ возможна [Tovar. Larrucea de Tovar 1984: 168]. Ассибиляция испанских /r/ и /r̄/ почти на всей территории высокогорья ([ˈkafta], [ˈfe'it̪], [ˈpeʃo]: [Toscano 1953: 94 и сл.; Kubarth 1987: 138, 148] имеет соответствия только в кечуа Эквадора и района Амазонки [Cerrón-Palomino 1987: 113 и сл.]).

Кроме того, многие авторы упоминают сохранение конечного -[s], когда в кечуа и аймара допустимо (при некоторых условиях) /s/ в импловивной позиции начала слова, однако в конце оно либо совершенно не допустимо (в аймара), либо встречается нечасто (в кечуа). Но ни сохранение -[s], ни упоминаемые в работе [Hardman-de-Bautista 1982: 147] оглушение и пропуск безударных гласных (об этом явлении в Эквадоре см. [Lipski 1990]) не дают еще веских оснований искать объяснения в туземных языках: ведь это явление в самом кечуа представлено только в периферийных диалектах Ферреньяфе и Чачапояс [Cerrón-Palomino 1987: 182].

⁹ Добротный обзор важнейших явлений, наблюдаемых в Перу, см. [Hardman-de-Bautista 1982], большую дифференциацию мы находим в работе [Pozzi-Escot 1972], еще большую – в [Escobar 1978]. Наиболее подробное описание взаимовлияния кечуа и испанского в области фонетики и грамматики (синтаксиса) в Перу см. [Carranza 1993]. Данные по Эквадору см. прежде всего [Toscano 1953].

Однако бесспорным и хорошо поддающимся объяснению в "промежуточном языке носителей кечуа и аймара" (*lengua media de los quechua- o aimarahablantes*) является совпадение степеней открытости испанских гласных среднего ряда /e/ и /o/ со степенью открытости фонем /i/ и /u/ в соответствующих местных языках. Оба андских языка обладают только двуступенчатой системой гласных, без фонологически значимой средней степени. Реализации [e] для /i/ и [o] для /u/ выступают, впрочем, часто как комбинаторные варианты, например, после поствелярного /q/, а также после велярного /k/, например: [qečwa] вместо /qičwa/ или ['kondor] вместо /kuntur/'кондор'. Поскольку /q/ и /k/ в некоторых северных зонах, а также на большей части Эквадора оба представлены в виде /k/, то там не бывает и аллофона [e] после /q/, так что там *Quichua* является обычным глоттонимом.

В недостаточно освоенном испанском этот "субстрат" в Перу приводит к тому, что *mesa* и *misa*, *peso* и *piso* или *mudo* и *modo* трудноразличимы. Испанские восходящие дифтонги, неизвестные кечуа, часто заменяются на монофтонги, например: [bin'dindo] и [bin'bindu] или [bin'dendo] вместо <vendiendo> "продавая" или [pes] вместо <pues> "затем". Иногда наблюдаются удлинения гласных, типа: [pe:dras] вместо <pedras> "камни". Невозможное в кечуа зияние заменяется на дифтонг (например: [o:jo] <co:jo> "услышан", [baw] <baul> "сундук, баул"), либо же проблема решается вставкой гоморганического полусогласного (например: [ba'wul], ['dija] <día> "день", ср. [Escobar 1978: 89 и сл.]. Поскольку в кечуа и аймара нет фонологически релевантного словесного ударения, а есть только автоматическое ударение на предпоследнем слоге, то и в "промежуточном языке" (*media lengua*) мы встречаем колебания и ошибки в ударении, типа: *arbóles*, *plátanos*, *corázon*, *profesión*.

Многие авторы подчеркивают существование по крайней мере звука, если не фонемы [ʃ] в андском испанском языке Эквадора, Перу и Боливии. В аргентинском Сантьяго-дель-Эстеро отмечают [Nardi 1976–1977: 141], что гипокористические формы имени употребляются уменьшительно-ласкательно, например: *Cunshi* вместо *Concepción*, *Jishu* вместо *Jesús*, *Sheba* вместо *Sebastián*; и вообще [s] часто заменяется на [ʃ], например: *crushaco* 'persona movediza, inquieta, que anda cruzando de un lado para otro' ("непоседливый, беспокойный человек, слоняющийся из угла в угол"), *ashinita* вместо *asinita* (уменьшительное от *así* "так") и т.д.

То же явление наблюдалось в Эквадоре еще в работе [Toscano 1953: 81]. В региональный испанский перешли имена собственные: *Pishi* вместо *Purificación* "очищение", *Shuli* вместо *Soledad* "одиночество" и т.д., а также имена нарицательные, такие как *shigra* 'сумка' вместо *siqra*. Так как в эквадорском кечуа ("кичуа") /č/ часто переходит в [ts] (например: *tsaki* вместо *chaki* 'pie', ср. [Cerrón-Palomino 1987: 161]), этот звук, чуждый испанскому, появляется и в региональных кечуизмах, типа: *atsira* 'Canna edulis' (съедобный клубнеплод) вместо *achira* в кечуа Куско или *tsogne* 'legaña' вместо *ch'uqñi* [Toscano 1953: 29], *tsancar* вместо *chancar*.

6.5. Грамматические (синтаксические) интерстраты. В этой области также точнее говорить будет об интерференции, чем о влиянии: ведь явления данной категории более характерны для "промежуточного языка" (*media lengua*) двуязычных кечуа и аймара и для определенных отклонений от "региональной нормы" (*norma regional*), чем для "национальной нормы" (*norma nacional*) испаноязычных монолингв. живущих вдали от зон кечуа и аймара. Разумеется, если согласование по роду в именном словосочетании (обязательное в национальном стандартном языке) отсутствует, то это свидетельствует об ошибке или о колебании, но не является элементом региональной "нормы". Однако такие отклонения от нормы весьма упорны в испанском региональном языке, а поэтому должны квалифицироваться как устойчивая интерференция¹⁰.

¹⁰ Однако нам не кажется справедливым в таких случаях, вслед за [Muysken 1979],

Интерференция представлена, прежде всего, в недостаточно усвоенных синтаксических структурах испанского, как, например, в отсутствии согласования по роду (как в кечуа) или в игнорировании рода вообще, ср.: *dos criaturas mellizus; con el fin de natarlu a los dus criaturas* [Carranza 1993: 254]. Эти случаи, как видно из примеров, вызваны отсутствием (как и в айякучо-кечуа) согласования прилагательного с существительным по числу; например: *los trabajos excelente* ("прекрасный работниками"); *las flores son lindo* ("цветы красивый"), а также *cinco parti*. А в экваторианском кечуа отсутствует и согласование между подлежащим и сказуемым по числу, переносимое на испанский и встречаемое в выражениях типа: *ellos no vino* (букв.: "они не пришел"). Синтаксической интерференцией с кечуа является также очень заметное употребление посессивного прилагательного при существительном, уже обладающем именным трибутом, ср.: *llegó su tía de mi amiga* "приехала ее тетя моей подруги"; *es su libro de Juan* "это его книга Хуана". Напомним, что в кечуа в рамках атрибутивного отношения генетивом помечается (с помощью суффикса *-pa*) не только атрибут: как и во многих языках, показателем личностного отношения (в нашем случае – посессивом 3 л.) маркируется также "обладатель". Это же свойство навязывается и испанскому, ср.: *supa de ángel sos pelos* 'sopa de cabello de ángel', т.е. "суп из цукатов (cabello de ángel)", выраженное, взятое из речи домашней прислуги-кечуа в Кочабамба ("empleadas domésticas quechua hablantes en Cochabamba", пример из работы [Gutiérrez Marrone 1980: 73]).

Употребление по-испански объектных местоимений также вызывает в речи кечуа большие трудности, откуда и интерференция следующего типа: обычно отсутствующее в кечуа объектное местоимение 3 л. опускается и в испанском предложении: например: *no vi* вместо *no lo vi* (я) не видел (его); *¿quieres poner – Ø sobre la mesa?* ("хочешь положить Ø на стол?") вместо *¿quieres ponerlas sobre la mesa?* ("хочешь положить их на стол?"), ср. [Pozzi-Escot 1972]. В других случаях, наоборот, вставляется гиперкорректное избыточное местоимение: *¿Cuál es el periódico que me lo has dicho?* "какой журнал, что мне о нем (ты) говорил?" Иначе построенная конструкция косвенного объекта приводит к "архиморфемизации" местоимения прямого объекта, например: *El los dio algunas instrucciones* "Он их (вместо *им*) дал некоторые инструкции" [Siebenäuger 1993: 88].

Употребление герундия вместо личной формы глагола в испанском языке индейцев района Анд (отмеченное еще Александром фон Гумбольдтом) подтверждается в нескольких местах в работе [Vázquez 1980: 232 и сл., 247 и сл., 276 и сл.] как особенность эквадорского просторечия (*lenguaje popular*): там указывается, что в кечуа высказывание 1 л.ед.ч., типа *vengo, aquí estoy*, звучит несколько грубовато и невежливо, а поэтому употребляется медиальная форма вместо активной. Эта медиальная форма по-испански передается с помощью оборотов типа: *estoy, estaba viniendo*. Повелительные формы, например: *¡dame trayendo!* вместо *¡tráemelo!*, *¡dame hablando a mi favor!* вместо *¡habla a mi favor, recomiéndame!*, – объяснимы тогда как калька с кечуа, в котором "дать" выступает в качестве вспомогательного глагола для смягчения позитивного императива. Прямой отрицательный императив также избегается, и

говорить о "креольских языках". Не всякий смешанный язык является креольским. Хотя здесь лексика преимущественно испанская, а словоизменение преимущественно кечуа, но, в отличие от ситуации настоящего креольского языка (типа гаитянского), говорящие владеют кечуа как родным языком. "Промежуточный язык" (*media lengua*) для них скорее является пиджином, то есть используемым, но не в совершенстве освоенным языком общения. Да и для говорящих, не полностью погруженных в кечуа и с базовой социализацией на основе регионального испанского языка, "промежуточный язык" также является не креольским, а одной из форм испанского, чрезвычайно насыщенной иноязычной ("аллоглоттической") интерференцией.

вместо *¡No ensucies la carta!* предпочитают употреблять перифраз *¡No irás ensuciando la carta!* – в соответствии с синтаксисом кечуа.

Прямые заимствования из кечуа в "промежуточном языке" часто встречаются в виде морфем, т.е. в рамках гибридных образований, столь обычных в смешении языков, когда посессивный суффикс 1 л.ед.ч. -у в аффективных образованиях употребляется и в речи по-испански, например: *mamay* '(mi) mamá!' "мать моя!", *tatay* '(mi) papá!' "отец мой!", *viditay* "жизнь моя!" <*vid-ita*-у. Обычный в кечуа суффикс -*ri*-, выражающий вежливость в императивах, употребляется, например, даже в разговорном испанском языке среднего сословия (*gente decente*) Кочабамба [Gutiérrez Margone 1980: 64 и 80], ср.: *¡darime!* '¡dame, por favor!' ("дай мне, пожалуйста!").

Примером модальной интерференции не только в "промежуточном", но и в региональном испанском языке, неоднократно упоминаемом разными авторами, является передача различия (существующего в кечуа и аймара) между сообщением как непосредственным наблюдением и сообщением от чужого лица, не отражающим мнения или опыта самого говорящего. В работе [Martín 1976–1977] это явление в испанском языке города Ла-Пас объясняется как результат интерференции аймара; там же показывается, как различие, основанное на двух суффиксах – модальном и комментирующем – в испанском переосмысливается в рамках темпоральной оппозиции; причем форма *pasado indefinido* (неопределенного прошедшего) используется для сообщения о событии, говорящим не засвидетельствованном (*hoy día llegó su mamá de él*), а плюсквамперфект – для передачи собственного мнения (*hoy día había llegado su mamá de él*, ср. [Martín 1976–1977: 129; см. также Hardman 1981: 205].

6.6. Лексика, заимствованная из кечуа и аймара. Как и при заимствовании из других туземных языков, при контакте с кечуа и аймара звуковая оболочка приспособляется к испанскому, в общем случае, так, чтобы звуки, отсутствующие в испанском, замещались ближайшими в артикуляционном отношении. Вообще говоря, звуковой облик заимствований в испанском очень близок к первоначальному. Однако разграничение между глотализированными и придыхательными смычными и африкатами, естественно, утрачивается в пользу простого согласного (например: *ch'uñi* > *chuiño*). В конце слова, как видим, -*и* в испанском переходит в -*о*, а -*и* – в -*е*. Противопоставление велярного /*k*/ поствелярному /*q*/ в испанском передается графически: велярному соответствует графема <*c*>, а поствелярному – <*qu*>. Если обычно сохраняющаяся фонема /*ʃ*/ стоит перед согласным, т.е. в позиции, чуждой аналогичному испанскому звуку, то она заменяется на /*l*/, например: *Atawallpa* в испанизированной письменной передаче – <*Atahualpa*>, *chillpi* 'лист маиса' > *chilpe*. Фонема /*ʃ*/ сохранилась, в основном, только в топонимах (например: *Ancash*). в остальных же случаях заменяется на /*s*/ или /*x*/ (подробнее см. [Siebenäuger 1993: 56 и сл.]). Сочетание /*wi*/ передается, по испанской традиции, как <*hui*>, /*wa*/ – как <*hua*> или <*gua*> (ср. *guagua* 'дитя, младенец' <*wawa*>)¹¹.

Как уже говорилось выше (6.1), из-за давности контактов между кечуа и аймара часто нельзя бывает установить, из какого из двух языков происходит то или иное слово. Это относится и к следующим лексемам, попавшим в региональный испанский язык, для которых нельзя однозначно указать язык-источник. Соответствующие индейские формы указываются только предположительно.

Р а с т е н и я и и х п л о д ы , к у ш а н ь я

Chuiño обозначает в Кахамарке вплоть до частей Аргентины, находящихся вблизи нагорья, "картофелины, законсервированные в результате замораживания. явления на солнце и выжимания оставшейся жидкости" [Siebenäuger 1993: 204]. Так как

¹¹ При переходе многих слов из кечуа в зону гуарани (*Zona guaranítica*) – в Парагвае, прилегающей части Аргентины, в Уругвае – ударение приобретает окситонию, привычную в этой области, ср.: *chiripa* > *churipá* 'предмет одежды индейцев и гаучо'.

кечуа *ch'uñi* именно это и означает, а аймара *ch'uñi*, кроме того, просто значит 'холодный, ледяной', то есть, семантически менее конкретно, – это слово происходит, вероятно, скорее из аймара, чем из кечуа. *Palta* 'авокадо' (от южного Эквадора до Аргентины). *Poroto* 'боб' (от Колумбии до Уругвая) <кечуа *purutu* или аймара *phurut'i*; *coca* (кечуа *kuka*, аймара *cuca*); *choclo* 'нежный початок маиса' (от Колумбии до Уругвая; кечуа *chuqllu*).

Социальные отношения

China 'служанка индейского происхождения' (Эквадор), 'экономка' (южно-амер.), 'привлекательная молодая женщина' (Перу, Чили, Аргентина), 'сельская женщина' (Сев. и центральное Перу, Чили, Мексика), 'самка' (южное Перу, Боливия) <кечуа *china* 'самка'; аймара *china* в значении 'moza, sirvienta' ("служанка"). видимо, является кечуизмом, тем более что в этом значении слово в боливийском испанском не зафиксировано. Там имеем *imilla* 'moza', по-видимому, <аймара *imilla* 'piña' ("девочка").

Ф а у н а

Alpaca (кечуа / аймара *allpaca* / *allpaka*) – альпака; ископаемое жвачное животное, напоминающее ламу, – *guanaco* (кечуа / аймара *wanaku* / *wanacu*); *llama* 'лама'; *chinchilla* '*Eryomys chinchilla*' (кечуа / аймара *chinchilla*, грызун с очень ценным мехом; слово отмечено с 1590 г.); *puma* '*Felis concolor*, L.' ("пума").

6.7. Слова, заимствованные из кечуа. Следующие слова распространены в центральной и южной частях Южной Америки, т.е., от Южной Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии – через Чили. Аргентину (вплоть до "гуаранийской зоны") – и далее вплоть до Уругвая, плюс, исключая район Куйо и аргентинскую Ла-Плату, – через Боливию, Парагвай и до Уругвая. Везде, где распространение или множество нюансов значения ограничены, значение приводится по работам [Siebenäuger 1993; Haensch, Werner 1993; Álvarez Vita 1990]. Варианты значения и метафорические употребления указываются по этим же работам.

Здесь, как и в других семантических областях, необходимо различать: понятия широко распространенные и ставшие независимыми от жизни в высокогорье или в инкской культуре, типа *china* (см. 7.4), с одной стороны, и те, которые тесно связаны именно с данной культурой, вне которой являются разве что возможными формами. К последним относятся, например, *aillo* < *ayllu* 'индейская община' и *curaca* 'деревенский староста', 'глава некоторого *ayllu*' (что-то вроде *cacique* в карибской низменности); *pongo* 'слуга-индеец' (от Южного Эквадора до Северной Боливии), неологизм колониальной эпохи¹², и *guarmi* / *huarmi* 'mujer hacendosa' ("помещица") (Южная Колумбия, Эквадор, северо-западная Аргентина).

Растения, их плоды и кушанья; животные

Chaucha 'скороспелый картофель, семенной картофель' < *chaucha* 'сорт скороспелого картофеля' (Чили, Перу, Эквадор, Нариньо / Колумбия); значение 'нежный бобовый стручок' сохранилось только в Аргентине. В переносном значении в Южном Перу (от Куско до Такна) – также 'маленький, отставший в развитии человек'. В Чили главное значение – 'монета достоинством в 20 сентаво, бесполезный предмет' [отсюда *chauchera* 'портмоне' и адвербиальное словосочетание (*dar, vender* и т.п.)] *a chaucha* – "отдать, продать" (очень дешево, за бесценок), ср. [Siebenäuger 1993: 105]. *Papa* 'картофель'; *quina* 'хинная кора' < *kina* '*Cinchona calisaiá*' (дерево, из коры которого

¹² Ср. [Hildebrandt 1969: 320 и сл.]; возможно, из *punku-kama-yoq* 'привратник' от *punku* 'дверь' (> *pongo* 'пропасть, каньон, прорыв потока', Перу); *huasipungo*, собственно, 'дверь дома', от "покровитель эксплуатации переданного участка земли вблизи хижины" (Эквадор), ср. роман Хорхе Икаса (Jorge Icaza) *Уасипунго* (Huasipungo).

добывают хинин); *zapallo*, общеродовое наименование тыквенных растений, < *sapallu* 'суккурбита максима'; *yuyo* 'зелень, кормовая трава' (в Колумбии – только в Валье-де-Каука и только в медицине) < *yuuy* (то же); *quinua* < *kínua/quinao* < *kinuwa* (помимо *kiwina*) 'Chenopodium quinoa', растение в районе Анд, напоминающее рис. *Charquelcharqui* 'вяленое мясо' (от Эквадора до Рио-Плата, Бразилия); *mate* 'чай мате, чай' (Перу, Боливия, Чили), 'сосуд из выдолбленной тыквы (калебас) для питья мате' (от Колумбии до Аргентины, Рио-Плата, Чили) < *mati* 'сосуд из выдолбленной тыквы'; *picho* 'остатки (еды, пепел от сигареты)'. *Cóndor* < *kuntur* 'кондор'; *visuña* 'викунья' (с тонкой шерстью) < *wik'uña*; *guano* 'навоз гуано' < *wanu* 'грязь, кал, помет'.

Виды местности, строения, строительство

Pampa 'широкая, покрытая травой равнина'; *puna* 'голое плоскогорье в Альтиплано (Altiplano)' (Южное Перу, Боливия); *chacra* (*chagra* – Эквадор) 'сад, небольшое поле'; *yunga* 'теплая долина', 'житель теплых долин' (от Эквадора до Боливии); *tambo* 'постоялый двор, ночлег' (Колумбия, Венесуэла до Рио-Плата, Чили); *pascana* 'постоялый двор, автостоянка при автострате' (Южный Эквадор, Перу, Боливия, Аргентина), 'временная остановка в пути' (Колумбия, Эквадор, северо-западная Аргентина) – *hacer pascana, pascanear* (Перу, Аргентина) 'hacer un alto en un viaje' ("делать привал в пути"), *pascar* 'hacer noche / parada al viajar' ("зачековать в пути") < *paskay* 'отвязать' + *-na* 'место, где распрягают (вьючных животных)'; *cancha* 'спортивная площадка, поле' < *kancha* 'пространство, двор, обнесенный изгородью'; во фразеологии, например: *dejar libre cancha a alguien* 'развязать руки, предоставить свободу действий кому-либо'.

Одежда

Chiripa (Боливия, северо-западная Аргентина, Чили, Уругвай) 'taparrabos; paño grande cruzado entre las piernas, característico del indio y del gaucho' < *chiri-pak* 'холодный-для' или *chiri pá(cha)* 'одежда для/от холода' вместо окситонического *chiripá* (Парагвай, Аргентина, ср. [Siebenäuger 1993: 53]; *vincha* 'cinta para sujetarse los cabellos los indios y los gauchos' (Перу, северо-западная Аргентина); *güincha* / *huincha* 'рулетка, сантиметр (лента)' (Перу, Боливия, северо-западная Аргентина), в Чили – любой вид ленты (ср. *sierra de huincha* 'ленточная пила') < *wincha* 'cinta con que las mujeres se rodeaban la cabeza'; *ojota* 'sandalia de cuero' (от северного Эквадора до Андской части Аргентины), < кечуа *ushut'a*; *chullo* (от северного Перу до Боливии), < *ch'ullu* 'gorgo con borla u orejeras'.

Болезни, физические и моральные

Soroche 'mal de montaña' ("горная болезнь", ср. [Siebenäuger 1993: 302–305]; *coto* 'bocio' ("зоб") (от Колумбии до Андской части Аргентины), < *q'utu* (то же) – *cotudo* (западная Венесуэла, Колумбия, Боливия, Аргентина, Чили) / *cotoso* (Уануко, Арекипа) 'que tiene bocio' ("обладающий зобом"), 'слабоумный, тупой' (Эквадор), 'медлительный, вялый человек' (Андская часть Аргентины); *chucho* 'женская грудь' (Экватор, Перу, Боливия). *Chucho* / *chuscho* 'fiebre intermitente, terciana' (Перу, Андская часть Аргентины) < *chuqchu* 'трехдневная лихорадка' – иллюстрация того, что многие кечуизмы распространены вплоть до Буэнос-Айреса, но там в разговорном народном языке "лунфардо" потеряли свое исходное конкретное значение и употребляются только метафорически, здесь – в значении 'страх, вызывающий понос' (фам.).

Остальное, глаголы, фразеология

Yapa 'довесок'; *yapadura* 'добавка, довесок'; *de yapa* 'в подарок', 'сверх того'; *yapar* (от Южной Колумбии до северо-восточной Аргентины, Чили) 'добавить'; *chanca* 'молотый маис' – *chancar* 'размолоть, перетереть' (от Эквадора до северо-восточной Аргентины), 'поколотить' (от Колумбии до Боливии), < *ch'anqay* 'растереть, расто-

лочь'. Подобно английскому *to check*, к которому в немецком добавляется инфинитивное окончание *-en* и конкретизирующие префиксы (типа: *abchecken* "отметить в списке галочкой" и *durchchecken* "проверить по списку"), ведут себя заимствования из кечуа *pallay* 'подбирать, собирать' в региональном испанском – в виде *pallar, tispíy* 'щипать, ущипнуть' в форме *tispír* и *anukay* 'отнять от груди' в форме *anucar* [Siebenäuger 1993: 75]. Главным образом, распространено это в Эквадоре, где оно очень употребительно – особенно в Кито, например: *cainar* 'pasar (el tiempo)' ("проводить время"), < *qaynani* 'провести день', возможно от *qayna* 'вчера', ср. [Siebenäuger 1993: 151].

О полной освоенности многих привычных кечуизмов говорит также и их употребление в переносном значении в устойчивых оборотах. Приведем некоторые примеры по [Álvarez Vita 1990]. *Charqui* (в переносном смысле также 'persona enjuta, arrugada') (Перу, Боливия) употребляется в выражениях типа: *ser un charquilestar hecho un charqui* 'estar viejo, sucio' (Перу, Боливия, Чили); *hacer/volver charqui a una persona* 'moler a golpes' (Перу, Боливия). Еще несколько примеров таких оборотов ('locuciones'): *las papas queman* 'нечто становится сомнительным, щекотливым'; *a puchos* 'en pequeñas cantidades, poco a poco'; *no valer un pucho* 'no valer nada' (от Колумбии до Аргентины, Уругвай); *importar un pucho* 'no importar nada' (Эквадор, Перу, Чили, Аргентина); *sobre el pucho* 'inmediatamente' (от Перу до Аргентины, Уругвай).

7. Бразилия: влияние языка тупи

Бразилия занимает почти половину территории и населения южноамериканского континента. В ней большое количество индейских племен живет почти за гранью цивилизации. Здесь говорят на многих туземных языках, число носителей каждого из них очень мало. Самую большую группу – 20 тыс. говорящих – составляют тикунна на крайнем северо-западе [Rodrigues 1986]. Языку тупинамба (*tupinambá*), а точнее, "бразильскому языку" (*língua brasílica*), происходящему от него, с огромным всеобъемлющим влиянием в области лексики (особенно в обозначении фауны, флоры, фольклора и национальной кухни, а также именовании населенных пунктов, особенностей местности и гидронимов) не может составить конкуренции никакой другой язык Бразилии. Первым описал этот язык патер Жозе ди Аншьета (1595), затем – падре Луис Фигейра (*Arte da Grammatica da lingua do Brasil*, 1621); есть еще несколько рукописных, зачастую анонимных словарей эпохи колонизации, см. [Ayrosa 1934; Drumond 1952-1953]. В Бразилии говорят также и на других – смешанных (метисных) – *línguas gerais*: на *língua geral paulista* и на ньеенгату (*Nheengatu*). Ньеенгату был "fala boa" района Амазонки вплоть до середины XIX в., сегодня на нем говорят еще на довольно большой, но малонаселенной территории в верховьях Рио-Негро [Bessa Freire 1983: 72 и сл.]¹³.

7.1. Влияние тупи в области фонетики и синтаксиса. Влияние тупинамба на звучание бразильского португальского, в частности, в определенных районах Бразилии, а также синтаксическая интерференция, подобная наблюдаемой в андском испанском и в парагвайском испанском, предполагали бы настоящей субстрат или непрерывный адстрат, типа андского или гуаранийской зоны (*zona guaranítica*). Но этого в истории бразильского португальского языка не было, ведь современные бразильцы по большей части являются потомками не носителей языка тупинамба и не носителей

¹³ История его возникновения и распространения в указанной статье подразделяется на пять этапов. За этапом переводов в XVI в. следовала фаза воцарения ньеенгату (*implantação do Nheengatu*), 1616–1686, после чего началась фаза экспансии (1686–1757 гг.): сначала при официальной поддержке (до 1727 г.), затем – без нее. Во время четвертой фазы пытались установить господство португальского языка (1757–1850), вначале попытки эти были не очень успешными. Только позже португальский постепенно завоевывает свои позиции и побеждает [Bessa Freire 1983: 40].

línguas gerais, а португальских переселенцев, которые прибыли сюда позже эпохи расцвета указанных двух языков и были соседями носителей языка тупи. Некоторые явления региональной фонетики иногда объясняются как результат местного влияния, однако без точного знания о структуре тупинамба. Многолетние дискуссии суммированы в работе [Elia 1994], где говорится об интонации, о более сильной назализации ударных носовых гласных, о "prolação nítida das vogais átonas" (там же, с. 563), о переходе [-nd]- в [-n]-, палатального бокового во фрикативный (*mulher* > *muiê*) и об ослаблении и выпадении конечного *-r*. Однако все эти явления вряд ли можно отнести к индейскому влиянию, тем более что они регионально ограничены: например, некоторые встречаются только на северо-востоке, то есть не в центре поселений тупинамба. В большинстве случаев речь идет о явлениях типичных для португальского языка XVI в., сегодня представляющих португальские регионализмы консервативного севера. Наличие аффрикат /ç/ и /dʒ/ в северной части Параны, а также на Юге от Сан-Пауло и Мато Гроссо, считаемое в работе [Silva Neto 1977: 171 и сл.] единственным проявлением влияния языка гуарани или кайнганг, можно объяснить также как архаизм, сохранение северопортугальского произношения. Что касается креолизированной глагольной морфологии в *fala nordestina* и *sertão* (типа: *nós fala-Ø, eles fala-Ø*), то и здесь нет убедительных доказательств индейского влияния.

7.2. Лексика. Только в лексике живы и многочисленны отголоски индейского влияния. В основном это обозначения предметов животного и растительного царства и производные от них (напитки, блюда). Например: *mingau* 'каша из маниока, десерт из муки маниока, молока и сахара' < *manga'ú*; *pirão* 'ensopado' (блюдо с большим количеством соуса или сам этот соус), < тупинамба *mindupyrō* 'размоченный'. Преобладающее большинство тупинизмов возникло из *língua brasileira*, только немногие можно было бы возвести к *língua geral paulista*¹⁴. Заимствования из кечуа, видимо, проникли через посредство испанского в районе Ла-Плата, например: *chácara, chakra* 'маленькое земельное владение, загородный дом', *charque* 'солонина' с многочисленными производными типа *charquear, charqueada, charqueação, charqueador, cancha* 'игровое поле, автодром', *inhapa* < испанское < кечуа *yapa* 'добавка' и *china* 'индейская женщина, *sabocla*'. Только два слова можно с некоторой уверенностью возвести не к тупи. Одно из них, *bazé* 'дешевый табак', происходит явно из северо-восточного карири (Kari'í); другое, *buré* 'каша из маиса' – возможно, также из карири. Оба слова употребительны только в северо-восточном португальском языке. Дальнейшая информация, видимо, будет содержаться в книге А.Д. Родригеса (о выходе которой было объявлено), посвященной описанию бразильской лексики индейского происхождения.

Трудность представляет объяснение давно укоренившихся и часто употребляемых именовании *carioca, caboclo* и *caipira*. *Carioca* 'обитатель Рио-де-Жанейро', возможно, происходит от *Cari(j)ó oká* 'потомок индейцев племени кари(ж)о', такая этимология уже давалась Жаном де Лери в 1578; правда, индейцы карио жили тогда не в бухте Гуанабара, а значительно южнее. Основой для образования *caboclo* 'метис, помесь индейской и белой крови; темнокожий, нецивилизированный человек, неотесанная деревенщина', особенно же – 'небелый обитатель Амазонки' [Grenand F., Grenand P. 1990], а также 'Дух индейца' в афро-бразильских культах; истоки этого слова, возможно, лежат в выражении ньеенгату *kariw(a) oká* 'происходящий от белых'. *Caipira* 'нецивилизированный, деревенщина', видимо, пришло из *língua geral paulista* (*ka'a-pýra* 'лесной житель').

¹⁴ К ним относятся: *jacá* 'cesto de taquara ou cipó para carregar' < тупи Сан-Висенте *aiaká*; *socar* 'молоть' < *soká* 'в ступе растолочь'; *cuttucar* 'ткнуть кончиком пальца' < *kutúik* 'уколоть'; *aíva* 'плохой', *mirim* (*guardas mirins*) 'маленький' (более употребительно на юге, чем на севере).

" Именования растений и плодов

Cipó 'лиана', < *usuró* 'лиана', общеродовое название, представленное во многих производных (*cipoal*, *cipoada*) и в составных терминах, обозначающих множество ползучих деревьев и кустарников (например, *cipó-bravo*, *cipó-caboclo* и т.п.). Трава (зеленый корм) в зоне влияния языков науа называется *zacate*, в районе влияния кечуа Испаноамерики – *уцуо*, в Бразилии же – *capim*, < *kapi'i* 'трава'.

К масляничным пальмам относятся: *babaçu* 'Orbignya speciosa' и *oleifera* 'пальма бабассу' < *wawasú*; *huriti* 'Mauritia vinifera' и 'flexuosa' < *mbyryti*; *tucum* 'Bactris setosa', дающая волокна, например, для изготовления гамаков < *tukũ*; родственным им является *tucumã* 'Astrocaryum tucuma', пальма, также служащая сырьем для *tucum* и из маслянистых плодов которых получают винный напиток. Важным видом восковой пальмы является *carnaúba* 'Copernicia cerifera' < *karaná-ýba*.

К тропическим фруктам относятся, например: *guaraná* 'гуарана, Paullinia cupana, Н. В.К.', лиана, плоды которой богаты кофеином, < ньенгату < маве *waraná*; *abacaxi* 'ананас', < *abacaxii* "uma especie de ananá" [Ayrosa 1934: 133]; слово (*a*)*nana(s)* (ананас), получившее распространение в языках Европы благодаря Жану де Лери (см. 5.1.2), в амазонских языках семьи тупи-гуарани известно как *nanã*, однако трудно установить его происхождение в значении *abacaxi*. Слово *maracujá* 'Passiflora edulis' < *mhorukujá*; *caju* < тупи *akajú*, плод *cajueiro* '(деревцо) анакард, Anacardium occidentale': тупи *mandi'ok-a* > бразильский португальский *mandioca* 'маниок'. Немецкое (и русское) именование восходит к французскому *manihot*, пришедшему от Жана де Лери и ставшему источником для латинского *Manihot utilisima*.

Фауна и виды местности

Cupim 'термит' и 'термитник' < *kupii*; *tatu* 'броненосец' < *tatú* (то же); *tamanduá* 'муравьед' < *tamanduá* (то же); *capivara* 'Сапибара' (самый крупный из невымерших грызунов, *Hydrochoerus hydrochoeris* L.) < *kapii-guara* 'имеющий отношение к травам, обитатель густых прибрежных зарослей'. Самый известный хищник, *jaguar* < *jagwar-a* сегодня чаще называется *onça* < греч.-лат. **luncea* 'рысь' или *jagareté* < *jagwar-eté* 'ягуар + увеличительный суффикс'; простое именование *jagwara* в тупи-гуарани было перенесено на собаку, привезенную из Европы: *jaguara* в южной Бразилии означает "дворняжка". Слово *tapir* < *tapi'ir-a* (мбья *tapi'i*, гуарани *tapii*) 'тапир' в Европе закрепилось (благодаря Жану де Лери) раньше, чем в Бразилии, где более распространены арабизм *anta*¹⁵.

Igaró < тупи *ý aró*, иезуиты писали *ugaró*, 'временно подтопленная территория, зона наводнения'; *igarapé* < *yár-apé* 'путь на каноэ', с XVII в. зафиксировано как *ugarapê* 'узкий, только на каноэ доступный путь по воде' (ср. топонимы *Igarapé Grande* в Мараньяо и *Igarapé Mirim* в Пара). Разновидностью сухой местности на северо-востоке является поросшая колючими кустарниками *caatinga*, < тупи *ka'á tíng-a* 'белый лес'.

Фразеология и глаголы

Португальский язык Бразилии пропитан весь, вплоть до народной фразеологии, традициями *língua geral*. К типичным идиоматическим оборотам относятся выражения наименее формального регистра, такие как: *estar/andar na pindaíba* 'быть погорельцем'

¹⁵ К пресноводным рыбам относятся не только пирании – *piranha* < *pirã-i-a* 'пирания', но и съедобные рыбы, такие как *surubim* 'платистома и псевдоплатистома', *Sorubim*, 'Bleek' < *surubi*, *tucunaré* 'Cichla ocellaris, Sch.' < *tukũ aré* 'упавший плод пальмы тукум', видимо, поскольку эта рыба тукунаре во время половодья ест плоды; *tambaqui* (*Colossoma Bidsens, Spix*). Самая крупная пресноводная рыба, достигающая в длину до 3 м, – *pirarucu*, 'Arapaima gigas, Cuv.', < *pirá (u)rukú* '[на животе], *Urukú* – красная рыба'.

< *pindá ybá* 'удочка', то есть, собственно говоря, 'висеть на удочке'; или: *estar no tipiti* 'сидеть в луже', < *tyupiti* 'корзина из пальмовых веток для выжимания сока из маниока'; *andar ao atá* 'бесцельно, бессмысленно идти / бродить' < *watá* 'идти'; *chorar pitanga* < *pitanga* 'темно-красный' [Ayrosa 1934]; *ser pacova* 'быть дураком, глупым' < *pakóva* 'банан'; *aíva* 'беспольный, нездоровый, негодный' < *aí-va* 'плохой предмет / человек'.

К глаголам, также имеющим помету "просторечие", относятся, например, не только *acaboclar-se* 'tomar aspecto de caboclo, tornar-se rústico', *acaipirar-se* 'одичать', но и *capinar* 'limpar de carim'. К словообразовательным элементам, входящим в состав именовании фауны и флоры из языка тупинамба, относятся: аугментатив *-açu*, диминутив *-mirim*, имитатив *-rana* (для обозначения сходства, например, в *suçurana*, *cajurana*).

8. Заключение. Проблема субстрата, суперстрата и интерстрата

Исследование исторических и современных контактов между языками коренного американского населения и романскими языками (португальским в Бразилии, испанским в Испоаноамерике и французским в Канаде, США, на Карибских островах и во Французской Гвиане) долгое время страдало отсутствием как принципов сбора достаточных и адекватных данных в области языков американских индейцев (поэтому все было очень предположительно), так и лингвистических предпосылок (у авторов монографий и статей на эту тему) для отделения фантазии от фактов. Это общее положение стало заметно меняться в 1960-е годы в лучшую сторону. Многочисленные лингвисты занялись в это время "открытием" все новых индейских языков, особенно в США (где и раньше внимание было обращено в основном на языки Северной Америки и Мексики); к автохтонным языкам Испоаноамерике и Бразилии, до этого не достаивавшимся пристального внимания ученых и общественности, интерес также возрос. Одновременно с этим, в результате развития исследований в области языковых контактов сегодня известно больше о видах и возможностях влияния языков индейцев на испанский и на португальский в историческом аспекте, а также и о современных контактах.

Главную трудность в области языков американских индейцев, языковой теории и методики языкознания составляет то, что, исследуя влияние языков, мы имеем дело с процессами, завершившимися в ранние эпохи испанской и португальской колонизации. В те времена лексемы заимствовались из тайно и из карибского куманато и получили дальнейшее распространение по ходу дальнейшего завоевания (Conquista) Америк. Тогда же ацтекизмы дошли вплоть до Южной Америки, кечуизмы – до Чили, мапучизмы – распространялись в границах Чили, тупинизмы – в границах Бразилии. Соответствующие лексические элементы вошли в каждую из региональных разновидностей испанского в качестве адстрата, причем испанцы-монолингвы далеко не всегда непосредственно осваивали местные языки. Лишь немногие заимствования получили широкое распространение в более поздние периоды колониальной эпохи. Сегодня недостаточно информации о механизмах этих заимствований и их распространении, нет еще предварительных сведений о распространении индигенизмов в XX в., когда увеличались как расхождения между европейским и заморским испанским и португальским языками, так и внутриамериканские (в частности, и внутрибразильские) взаимозаимствования.

Совсем иначе обстоит дело с вопросом о субстрате, здесь мы продолжим рассуждения, начатые в первой части (1.5). Необходимо четко различать: собственно субстрат – влияние давно вымерших языков на испанский язык, на котором говорят потомки их носителей (к португальскому какое-либо понятие субстратного отношения поэтому больше не применимо, см. 7.1), с одной стороны, а с другой – субстратное отношение в узком смысле слова, когда современные носители индейских языков вносят в свою испанскоязычную речь произношение, грамматические и синтаксические структуры, лексику и кальки из своих родных языков. Для такого понятия языкового

контакта пока еще не существует термина, указывающего на параллелизм с субстратом как историческим понятием. Для этого я и предлагаю понятие "интерстрат".

В языковых зонах, в которых туземные языки полноценно используются, мы сталкиваемся как с унаследованными чужеродными заимствованиями – например, с ацтекизмами в районе майя (Гватемала) или кечуизмами в районе мапуче (Чили), или в "гуаранийской зоре" (Парагвай, северо-восток Аргентины), с одной стороны, а с другой – общество разбито на группы монолингв, индейское влияние на которые, по-видимому, только исторически унаследовано, и на группы носителей индейских языков, владеющих испанским как вторым языком. Последние постоянно подвергаются ассимиляционному давлению, интерференция наблюдается и в их испанской речи, и в речи на родном языке и приводит к конвергентному стабильному изменению индейского языка, а также к выработке сравнительно стабильного "промежуточного языка" (*lengua media*) в испанском в опоре на структуры родного индейского языка. Именно эту местную основу такого относительно стабильного промежуточного языка я и называю "интерстратом". Интерференция – влияние на уровне речи, это окказиональные явления контакта, за которыми не лежит, по-видимому, никаких стабильных структур; интерференция зависит от уровня компетенции говорящего и намерений его выражения. Однако постоянно подпитываемая интерференция ведет при постоянном ассимиляционном давлении в испанской и португальской Америке к различным интерстратам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ¹⁶

- Álvarez Vita J.* 1990 – Diccionario de peruanismos. [Lima]. 1990.
- Ayrosa P.M. da Silva* 1934 – Diccionario português-brasileiro e brasileiro português // Revista do Museu Paulista, 1934. V. 18, 17–322 (словарь ныеенгату).
- Bessa Freire J.* 1983 – Da "fala boa" ao português na Amazônia brasileira // *Amérindia*, 1983. V. 8. 39–83.
- Buarque de Holanda Ferreira A.* 1986 – Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro, 1986.
- Büttner Th.* 1993 – Uso del quichua y del castellano en la sierra ecuatoriana. Quito, 1993.
- Büttner Th.Th.* 1983 – Las lenguas de los Andes Centrales. Madrid, 1983.
- Carranza Romero F.* 1993 – Los resultados del contacto quechua y español. Trujillo; Peru, 1993.
- Cerrón-Palomino R.* 1987 – Lingüística quechua. Cuzco, 1987.
- Champion J.J.* 1984 – Nahuatlisms in Mexican Spanish and classical Nahuatl noun morphology // Pulgram E. (ed.). *Romanitas: Studies in Romance linguistics*. Ann Arbor, 1984.
- Cuervo R.J.* 1955 – Apuntes críticas sobre el lenguaje bogotano. Bogotá, 1955.
- da Cunha A.G.* 1978 – Dicionário histórico das palavras portuguesas de origem tupi. São Paulo, 1978.
- da Silva Neto S.* 1977 – Introdução ao estudo da língua portuguesa no Brasil. Rio de Janeiro, 1977.
- Dietrich W.* 1999 – A importância do tupi na formação do português do Brasil // Gärtner E., Hundt Ch., Schönberger A. (eds.). *Estudos de história da língua portuguesa*, Frankfurt-am-Main, 1999.
- Drumond C. (ed.)* 1952–1953 – Vocabulário na Língua Brasileira. V. A–H. São Paulo, 1952; V. I–Z. São Paulo, 1953.
- Elia S.* 1994 – O português do Brasil // Holtus G., Metzeltin M., Schmitt C. (Hrsg.). *Lexikon der romanistischen Linguistik*. Tübingen, 1994.
- Escobar A. (ed.)* 1978 – Variaciones sociolingüísticas del castellano en el Perú. Lima, 1978.
- García Fajardo J.* 1984 – Fonética del español de Valladolid, Yucatán. México, 1984.
- Garza Cuarón B.* 1987 – El español hablado en la ciudad de Oaxaca, México. México, 1987.
- Grenand F., Grenand P.* 1990 – L'identité insaisissable. Les Caboclos amazoniens // *Études rurales* 120.1990.
- Gutiérrez Marrone N.* 1980 – Estudio preliminar de la influencia del quechua en el español estándar de Cochabamba, Bolivia // Scavnický G.E. (ed.). *Dialectología hispanoamericana*. Estudios actuales. Washington, 1980.

¹⁶ Некоторые работы, указанные здесь, цитировались и в первой части и содержатся в библиографии к ней.

- Haensch G., Werner R. (eds.)* 1993 – Nuevo diccionario de argentinismos. Bogotá, 1993.
- Hardman M.J. (ed.)* 1981 – The Aymara language in its social and cultural context. Gainesville, 1981.
- Hardman-de-Bautista M.J.* 1982 – The mutual influence of Spanish and the Andean languages // 'Word'. 1982. V. 33.
- Hildebrandt M.* 1995 – Peruanismos. Lima, 1995.
- Karttunen F.* 1985 – Nahuatl and Maya in Contact with Spanish. Austin, 1985.
- Lara J.* 1978 – Diccionario qhëshwa-castellano, castellano-qhëshwa. La Paz, 1978.
- Lipski J.M.* 1989 – /s/-voicing in Ecuadorian Spanish // *Lingua* 79. 1989.
- Lipski J.M.* 1990 – Aspects of Ecuadorian vowel reduction // *Hispanic linguistics* 4. 1990.
- Lope Blanch J.M.* 1967 – La -r final del español mexicano y el sustrato nahua // *Thesaurus*. 1967. V. 22.
- Lope Blanch J.M.* 1967–1970 – La influencia del sustrato en la fonética del español de México // *RFE* 50. 1967–1970.
- Lope Blanch J.M.* 1969 – El léxico indígena en el español de México. México, 1969.
- Lope Blanch J.M.* 1971 – El léxico de la zona maya en el marco de la dialectología mexicana // *NRFH* 20. 1971.
- Lope Blanch J.M.* 1974 – Indigenismos en la norma lingüística culta de México // *Estudios filológicos y lingüísticos: homenaje a Ángel Rosenblat en sus 70 años*. Caracas, 1974.
- Lope Blanch J.M.* 1983 – Estudios sobre el español de México. México, 1983.
- Lope Blanch J.M.* 1990–1995 – Atlas lingüístico de México. V. 1–3. México, 1990–1995.
- Martín H.E.* 1976–1977 – Un caso de interferencia en el español paceño // *Filología*, 1976–1977. V. 17–18.
- Morínigo M.A.* 1998 – Nuevo diccionario de americanismos e indigenismos. Buenos Aires, 1998.
- Muysken P.* 1979 – La mezcla de quechua y castellano. El caso de la "media lengua" en el Ecuador // *Lexis*. 1979. V. 3.
- Nardi R.L.J.* 1976–1977 – Lenguas en contacto: el sustrato quechua en el Noroeste argentino // *Filología*. 1976–1977. V. 17–18.
- Pfeiler B.* 1986 – Yucatán: Das Volk und seine Sprache: Zwei Fallstudien zur Bilinguissituation. Diss. Wien, 1986.
- Pozzi-Escot I.* 1972 – El castellano en el Perú: norma culta nacional versus norma culta regional // Escobar A. (ed.). 1972.
- Robelo C.A. s.a.* – Diccionario de aztequismos. 3-a ed. México. s.a.
- Santamaría F.J.* 1974 – Diccionario de mejicanismos. Méjico, 1974.
- Schwamborn I.* 1987 – Die brasilianischen Indianerromane O Guarani, Iracema, Ubijara, von José de Alencar. Frankfurt; Bern, 1987.
- Siebenbürger G.Ph.* 1993 – Quechuismen im Spanischen Südamerikas. Frankfurt-am-Main, 1993.
- Tatevin P.C.* 1910 – La langue tapihya dite tupi ou ríngatu (belle langue). Grammaire, dictionnaire et textes. Wien, 1910.
- Torero A.* 1983 – La familia lingüística quechua // Pottier B. (coord.). América Latina en sus lenguas indígenas. Caracas, 1983.
- Toscano Mateus H.* 1953 – El español en Ecuador. Madrid, 1953.
- Vázquez H.* 1980 – El quichua en nuestro lenguaje popular // *Anales de la Univ. de Cuenca*, 1980. V. 35.
- von Gleich U.* 1989 – Educación primaria bilingüe intercultural en América Latina. Eschborn, 1989.
- Zimmermann K.* 1992a – Sprachkontakt, ethnische Identität und Identitätsbeschädigung im Prozeß der Assimilation der Otomí-Indianer an die hispanophone mexikanische Kultur. Frankfurt-am-Main, 1992.
- Zimmermann K.* 1992b – Die Sprachensituation in Mexiko // Briesemeister D.; Zimmermann K. (Hgg.). Mexiko heute. Politik, Wirtschaft, Kultur. Frankfurt-am-Main. 1992.

Перевел с немецкого
В.З. Демьянков

© 2002 г. М.Н. БОГОЛЮБОВ

РИГВЕДА I, 105. ТРИТА В КОЛОДЦЕ*

Изящно описал поэт в РВ I, 30, 19 движение колесницы Ашвинов в дни весеннего равноденствия: *ní aghniyáasya mūrdhāni cakrām ráthasya yemathuḥ pári dyām anyád īyate* – «В "Голове быка" вы (Ашвины) удержали колесо колесницы. Другое катится вокруг неба». Так понял я этот стих, истолковав словосочетание *aghniyasya mūrdhān* "голова быка" как название звезды или созвездия – "Голова быка". Подобным образом названа третья лунная станция др.-инд. *Mrgasīras* "Голова газели" (= λ, φ₁, φ₂ Ориона). Сюда же отнесем *saptá-sīrṣān* "Семиглавое" (если о созвездии Плеяд) в стихе РВ III, 5, 5: *pāti nābhā saptásīrṣānam agnīḥ* – "Агни наблюдает за Семиглавым у ступицы (колеса колесницы Солнца)".

Одно из созвездий, которое увидел на небе Трита, он назвал *pāñca ukṣāṇas* РВ I, 105, 10 – "Пять быков". Заратуштра, сочетая *huuar-*, *x'an-* "солнце" с *gav-*, *uxšan-* "бык", по-видимому, говорил не о реальном или мифическом животном, а о небесном светиле – звезде:

*huuō mā nā srauuā mōḡṇḍaṭ yō acištəm vaēnañhē aogedā
gam ašibiiā huuaracā* (Y. 32, 10)

"Лишь позорит себя тот человек, который говорит сквернейшие (слова), когда (своими) глазами видит Солнце и Быка";

gaocā x'əṅg asnaṃ uxšā aēuruṣ (Y 50, 10)
"свет Солнца (и) сверкающий Бык небес".

И Ригведа, и Гаты – поэтические творения. Употребление в них лексических вариантов имени одного и того же существа – *gav*, *uxšan*, *aghnya*, *vṛṣabha* "бык", вполне объяснимо. Более значимо здесь, что уже индоиранцы называли словом "бык" звезду или созвездие. Еще одно подобное звездное название я вижу в РВ II, 34, 14: *tritó ná yān pāñca hótīn abhiṣṭaya āvavārtad āvarāñ cakrīyāvase*. Здесь поэт "Пятью жрецами-хотарами", как мне думается, назвал то созвездие, которому Трита дал имя "Пять быков": «Как Трита, чтобы возвратить на высокое место ближайших "Пятерых хотаров", (просил) помочь колесом (закона, ḡtá-)».

Гимн РВ I, 105, названный "Трита в колодце", отличается стройным повествованием, которое, однако, не выглядит однородным. В гимне прославлены как бы две разные персоны, носящие одно и то же имя Трита. Одна из этих персон – *stotar* "певец хвалебных гимнов". Он обеспокоен судьбой своих жертвоприношений, страдает в "узости" колодца, жалуется, призывает на помощь богов. Об этом Трите рассказано в Шальяпарве (глава 35), девятой книге Махабхараты [Махабхарата 1996: 124–127]. Тут Трита мудрый отшельник, великий праведник, достигший первенства в изучении

* Одноименный доклад прочитан автором 16 апреля 2001 г. на XX Зографских чтениях в СПбФ ИВ РАН (16–18 апреля 2001). Переводы мест Ригvedы, цитированных в статье, приведены полностью или частично по изданию Т.Я. Елизаренковой [Елизаренкова 1989; 1999].

Вед. Спасаясь ночью от волка, он падает в глубокий колодец. Братья покинули его. Но небожители вызволили Триту. Неуклонно следуя Ведам, Трита мысленно исполнил жертвенные обряды и в награду был спасен. Другой Трита гимна 105 тоже ученый муж, но его знания относились к разряду естественных. Я думаю, что существовало предание о Трите, который в весеннюю пору был позван ответить на вопросы, связанные с *ṛta*- "вселенским законом". Трита этого предания не падал в колодец. Его туда опустили или опускали (*ava hita*). Колодец для Триты (будем считать его реальной фигурой) во времена, отдаленные от нас на тысячелетия, мог быть своего рода "обсерваторией", глубокой шахтой с водой на дне, где было удобно рассматривать небо или отражения в воде небесных светил как в ночную, так и в дневную пору.

Трита, оказавшись в "обсерватории", рассудил между мнимым и действительным расположением Луны и звезд. Он увидел в воде отражение Луны, которую не встретили ожидаемые звезды. Они, как сказал поэт, составитель гимна, *ná padám vindanti* "не находят места", "не находятся на месте" относительно Луны:

*candrāmā apśú antár ā suparṇo dhāvate diví
ná vo hiraṇyanemayaḥ padám vindanti vidyuto* (PBI, 105, 1)

"Луна, (отраженная) в водах, как прекраснокрылая (птица) парит в небе. Не находятся на месте, однако, с золотыми нимбами, сверкающие (звезды)".

В стихах станса (2) поясняется, что встреча Луны и звезд должна была бы произойти к моменту наблюдения: *ártham íd vā u arthína ā jāyā yuvate pátiṃ* (PB I, 105, 2) – "Те, у кого есть цель, стремятся к цели. Жена притягивает к себе мужа". Звезды, однако, с Луной не встретились.

Индоиранский термин "*ṛta*-" обозначал, в частности, видимое движение небесных светил в зодиакальном поясе, воспринимавшееся как постоянное, регулярное, вечно установленное, неменяющееся, непогрешимое. Эти свойства *ṛta*- придали термину значения "закон", "порядок", "правда", "истина". Предание о Трите, вовлеченное поэтом в гимн 105, восходит, вероятно, к тому времени, когда колесо, удерживавшееся в "Голове быка", "выкатилось" навстречу (вследствие прецессии) другому колесу колесницы Солнца. Людям, может быть впервые, понадобился *dūta* "посредник", который ответил бы на вопрос: *kád va ṛtám kád árṅtam* (5) – "правда ли (властвует), ложь ли?". Люди требовали: *sá tát dūtó ví vocati l kúva ṛtám pūrviyám gatám kás tát bibharti pūtaṇo* (4) – "Пусть объяснит это посредник! Куда делся изначальный закон? Кто теперь его охраняет?". Росло недовольство тем, как боги оберегают *ṛtá*-: *kád va ṛtásya dharṇasí kád váruṇasya cákṣaṇam* (6) – "Опора ли закона, надзор ли Варуны (ослабли)?". Нарастала тревога: *mó śú devā adáḥ súvar áva pādi divás pári* (3) – "Да не упадет, о боги, вон то Солнце вниз по небу!".

Продолжив наблюдения, Трита увидел два небесных объекта. Ими были *saptá raśmāyas* (9) "Семь лучей" и упомянутые выше *pāñca ukṣānas* (10) "Пять быков". Оставим в стороне сакральное значение чисел "семь" и "пять" и их различные наполнения. Числами "семь" и "пять" характеризуются соответственно первая и вторая из 27 лунных станций древнеиндийской системы накшатр. Первая и вторая станции составляют знак Зодиака Тельца, греч. Taurus "Бык". В эпоху создания гимнов Ригведы точка весеннего равноденствия перемещалась (в направлении, противоположном видимому движению Солнца) в пределах Тельца. Трита назвал "Семью лучами" часть знака Тельца, Плеяды (ср. нем. *Siebengestirn*; русск. "*Плѣбяды Седьмъ Звѣзд*"), др.-инд. *Ḳṛttikāḥ*, авест. *Paoiryaēinī*- "Первые", н.-перс. *Parvīn*. А.Ф. Вебер привел древнеиндийские названия семи звезд Плеяд (*Ḳṛttikāḥ*) в следующем порядке: *ambā, dulā, nītatnīr, abhrāyanti, meghāyanti, varshāyanti, cupuṇikā*, заметив, что "Das Taittiriya Brachmana führt (III, 1, 4, 1) diese sieben Namen direkt als die Namen der sieben *kṛttikas* auf" [Weber 1862 : 301].

Созвездие "Пяти быков" соответствует вторая древнеиндийская лунная станция

Rohiṇī "Красная или Рыжая корова", обнимающая пять звезд Тельца (α, θ, γ, δ, ε Tauri) во главе с (красным/оранжевым) Альдебараном (α Tauri), авест. *Satavaēsa* – "Обладающий сотней слуг"). Название *Rohiṇī* присвоено помимо 2-й также и 16-й станции, иначе *Jyeṣṭhā*. Именами *Jyeṣṭhā/Rohiṇī* названы звезды α, σ, τ Скорпиона. Собственно, *Rohiṇī* (от *róhita* "красный") подразумевает в первом случае Альдебаран, α Тельца, а во втором – α Скорпиона, красную звезду Антарес "Подобный Марсу". О том, что звезда Авесты *Satavaēsa* – это именно Альдебаран, свидетельствует древнеиранское название красной звезды Антарес ("Подобный Марсу") – **hamagauna Satavaīsa* "Одного цвета с Сатавайсом"; сочетание **hamagauna Satavaīsa* отразилось в согдийском названии Антареса у Бируни: *m̄m sdwys Maγōn Sadwēs* [Боголюбов 1986]. Нужно заметить, что α-звезды Альдебаран и Антарес являются противостоящими. Предположим также, что название "Голова быка" в РВ I, 30, 19 – «В "Голове быка" вы (боги) остановили колесо колесницы» подразумевает Альдебаран как точку весеннего равноденствия.

Трита сказал, что "Пять быков" *mádhya tasthúr mahó diváh* (10) – "(прежде) стояли (*tasthúr*) посреди великого неба", но теперь *suparṇā etá āsate mádhya āródhane diváh* (11) – «эти "прекраснокрылые" (звезды) сидят посреди восхождения на небо». Со словами РВ I, 105, 10 *devatā nú pravácīyaṃ sadhr̥cīnā ní vāvṛtur* «среди богов сейчас должно быть сказано: "Все вместе они вернулись"» согласуется РВ II, 34, 14: *tritó ná yān páñca hótīp abhīṣṭaya āvavártad ávarāñ cakrīyāvase* «Как Трита, чтобы возратить на высокое место ближайших "Пятерых хотаров", (просил) помочь колесом (закона, *ṛtá*-)».

При переводе оборота *tátrā me nābhir átātā* (9) я предпочитаю привлечь значение *nābhi* "ступица" колеса, переместившегося из "Пяти быков" в "Семь лучей". Местоимение *me*, 1st sg. dat., в обороте *tátrā me nābhir átātā* может выступать как в притяжательном значении, так и в функции заинтересованного лица (*dativus ethicus*). Второе значение *me* освобождает *nābhi* "ступица" от функции определения и сближает *me* с вводным словом.

amī yé saptá raśmáyas tátrā me nābhir átātā
tritás tát veda āptiyáḥ sá jāmitvāya rebhati (9)

«Вот эти "Семь лучей". Там мне разместились ступица (колеса колесницы Солнца). Трита Аптыя знает это. Он поет хвалу родству (семье "Семи лучей")».

Замечательно упоминание божества Триты Аптыя, Триты Водного. Трита объявил, что "Семь лучей", а не "Пять быков", как издревле повелось, являются местом *nābhi* "ступицы". Трита ссылкой на Триту Аптыю стремился упрочить результат своего наблюдения. Трита Аптыя как бы уже был осведомлен о передвижении "удерживаемого колеса" в астеризм "Семи лучей", Плеяд. Эпитет "водный" мог быть некогда присвоен Трите, как изначальному покровителю и хранителю весеннего равноденствия. Этот эпитет указывает, что на время весеннего равноденствия когда-то приходился сезон дождей. В приближенном счислении точка весеннего равноденствия находилась в "Пяти быках" в период 4000–2800 гг. до Р.Х., в "Семи лучах" – с 2200 по 1700 гг. до Р.Х. Объявив о действительном местонахождении точки весеннего равноденствия, Трита совершил смелый поступок. Трита обнаружил, что не "Пять быков", как утверждали древние, а "Семь лучей" знаменуют начало весны. Здесь можно вернуться к моему давнему предположению, что начальный [k] в *Kṛttikāḥ* заместил в результате диссимилиации исторический [t] [Боголюбов 1987]. Исходная форма названия первой лунной станции – *Kṛttikāḥ* < **Trit-tikā-*, возможно, хранит имя ученого мужа, который определил, что первое место в системе лунных станций принадлежит "Семи лучам". "Первыми" в древности называли Плеяды иранцы – **Parvyaṇī-*, авест. *Paovryaēinī-* (Yasht 8, 12), перс. *Parvīn*.

Завершив наблюдения, Трита успокоил тех, кто с тревогой взирал на перемещение сезона весны:

návyam tād ukhíyam hitám dévāsaḥ supravācanām
ṛtām arṣanti síndhavaḥ satyām tātāna sūriyo (12)

"Снова, о боги, укреплен этот достойный похвалы, заслуживающий лучшего воспевания (извечный закон). Правильно (ṛtām) текут реки, правильно (satyām) совершает (свой путь) Солнце".

Поэт, объединивший в РВ I, 105 два самостоятельных предания о Трите, певце хвалебных гимнов, и Трите-астрономе, должно быть, лишь сообразно традиции, но очень удачно увенчал стансы гимна призывным рефреном *vittām me asyá rōdaṣī* "О Небо и Земля, узнайте обо мне!". Без какого-либо ущерба для богов, хранителей *ṛtá-*, воспетых в РВ I, 105, ушла в прошлое тревога, вызванная смещением равенства из "Пяти быков" в "Семь лучей". Пожелание *náviyo jāyatām ṛtām* "Пусть вновь родится закон (ṛtām)!" устранило трудности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Боголюбов М.Н. 1986 – Звезда α Таури в древнеиранской мифологии // Сб. "Литература. Язык. Культура". М., 1986.
- Боголюбов М.Н. 1987 – О древнеиндийском названии Плеяд // Сб. "Литература и культура древней и средневековой Индии". М., 1987.
- Елизаренкова Т.Я. 1989, 1999 – Ригведа. Мандалы I–IV. М., 1989; Мандалы IX–X. М., 1999.
- Махабхарата 1996 – Махабхарата. Книга девятая. Шальяпарва или Книга о Шалье. Гл. 35. М., 1996.
- Weber A. 1862 – Die vedischen Nachrichten von den naxatra (Mondstationen) // Von A. Weber. Tl. 2. Berlin. 1862.

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В СТАТЬЕ

РВ = Ригведа.
У. = Yasna.

Мы видим, что в (3), как и в (4), вставленное предложение сохраняет финитность. Кроме того, цитативный показатель в этих предложениях "надстраивается" над базовой формой глагола (он присоединяется к последнему из глагольных окончаний, в то время как показатели придаточного предложения входят в число базовых показателей глагола (ср. [Chang 1996] и др.). Таким образом, показатель цитатива не входит в число показателей глагола, а является частью.

Для иллюстрации данного тезиса приведем схемы глагольных показателей в корейском. В финитном предложении к основе глагола присоединяются показатели: 1) гоноратива $-(u)si/sy-$; 2) перфектива $-(e/a)ss-$; 3) прошедшего времени $-(e/a)-ss^{-3}$; 4) модальности $-keyss-$; 5) ретроспективности $-te-$; 6) наклонения $-talla^4$. Эти окончания проиллюстрированы в (5):

- (5) а. *ilha-sy-ess-ta*
 работать-ГОН-ПРОШ-ИЗЪЯВ
 'работал (гон.)'
 б. *khu-ess-keyss-te-la*
 большой-ПРОШ-ПРЕДП-РЕТР-ИЗЪЯВ
 'возможно, был большой (как я помню)'
 в. *ro-ass-ess-e*
 смотреть-ПЕРФ-ПРОШ-ИЗЪЯВ/ИНТИМ
 'посмотрел'.

Необходимо заметить, что показатели перфектива и прошедшего времени совпадают; одна из точек зрения состоит в том, что перфективного показателя не существует, а в корейском возможно двойное прошедшее время, ср. (5в).

Нефинитные формы глагола присоединяют также все или некоторые перечисленные окончания, но вместо окончания наклонения они имеют окончание причастия, номинализации и др., например, окончание номинализации $-m$ в (1) и окончание причастия $-n$ в (2). Таким образом, нефинитному окончанию соответствует отдельный слот в схеме глагольных окончаний, а цитативной частице такого слота не соответствует. Она не принадлежит к категории глагольных окончаний. Поэтому с морфологической точки зрения категория цитатива отлична от категории придаточного предложения.

Таким образом, я показала коренное отличие цитативных предложений от стандартных придаточных предложений, и мой вывод заключается в том, что цитативные предложения совершенно другая категория по сравнению с обычными придаточными. В разделе 2 я рассмотрю проблему сокращения цитативных предложений, а в разделе 3 сравню цитативные предложения с сокращением корейского языка с цитативными предложениями в немецком и нидерландском (о последних упоминает В.А. Плунгян, см. [Плунгян 2000]).

2. Предложение с сокращением и его анализ. В конструкциях с цитацией типа (3) с глаголом $(mal)-hata$ 'говорить' наблюдается регулярное сокращение частицы $-ko$ 'что' и основы $(mal)-ha$ этого глагола (см. [Холодович 1954; Sohn 1999: 402]). Однако несмотря на то, что последовательность $-ko(mal)ha-$ выпадает, семантический компонент предиката цитации сохраняется. Данное сокращение проиллюстрировано в (6а-б) – в (6а) жирным шрифтом выделена сокращенная в (6б) часть:

- (6) а. *Ku i-ka na-hanthey senmwul-ul*
 этот человек-ИМ я-НАПР подарок-ВИН

³ Некоторые исследователи, например [Sohn 1973: 130], рассматривают сочетание аффиксов перфектива и прошедшего времени как один аффикс, выражающий двойное прошедшее.

⁴ Я привожу окончания наклонения в простом стиле; из-за обилия речевых регистров в корейском невозможно привести окончания всех стилей. Я также привожу только пример окончания изъявительного наклонения, так как список окончаний всех наклонений (их в корейском 4) занял бы много места и не является необходимым для моих целей.

cwu-keyss-ta-ko

(mal)-ha-n-ta⁵.

дать-ПРЕДП-ИЗЪЯВ-ЦИТ

сказать-НАСТ/АСП-ИЗЪЯВ

‘Он говорит, что подарит мне подарок’.

б. Ku i-ka na-hanthey senmwul-ul cwu-keyss-ta-nta.

‘Говорят, он подарит мне подарок’.

Хотя семантический компонент ‘говорить’ и соответствующая ему предикация сохраняются в предложениях с сокращением, в поверхностной структуре от главного предложения остается только аффикс наклонения и предшествующий ему аффикс настоящего времени; он в данном случае теряет свое значение (см. сноску 4). Как мы видим в (6б), грамматический показатель глагола *ha-* присоединяется непосредственно к окончанию наклонения вставленного предложения. При знакомстве с данным материалом возникают следующие вопросы:

1. Простым или сложным является предложение с сокращением? То есть, содержит ли оно два предложения – цитационное и главное, или оно является одним усложненным предложением, в котором предикат ‘говорить’ является чем-то вроде оператора?

2. Есть ли в этом предложении нулевой глагол ‘говорить’? Поскольку ненулевой глагол ‘говорить’ отсутствует, в принципе возможно два вида анализа: во-первых, считать, что в синтаксической структуре предложения вообще нет узла, соответствующего глаголу ‘говорить’, а во-вторых, постулировать нулевой синтаксический узел ‘говорить’. В зависимости от того или другого анализа мы сможем делать различные предсказания относительно встречаемости в предложении с сокращением определенных компонентов (в частности, глагольных суффиксов).

3. Можно ли утверждать, что конструкции с сокращением параллельны немецким и нидерландским цитативным конструкциям с модальным глаголом, упомянутым в [Плунгян 2000: 323] и М. ден Диккеном (дискуссия):

(7) Er soll krank sein
он-ИМ должен болен быть
‘Говорят, что он болен’.

(8) hij zou de moord gepleegd hebben
он должен-был АРТ убийство совершив иметь
‘Говорят, он совершил убийство’.

Предложения (7)–(8) имеют то общее с корейскими предложениями с сокращением, что они не содержат синтаксически выраженного ненулевым способом глагола ‘говорить’, но содержат смысловой компонент ‘говорить’. Однако то, можно ли считать структуру этих предложений (с модальными глаголами) параллельной структуре корейского предложения с сокращением (в котором нет модального глагола), является вопросом.

Я предлагаю следующие ответы на данные вопросы:

1. Предложения с сокращением сложные, то есть они состоят из вставленного и главного предложения, но главное предложение является дефектным.

2. В предложении с сокращением нет узла, соответствующего глаголу ‘говорить’. этот глагол представлен не нулевым узлом, а вообще отсутствует в синтаксической структуре. Поэтому главная часть предложений с сокращением является дефектной.

3. Нельзя говорить о синтаксическом сходстве корейских предложений с сокращением и немецких/нидерландских цитативных предложений с модальными глаголами. Это обусловлено серьезным различием в интерпретации тех и других предложений.

В пункте 2.1 я изложу аргументы, позволяющие считать предложения с опущением сложными, а не простыми предложениями. В пункте 2.2 будет рассмотрена главная часть предложения с сокращением, в частности, состав этой части – какие категории

⁵ Функция аффикса *-n-* точно не установлена. Некоторые исследователи, например [Chang 1996], считают этот аффикс показателем настоящего времени, а другие [Martin 1992] – аспектуальным показателем. В предложениях с сокращением, например, (6б), показатели *-n-* и *-ta* сливаются в один общий показатель *-nta* – показатель изъявительного наклонения.

она может содержать. Например, главная часть, как уже говорилось, может содержать аффикс наклонения, но не может содержать глагольный корень. В этом пункте я даю также анализ предложения с сокращением в рамках грамматики непосредственных составляющих.

2.1. Предложение с сокращением как сложное: синтаксические аргументы. Основным синтаксическим аргументом в пользу того, что предложение с сокращением является сложным, служат последовательности глагольных аффиксов, возможные в предложении с опущением и невозможные в простом предложении. Во-первых, в предложениях с сокращением, как уже видно из (6а), возможна последовательность из двух аффиксов наклонения подряд, которая невозможна в простом предложении (см. последовательность аффиксов простого предложения, приведенную выше, перед примером (5)). В (6а) приведена последовательность ИЗЪЯВ-ИЗЪЯВ. Другие примеры последовательности из двух аффиксов наклонения приведены в (9а) и (9б). В (9а) мы имеем последовательность из двух аффиксов изъявительного наклонения, как и в (6а). В (9б) приведена последовательность из аффикса вопросительного наклонения и аффикса изъявительного наклонения. Обе последовательности невозможны в простом предложении; для обоих случаев возможен только перевод (А), но не перевод (Б), соответствующий простому предложению.

- (9) а. Nwu-ka wa-ss-ta-nta
кто-то-ИМ прийти-ПРОШ-ИЗЪЯВ-ИЗЪЯВ
(А) 'Говорят, что кто-то пришел'.
(Б) *'Кто-то пришел'.
- б. Nwu-ka wa-ss-nyay-nta
кто-то-ИМ прийти-ПРОШ-ВОПР-ИЗЪЯВ
(А) 'Они спросили, пришел ли кто-нибудь / кто пришел'.
(Б) *'Пришел ли кто-нибудь? / Кто пришел?'

Во-вторых, в предложениях с сокращением возможна последовательность ПРОШ-ИЗЪЯВ-ПРОШ-ИЗЪЯВ (пример (10а), аффиксы *-ess-* и *-yss-*). Хотя в простых предложениях могут встречаться аффикс прошедшего времени *-(e/a)ss-* вместе с омонимичным ему аффиксом перфектива (см. (5в)), эти два аффикса должны следовать непосредственно друг за другом, они не могут прерываться аффиксом наклонения. В примере (10а) первый аффикс *-ess-* не может быть интерпретирован, как аффикс перфектива (см. пример (10б), который не может быть переведен как простое предложение с перфективным аффиксом). Оба омонимичных аффикса интерпретируются как аффиксы прошедшего времени; один относится к цитируемому предложению, а второй – к предикату 'говорить'.

- (10) а. Ape-nim-un il cal
отец-ГОН-ТОП работа хорошо
ha-sy-ess-ta-yss-e/ta
делать-ГОН-ПРОШ-ИЗЪЯВ-ПРОШ-ИЗЪЯВ
'Говорили, что отец работал хорошо'.
- б. *Ape-nim-un il cal
отец-ГОН-ТОП работа хорошо
ha-sy-ess-ta-yss-e/ta
делать-ГОН-ПРОШ-ИЗЪЯВ-ПРОШ-ИЗЪЯВ
'Отец работал хорошо'.

Последовательности аффиксов в примерах (9) и (10) приводят нас к выводу, что перед нами не простое, а сложное предложение. Ведь в этих последовательностях повторяются морфемы, принадлежащие простому предложению (и морфемы прошедшего времени не следуют непосредственно друг за другом), и такой факт нельзя объяснить ничем, кроме как принадлежность этих морфем к двум простым предложениям, составляющим предложение с сокращением.

Вторым важным аргументом является сфера действия отрицания. Проиллюстри-

руем сначала этот аргумент на другом материале: сфере отрицания в каузативных предложениях. В корейском две каузативных конструкции: одна синтетическая, а вторая аналитическая. Первая образуется с помощью суффикса *-uw-*, к которому присоединяется окончание времени и другие грамматические аффиксы, а вторая – с помощью наречного суффикса *-key* и вспомогательного глагола *ha-*, который в данном случае значит ‘каузировать’. В литературе по корейскому языку первая конструкция считается простым предложением, а вторая – сложным предложением (см., например [Sohn 1999]). Это обусловлено свойствами сферы действия отрицания. Допустим, отрицание ставится перед глаголом предложения цитации. Тогда в случае синтетического каузатива предикат каузации обязательно попадает в сферу действия отрицания, а в аналитическом каузативе он не может попасть в эту сферу действия. Это проиллюстрировано в примерах (11а-б):

(11) а. Tongsayng-i ai-lul [Sohn 1999: 377]

сестра-ИМ ребенок-ВИН
[mos ca-yw]-ess-e yo
[не-мочь спать-КАУЗ]-ПРОШ-ИЗЪЯВ ВЕЖЛ

(А) ‘Моя младшая сестра не могла заставить ребенка спать’.

(Б) *‘Моя младшая сестра не дала ребенку спать’ [сделала так, чтобы он не мог спать].

б. Tongsayng-i ai-lul [Sohn 1999: 377]

сестра-ИМ ребенок-ВИН
[mos ca-key] ha-ss-e yo
[не-мочь спать-НАР] каузировать-ПРОШ-ИЗЪЯВ ВЕЖЛ

(А) *‘Моя младшая сестра не могла заставить ребенка спать’.

(Б) ‘Моя младшая сестра не дала ребенку спать’ [сделала так, чтобы он не мог спать].

Мы видим, что в примере (11а) адекватен перевод (А), в котором каузативный предикат подвергается отрицанию, но неадекватен перевод (Б), в котором он не входит в сферу действия отрицания. В примере (11б) наблюдается обратная ситуация. Так как сферой действия отрицания является простое предложение, естественно сделать вывод, что в (11а) мы имеем дело с простым предложением, а в (11б) – с составным. Таким образом, тест на отрицание годится в качестве теста на то, является ли предложение с двумя семантическими предикатами простым или сложным.

Теперь применим этот тест к предложениям с сокращением. Эти предложения в семантическом представлении содержат два предиката: предикат цитационного предложения и предикат ‘говорить’ (хотя последний и не выражен синтаксически). Является ли данное предложение простым или сложным? Тест на отрицание показывает, что предложение с сокращением сложное, потому что отрицание может воздействовать только на предикат цитационного предложения, но не на предикат ‘говорить’. Это проиллюстрировано в примере (12):

(12) Are-nim-un il
отец-ГОН-ТОП работа
cal an ha-sy-ess-ta-yss-e/ta
хорошо ОТР делать-ГОН-ПРОШ-ИЗЪЯВ-ПРОШ-ИЗЪЯВ

(А) ‘Говорили, что отец не работал хорошо’.

(Б) *‘Не говорили, что отец работал хорошо’.

В примере (12) возможен только перевод (А), в котором предикат ‘говорить’ не входит в сферу действия отрицания, поэтому предложение с сокращением следует считать сложным.

При ответе на вопрос, почему предикат ‘говорить’ не может входить в сферу действия отрицания, теоретически может быть еще один ответ, кроме предложенного только что. Общеизвестно, что вводные слова, или парентетические выражения, не входят в сферу действия отрицания, но и не образуют отдельного простого предложения на синтаксическом уровне. Может ли ‘говорить’ быть вводным словом? Если да,

то предложение с сокращением можно считать простым предложением с вводным словом.

Я предлагаю ответить на этот вопрос отрицательно. Дело в том, что дополнительные аффиксы, которые мы видим в предложении с сокращением, совсем непохожи на вводные слова. Вводные слова синтаксически выражены, но их окончания грамматикализованы, не могут меняться и теряют свое значение. А в предложении с сокращением "вводное слово" синтаксически не выражено, его окончания присутствуют и не грамматикализованы, ср. примеры (9а) и (10а): в первом выражено только окончание изъявительного наклонения, а во втором также и окончание прошедшего времени, не утерявшее своего значения. Следовательно, предикат 'говорить' не может быть вводным словом, так как не обладает никакими синтаксическими свойствами вводного слова.

Таким образом, я обосновала то утверждение, что предложение с опущением является сложным. При этом я использовала чисто формальные критерии: последовательности аффиксов, возможные в предложении с сокращением, и воздействие отрицания на это предложение. В следующем пункте я укажу те синтаксические узлы, которые могут быть в главной части предложения с сокращением, и обосную возможность этих узлов.

2.2. Элементы, входящие в главную часть предложения с сокращением. Как мы уже видели на многочисленных примерах – (5б), (9а) и др., – в главной части предложения с сокращением возможен аффикс наклонения. В ней также возможен модально-ретроспективный аффикс:

- (13) Are-nim-un il cal
отец-ГОН-ТОП работа хорошо
ha-sy-ess-ta-te-la
делать-ГОН-ПРОШ-ИЗЪЯВ-МОД/РЕТР-ИЗЪЯВ
'(Я помню, что) говорят, что отец работал хорошо'.

Как видно из (10а), повторенного здесь, в главной части может содержаться также аффикс времени:

- (10) а. Are-nim-un il cal
отец-ГОН-ТОП работа хорошо
ha-sy-ess-ta-yss-e/ta
делать-ГОН-ПРОШ-ИЗЪЯВ-ПРОШ-ИЗЪЯВ
'Говорили, что отец работал хорошо'.

Таким образом, в главной части предложения с сокращением возможны аффиксы наклонения, ретроспективности и времени. Однако эта часть не допускает отрицания и аффикса гоноратива. Невозможность аффикса гоноратива показана в следующем примере:

- (14) а. Are-nim-un il
отец-ГОН-ТОП работа
cal ha-sy-ess-ta-(*sy)-ess-e/ta
хорошо делать-ГОН-ПРОШ-ИЗЪЯВ-(*ГОН)-ПРОШ-ИЗЪЯВ
б. Are-nim-un il cal
отец-ГОН-ТОП работа хорошо
hay-ss-ta-(*sy)-ess-e/ta
делать-ПРОШ-ИЗЪЯВ-(*ГОН)-ПРОШ-ИЗЪЯВ
'Говорили, отец работал хорошо'.

Мы видим, что аффикс гоноратива -*sy*- невозможен в главной части предложения с сокращением независимо от того, присутствует ли он в предложении цитирования (в (14а) он присутствует, а в (14б) отсутствует).

Категория отрицания представлена в корейском двумя формами: длинным отрицанием и кратким. Краткое отрицание образуется с помощью отрицательной клитики *an* 'не' или *mos* 'не может'. При длинном отрицании к глаголу прибавляется номинализатор -*ci*, а отрицание становится служебным глаголом, к которому прибавляются все

флексии (времени, наклонения и т.д.). Эти два вида отрицания проиллюстрированы в (15):

- (15) а. Ku-ka an mek-ess-ta
он-ИМ не есть-ПРОШ-ИЗЪЯВ
- б. Ku-ka mek-ci anh-ess-ta
он-ИМ есть-НОМИН не-ПРОШ-ИЗЪЯВ
'Он не ел'.

Теперь сравним предложения без сокращения и предложения с сокращением. В первых в главной части могут встречаться и краткое, и длинное отрицание, а во вторых не может встречаться ни один из этих двух видов отрицания. Сравним (16а) и (17а), (16б) и (17б):

- (16) а. Are-nim-un il cal
отец-ГОН-ТОП работать хорошо
ha-sy-ess-ta-ko an hay-ss-e/ta
делать-ГОН-ПРОШ-ИЗЪЯВ-ЦИТ не говорить-ПРОШ-ИЗЪЯВ
- б. Are-nim-un il cal
отец-ГОН-ТОП работать хорошо
ha-sy-ess-ta-ko
делать-ГОН-ПРОШ-ИЗЪЯВ-ЦИТ
ha-ci anh-ess-e/ta
сказать-НОМИН не-ПРОШ-ИЗЪЯВ
'Не говорили, что отец работал хорошо'.
- (17) а. Are-nim-un il
отец-ГОН-ТОП работа
cal ha-sy-ess-ta>(*an)-y>(*an)-ss-e/ta
хорошо делать-ГОН-ПРОШ-ИЗЪЯВ-(*не)-ПРОШ-ИЗЪЯВ
- б. Are-nim-un il cal
отец-ГОН-ТОП работа хорошо
ha-sy-ess-ta(*ci) anh-ess-e/ta
делать-ГОН-ПРОШ-ИЗЪЯВ-(*НОМИН) не-ПРОШ-ИЗЪЯВ
'Не говорят, что отец работает хорошо'.

Мы видим, что как длинная, так и краткая форма отрицания невозможны в предложениях с сокращением.

Итак, в предложениях с сокращением невозможны гоноратив и отрицание. Почему же в этих предложениях возможны аффикс наклонения и времени, но невозможны гоноратив и отрицание? В следующем пункте я предложу свое объяснение этому контрасту.

2.2.1. Временной аффикс как групповая флексия. Мое объяснение заключается в том, что глагольный узел как таковой отсутствует в предложении с сокращением, и поэтому в главную часть не может входить аффикс гоноратива, клитика отрицания и аффикс номинализации, которые присоединяются непосредственно к глаголу. А аффиксы времени и наклонения могут входить в главную часть предложения с сокращением, потому что эти аффиксы являются групповыми флексиями в смысле [Laroite 1990; 1996; Уоон 1994; Плунган 1994]. Групповая флексия – это окончание, которое синтаксически присоединяется не к вершине, а к составляющей, к вершине которой это окончание относится. Самый распространенный пример групповой флексии – английское possessивное 's. В примере [*The man with a stick*]'s hat possessивное 's семантически относится к вершине *man* составляющей [*The man with a stick*], а синтаксически оно присоединяется ко всей составляющей. Групповая флексия распространена в тюркских языках, а также в японском и корейском. Она обычно присоединяется к сочиненной группе, относясь к обоим членам этой группы одновременно:

- (18) а. [Chayk kwa yenphil]-ul
[книга и карандаш]-ВИН
'Книгу и карандаш'.

Каковы же доказательства того, что временной аффикс и аффикс наклонения являются групповыми флексиями, а гоноратив и окончание номинализации таковыми не являются? Приведем доказательство групповой природы временного аффикса, доказательство групповой природы аффикса наклонения аналогично. В.А. Плуноян приводит тест на то, является ли данная флексия групповой, или то, что она присоединяется к сочиненной группе, результат сочинительного сокращения, см. [Плуноян 1994]. Если флексию можно вставить после первого сочиненного члена без изменения значения, то мы имеем дело не с групповой флексией, а с результатом сочинительного сокращения; если нельзя, то мы имеем дело с групповой флексией. Например, в случае (18а) после первого сочиненного члена вообще нельзя вставить падежное окончание:

- (18) б. **Čayk-ul kwa yenphil-ul*
 книга-ВИН и карандаш-ВИН
 ‘Книгу и карандаш’.

Мой тезис состоит в том, что, хотя в глагольной сочинительной конструкции и можно вставить временной аффикс после первого сочиненного члена, значение всей конструкции при этом изменяется. Сравним пример (19), в котором временной аффикс относится к конъюнкции глаголов, с примером (20), в котором каждый глагол имеет свой временной аффикс:

- (19) [[*Swuni-nun Yenge-lul kaluchi*]-ko
 [Суни-ТОП английский-ВИН преподавать]-И
 [*Hakswu-nun Прон mal-ul pauw*]]-ess-ta
 [Хаксу-ТОП японский слово-ВИН изучать]]-ПРОШ-ИЗЪЯВ
 ‘Суни преподавала английский, а Хаксу изучал японский (одновременно)’.

- (20) [*Swuni-nun Yenge-lul kaluchy-ess*]-ko
 [Суни-ТОП английский-ВИН преподавать-ПРОШ]-И
 [*Hakswu-nun Прон mal-ul pauw-ess*]-ta
 [Хаксу-ТОП японский слово-ВИН изучать-ПРОШ]-ИЗЪЯВ
 ‘Суни преподавала английский в какой-то один момент, а Хаксу изучал японский в другой момент (эти моменты не связаны)’.

Мы видим, что (19) не может быть получено из (20) в результате сочинительного сокращения, потому что тогда бы переводы (19) и (20) были идентичны. Так как в (19) оба действия относятся к одной точке времени, а в (20) – к разным, то естественно предположить, что в (19) имеется один временной аффикс, который относится ко всей сочиненной группе, а в (20) – два аффикса. Таким образом, временной аффикс в (19) следует считать групповой флексией.

Поскольку временной аффикс является групповой флексией, для того, чтобы он входил в главную часть предложения с сокращением, в таком предложении не нужна глагольная вершина, аффикс может присоединяться к любой составляющей. Поэтому временной аффикс и может входить в главную часть. То же самое относится и к аффиксу наклонения (и к аффиксу модальности/ретроспективности) – они тоже являются групповыми флексиями.

Теперь рассмотрим гоноратив и отрицание. Гоноратив и отрицание не являются групповыми флексиями, это показывает тот же самый тест из [Плуноян 1994]. Если у нас есть два сочиненных члена, аффикс гоноратива *-(u)si-/-(u)sy-* может быть один на всю конъюнкцию, но также может присоединяться к каждому из сочиненных членов. Эта ситуация напоминает ситуацию с временным аффиксом. Однако есть одно существенное различие: предложения с одним и двумя аффиксами гоноратива полностью синонимичны, в отличие от предложений с временным аффиксом. Сравним переводы примеров (19) и (20), с одной стороны, и перевод (21а–б), с другой.

- (21) а. [[*sak-0*]-ko [*yerpu-si*]]-ta
 [маленький-ГОН]-И [красивый-ГОН]]-ИЗЪЯВ
 б. [[*sak-usi*]-ko [*yerpu-si*]]-ta
 [[маленький-ГОН]-И [красивый-ГОН]]-ИЗЪЯВ
 ‘[Она] маленькая и красивая’.

Поскольку (21а) полностью синонимично (21б), можно считать, что в (21а) есть только один аффикс гоноратива в результате сочинительного сокращения, этот аффикс не является групповой флексией.

Аффикс номинализации *-ci* также не является групповой флексией. Он вообще не может относиться к целой конъюнкции, а каждый глагол конъюнкции должен иметь по такому аффиксу. Пример (22а) грамматически правильный, а (22б) грамматически неправильный; в этом примере ‘маленький’ не может отрицаться. Пример (22в) показывает правильную расстановку скобок и интерпретацию, при которой ‘маленький’ не отрицается.

- (22) а. [sak-ci to (anh)-ko]
 [маленький-НОМИН тоже (не)-И]
 [uerpu-ci (to) anh]-ta
 [красивый-НОМИН (тоже) не]-ИЗЪЯВ
 ‘[Она] не маленькая и не красивая’.
- б. * [sak-ko uerpu]-ci anh-ta
 [маленький-И красивый]-НОМИН не-ИЗЪЯВ
 ‘[Она] не маленькая и не красивая’.
- в. sak-ko [uerpu-ci anh]-ta
 маленький-И [красивый-НОМИН не]-ИЗЪЯВ
 ‘[Она] маленькая, но не красивая’.

Итак, я показала, что гоноратив и аффикс номинализации не являются групповыми флексиями, а являются обычными аффиксами. Поэтому они не могут присоединяться к составляющей, а только к вершине; значит, для того, чтобы они были возможны в главной части предложения с опущением, в ней должна содержаться глагольная вершина. Поэтому можно сделать вывод, что поскольку гоноратив и аффикс номинализации невозможны в главной части, это объясняется отсутствием в ней глагольной вершины. Даже если бы в главной части содержалась нулевая глагольная вершина, гоноратив и аффикс номинализации были бы возможны, так как нет оснований считать, что нулевой синтаксический узел чем-то отличается от ненулевого в отношении сочетаемости. Поэтому я предпочитаю считать, что в главной части вообще нет глагольной вершины, а не что она нулевая.

Необходимо также объяснить, почему краткое отрицание невозможно в главной части предложения с опущением. Пример (17а) повторен ниже:

Ape-nim-un il
 отец-ГОН-ТОП работа
 cal ha-sy-ess-ta-(*an)-y-(*an)-ss-e/ta
 хорошо делать-ГОН-ПРОШ-ИЗЪЯВ-(*не)-ПРОШ-ИЗЪЯВ
 ‘Не говорят, что отец работает хорошо’.

Я предлагаю следующее объяснение: краткое отрицание *an* является глагольной клиткой. Поэтому оно должно присоединяться непосредственно к глагольной вершине. Раз эта вершина отсутствует, глагольная клитика тоже не может находиться в главной части предложения с сокращением.

Таким образом, была показана разница между временным аффиксом и аффиксом наклона, с одной стороны, и аффиксами гоноратива и номинализации, с другой. Первые являются групповыми флексиями, и поэтому могут присоединяться к составляющей, а не к вершине. Поэтому они возможны в главной части предложения с сокращением, в которой отсутствует глагольная вершина. Вторые – простые аффиксы, они должны присоединяться к вершине, и поскольку глагольная вершина в главной части отсутствует, данные аффиксы тоже невозможны.

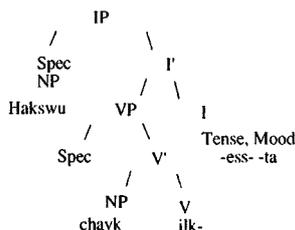
2.2.2. Формальное представление предложений с сокращением. В настоящем пункте я приведу древесную структуру, соответствующую предложению с сокращением, в рамках структуры непосредственных составляющих. Сначала коротко охарактеризую структуру составляющих применительно к корейскому языку.

Как известно, корейский язык – язык типа SOV, в отличие от русского (SVO). Важ-

ная характеристика корейского дерева непосредственных составляющих – это то, что вершина группы находится справа, а не слева от дополнения. Деревом для предложения (23) является (23’).

(23) Hakswu-ka chayk-ul ilk-ess-ta
 Хаксу-ИМ книга-ВИН читать-ПРОШ-ИЗЪЯВ
 ‘Хаксу читал книгу’.

(23’)



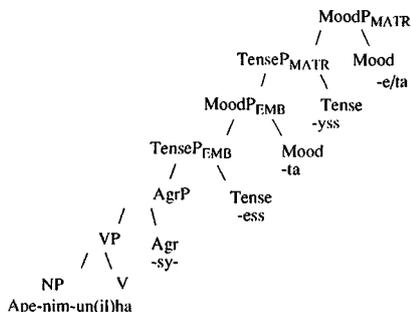
Как видно из (23’), то правило, что вершина группы находится справа от дополнения, распространяется не только на VP, но и на другие виды групп. Например, в IP вершина I находится справа от дополнения VP.

В IP-структуре, введенной в [Chomsky 1986], все грамматические показатели глагола находятся в вершине I – Tense ‘время’ и Mood ‘наклонение’ в (23’). Однако впоследствии получила распространение точка зрения, что каждый грамматический показатель является вершиной своей собственной группы. Вместо IP вводится ряд групп, вершинами которых являются различные грамматические показатели (гипотеза Split IP (расщепленная IP) [Pollock 1989]). Так, в (23’) следует ввести TenseP и MoodP вместо IP (эти группы и их порядок обосновал [Whitman 1989]). Набор таких грамматических групп может меняться и определяется спецификой данного языка, а именно набором его глагольных показателей и аналитических конструкций. В корейском, помимо TenseP и MoodP, необходимо ввести AgrP (показатель гоноратива), ModP (модальный/ретроспективный аффикс), NegP (аналитическая отрицательная конструкция) и некоторые другие группы.

Исходя из изложенной выше схемы построения структуры, структура предложения с сокращением должна быть следующей. Во-первых, цитативное предложение должно состоять из VP, AgrP, TenseP и MoodP (и факультативно NegP и ModP), как любое обычное предложение. В главной части не может быть VP, AgrP и NegP, а могут быть TenseP, ModP, NegP. Структура повторенного здесь предложения (10а) представлена в (24) (позиции Spec для краткости опущены):

а. Ape-nim-un il cal
 отец-ГОН-ТОП работа хорошо
 ha-sy-ess-ta-yss-e/ta
 делать-ГОН-ПРОШ-ИЗЪЯВ-ПРОШ-ИЗЪЯВ
 ‘Говорили, что отец работал хорошо’.

(24)



Мы видим, что в цитационном предложении вершине AggP соответствует аффикс гоноратива *-su-*, вершине TenseP – аффикс прошедшего времени *-ess-*, а вершине MoodP – аффикс наклонения *-ta*. В главной части вершине TenseP соответствует аффикс времени *-yss-*, а вершине MoodP – аффикс наклонения *-e-/ta*.

Таким образом, было показано формальное представление предложения с сокращением в рамках грамматики непосредственных составляющих.

3. Корейская конструкция с сокращением и немецкие/нидерландские конструкции с цитативом. Повторим приведенные выше примеры из нидерландского и немецкого с цитативом:

(7) Er soll krank sein
он-ИМ должен болен быть
'Говорят, что он болен'.

(8) hij zou de moord gepleegd hebben
он должен-был АРТ убийство совершив иметь
'Говорят, он совершил убийство'.

Эти примеры представляют собой конструкции с модальными глаголами. Однако в семантическом представлении данных предложений нет модального глагола, а вместо этого цитативный компонент: предикат 'говорить'. В этом смысле немецкие и нидерландские конструкции похожи на корейские предложения с сокращением: в корейских предложениях предикат 'говорить' тоже синтаксически отсутствует, а в семантическом представлении присутствует.

Другой вопрос, обсуждавшийся на материале корейского языка в настоящей статье, тоже актуален, а именно, являются ли немецкие и нидерландские предложения простыми или сложными. Образует ли модальный глагол самостоятельное простое предложение? Этот вопрос не решен в лингвистике окончательно; существует несколько точек зрения. Я приведу точку зрения генеративной грамматики. С этой точки зрения предложения типа (7) и (8) сложные, модальный глагол образует отдельное простое предложение, но дефектное: оно состоит из единственной составляющей ModP (то есть модального глагола). Подлежащее этот глагол заимствует у вставленного предложения; своего подлежащего он не имеет. Следовательно, просматривается сходство между немецкими/нидерландскими и корейскими цитативными конструкциями еще в одном аспекте: и те, и другие являются сложными предложениями, но главная часть этого предложения дефектна.

Таким образом, кажется, что можно провести параллель между немецкими/нидерландскими и корейскими цитативными конструкциями. Однако такую параллель провести нельзя по следующей причине: немецкие/нидерландские конструкции имеют ограничение на интерпретацию, которое отсутствует у корейских конструкций. Как видно из переводов примеров (7) и (8), подлежащее предиката 'говорить' нереферентно. В немецкой/нидерландской конструкции это подлежащее вообще не может быть референтным. Главное предложение в немецких/нидерландских цитативных предложениях всегда является неопределенно-личным (*Говорят...*).

В корейских конструкциях с сокращением предложение с 'говорить' тоже обычно неопределенно-личное (см. все примеры выше). Однако это не обязательно; подлежащее предиката 'говорить' может быть и референтным, если прагматические условия этому способствуют. Например, сравним (25а) и (25б).

(25) а. Nyeun-un kwunin-i-lay-nta
Хъен-ТОП солдат-быть-ИЗЪЯВ-ИЗЪЯВ
(А) 'Хъен говорит, что он солдат'.
(Б) 'Говорят, что Хъен солдат'.

б. Ku i-ka na-hanthey son-ul
этот человек-ИМ я-НАПР деньги-ВИН
cwu-keyss-ta-nta.
дать-ПРЕДП-ИЗЪЯВ-ИЗЪЯВ

(А) 'Он говорит, что даст мне деньги'.

(Б) 'Говорят, он даст мне деньги'.

В примере (25а) более предпочтительна нереферентная интерпретация (Б) подлежащего предиката 'говорить', потому что в нейтральном случае нормально, чтобы о ком-то говорили, что он солдат. В примере (25б) предпочтительна референтная интерпретация (А) этого предиката, потому что неестественно, чтобы неизвестно кто говорил о ком-то, что тот даст деньги.

Важно отметить, что при некоторых грамматических условиях референтная интерпретация подлежащего предиката 'говорить' обязательна, а именно когда предложение цитирования стоит в повелительном или пригласительном наклонении, например:

(26) Yongi-ka wuli-poko ka-sau-nta [Chang 1996: 189]

Йонги-ИМ мы-К идти-ПРИГЛАС-ИЗЪЯВ

(А) 'Йонги пригласил нас пойти с ним (Йонги)'.

(Б) *'Говорят, Йонги пригласил нас пойти с ним (Йонги)'.

Мы видим, что перевод (Б) примера (26), в котором подлежащее нереферентное, невозможен. Таким образом, в некоторых случаях референтность подлежащего грамматикализована. Это не дает возможности считать немецкие/нидерландские цитативные конструкции и корейскую конструкцию полностью параллельными.

4. Выводы. Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, корейские предложения с сокращением сложные. Во-вторых, синтаксически они не содержат даже нулевого узла 'говорить'. Главная часть этих предложений содержит аффикс наклонения и может также содержать аффиксы модальности и времени, но не аффикс гоноратива и не отрицание. Это обусловлено тем, что аффиксы времени и наклонения (и модальности) являются групповыми флексиями и могут присоединяться не непосредственно к глагольной вершине, а к какой-либо составляющей. Гоноративная конструкция и конструкция с отрицанием содержат аффиксы (клитики), которые не являются групповыми флексиями и должны присоединяться непосредственно к глагольной вершине; так как эта вершина отсутствует в главной части, данные конструкции тоже не могут в ней встречаться. В-третьих, рассматриваемые конструкции из корейского нельзя рассматривать как параллельные цитативным конструкциям из немецкого и нидерландского, потому что между этими двумя типами конструкций есть серьезные различия в интерпретации подлежащего предиката 'говорить'.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АРТ – артикль

АСП – аспект

ВЕЖЛ – (частица) вежливости

ВИН – винительный

ВОПР – вопросительное (наклонение)

ГОН – гоноратив

ИЗЪЯВ – изъявительное (наклонение)

ИМ – именительный

ИНТИМ – интимный (стиль речи)

КАУЗ – каузатив

МОД – модальность

НАПР – направительный (падеж)

НАСТ – настоящее (время)

НОМИН – номинализатор

ОПТ – оптатив

ПЕРФ – перфект

ПРЕДП – предположительная (модальность)

ПРИГЛАС – пригласительное (наклонение)

ПРИЧ – причастие

ПРОШ – прошедшее (время)

РЕТР – ретроспективное (наклонение)
ТОП – топик
УВАЖИТ – уважительный (суффикс)
ЦИТ – цитатив
ЧАСТ – частица

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Плунгян В.А.* 1994 – Грамматичность и отношения между морфемами (к вопросу о групповой флексии) // ИАН СЛЯ. 1994. № 3.
- Плунгян В.А.* 2000 – Общая морфология. Введение в проблематику. М., 2000.
- Холодович А.А.* 1954 – Очерк грамматики корейского языка. М., 1954.
- Chang Suk-Jin* 1996 – Korean. Amsterdam; Philadelphia, 1996.
- Cho, Young-Me Y., Sells P.* 1995 – A lexical account of inflectional suffixes in Korean // Journal of East Asian linguistics. 1995. № 4.
- Chomsky N.* 1986 – Knowledge of language. New York, 1986.
- Lapointe S.G.* 1990 – EDGE features in GSPG // Chicago Linguistic Society. 1990. № 26.
- Lapointe S.G.* 1996 – Comments on Cho and Sells. A lexical account of inflectional suffixes in Korean // Journal of East Asian linguistics. 1996. № 5.
- Martin S.E.* 1992 – A reference grammar of Korean. A complete guide to the grammar and history of the Korean language. Rutland; Tokyo, 1992.
- Martin S.E., Young-Sook C. Lee* 1990 – Beginning Korean. Rutland; Vermont; Tokyo, 1990.
- Pollock J.-I.* 1989 – Verb movement, universal grammar and the structure of IP // Linguistic Inquiry. 1989. № 20.
- Sohn Ho-Min* 1973 – Linguistic expeditions. Seoul, 1973.
- Sohn Ho-Min* 1999 – The Korean language. Cambridge (Mass.), 1999.
- Whitman J.* 1989 – Topic, modality and IP structure // Harvard studies in Korean linguistics. 1989. № III.
- Yoon J.H.-S.* 1995 – Nominal, verbal and cross-categorical affixation in Korean // Journal of East Asian linguistics. 1995. № 4.

© 2002 г. И.Г. ДОБРОДОМОВ

ЕЩЕ РАЗ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В ЯЗЫКЕ

Когда-то в 1939 году Л.В. Щерба обратил внимание на своеобразие глагола *кушать*, в ряду *вкушать, есть, уплетать, лопать, жрать*: "*Кушать* относится сюда же, но занимает особое место рядом с *есть*. Оно, кстати сказать, является прекрасным примером сложности системы литературного языка: *кушать* неупотребительно ни в первых, ни в третьих лицах, а только в повелительном наклонении, где оно заменяет формы *ешь, ешьте*, являющиеся уже фамиллярными, и с осторожностью в форме вежливости (2-е лицо мн. числа), где оно легко может получать слащавый оттенок. Форма 3-го лица ед. числа может употребляться лишь как выражение вежливости по отношению к ребенку. Что касается слов *трескать, шамать*, то они являются нелитературными, арготическими" [Щерба 1957: 121].

Однако ни сам Л.В. Щерба, ни многочисленные пуристы, запрещающие – в соответствии с его наблюдением – употребление глагола *кушать* в 1-м лице (см., например [Правильность... 1962: 90–91]), не объяснили причин столь странного поведения глагола *кушать*. А причина заключается в историческом прошлом этого глагола, который обозначал когда-то "пробовать", память о чем сохранилась еще у В.И. Даля: "*Кушать* также знач. отведывать" [Даль 1955: 229]. Действительно, активное принятие пищи едва ли может быть названо пробой, но приглашение к приему пищи, приглашение ее попробовать вполне соответствует любому этикету.

Подобного рода семантические компоненты, напоминающие о забытом прошлом значении, всегда находятся в центре внимания этимологов при семантических реконструкциях и более или менее наглядно восстанавливаются с опорой также на материал родственных языков. Применительно к русскому глаголу *кушать* особенно показателен сербскохорватск. *кушати* "отведывать, пробовать, испытывать; выпытывать. выспрашивать; искушать". Значение "пробовать на вкус, отведывать" свойственное праславянскому глаголу **kusiti* (с итеративом-дуративом к нему **kušati*) точно воспроизведено из готского *kausjan*, заимствованием которого оно является. Это же значение обнаруживается у греч. *κῆσθαι* "пробовать, отведывать" и санскрит. *juṣ* – "выбирать" [Трубачев 1987: 135, 138–139].

Подобная языковая память о прошлом не всегда бросается в глаза, но проявляется она не только в лексике, но и в фонетике-фонологии.

Укрепившаяся в нашем языкознании традиция противопоставления по-сосюровски синхронии и диахронии носит ущербный характер: два этих подхода вместо взаимного дополнения оказались оторванными друг от друга, что обусловлено не столько принципиальными соображениями, сколько недостаточной осведомленностью синхронистов в истории языка и сосредоточенностью историков языка на динамике исторических процессов в далеком прошлом с редким доведением их до современности, а также невниманием к системному осмыслению современного состояния исторически изменившихся элементов языка и их взаимных отношений.

Специалисты по современной русской фонетике и фонологии обычно ограничиваются при характеристике фонемы /e/ указанием на то, что она реализуется в

ударном положении в двух звуках: 1) более закрытом *e* перед мягким согласным: *c'ëй* (*сей*) и 2) открытом *e* перед твердым согласным: *c'ef* (*сев*). Это соотношение между вариациями одной фонемы *e* было уже давно отмечено академиками Я.К. Гротом и О.Н. Бётлингком [Грот 1847: 784; Бётлингк 1852: 90]¹.

Такое наблюдение, сделанное более полутора столетий тому назад, касается абсолютно всех случаев употребления гласных *e*, *ê* в русском литературном языке под ударением – независимо от их происхождения. Гласные *e*, *ê* являются позиционными вариациями одной фонемы, чем они радикально отличаются от двух четко противопоставленных разных фонем /*e*/, /*ъ*/, которые имели место в древнерусском языке и что заключалось в оппозиции тоже открытой фонемы /*e*/ и закрытой фонемы /*ъ*/ . Но нынешнее противопоставление двух позиционных (комбинаторных) вариаций *e*, *ê* современной одной фонемы и старое противопоставление двух древнерусских фонем /*e*/, /*ъ*/ совершенно никак не совпадают.

Однако внимательный анализ всех употреблений фонемы современной русской /*e*/ в литературном языке в корнях слов в разных позициях обнаруживают три различных ее поведения и – в связи с этим – три разновидности фонемы /*e*/.

Одна разновидность ее поведения точно совпадают с наблюдением О.Н. Бётлингка – Я.К. Грота: *з'в'êр'* – *з'в'êрствъ*. В одном и том же корне – в зависимости от позиции – представлены две вариации фонемы: то *ê* (перед мягким согласным), то *e* (перед твердым).

В двух других случаях в корнях *ê* представлен только перед мягким согласным, а перед твердым согласным вместо ожидаемого *e* выступает его альтернант *о* с некоторым осложнением в третьем случае.

Гораздо меньше обращают внимания на то, что имеется еще одна другая разновидность фонемы /*e*/, которая реализуется в закрытом звуке *ê* перед мягкими согласными, но перед твердым согласным она чередуется со звуком *о* (представитель фонемы *o*): *сѣльский* – *сѣла*; *берѣзник* – *берѣза*.

Есть еще разновидность фонемы /*e*/, которая в закрытых слогах (перед конечным согласным слова и перед сочетанием нескольких согласных внутри слова) ведет себя так, как и предыдущая разновидность фонемы /*e*/, сохраняется как *ê* перед мягкими согласными и чередуется с *о* перед твердыми согласными, но в открытом слоге этот гласный исчезает, благодаря чему на его месте возникает сочетание окружающих его согласных: *день* (им.-вин. ед.) – *дѣн* (род. мн.) – *дня*; *пень* – *опѣнки* – *пня*.

Историческая фонетика хорошо объясняет своеобразие поведения всех этих разновидностей фонемы /*e*/.

Первая из них восходит к древней славянской гласной фонеме /*ъ*/, которая сейчас реализуется в двух вариациях (аллофонах): *ê* и *e*.

Вторая является частью расщепленной (в некоторых случаях она перешла в /*o*/) старой фонемы /*e*/, выступающей в современном русском языке только в закрытой вариации *ê* (перед мягким согласным), но конвергирует с гласным *o* перед твердым согласным.

Третья разновидность фонемы /*e*/ также представляет собою часть сохранившегося рефлекса *e* особого древнерусского гласного *ь*, который в другой части рефлексов то отражен как *о*, то исчезает (более модно можно было бы сказать, что он представлен нулем).

Короче говоря, современная фонема /*e*/ представляет собой рефлекс трех древнерусских фонем:

- 1) *ъ* (в состав современной фонемы (*e/ê*) вошла *ъ* полностью);
- 2) *e* (в состав современной фонемы /*e*/ древнерусская фонема вошла только частично, ограничиваясь теми позициями, где не было перехода *e > o*);

¹ Ход обсуждения этой проблемы Я.К. Грот описал в своих "Филологических разысканиях" [Грот 1899: 220–227].

3) *ь* (в состав современной фонемы /e/ влилась лишь третья часть: из позиции, где не было ни перехода в *о*, ни исчезновения *ь* из произношения).

Старая фонема /ѣ/ сохранилась полностью в современном русском языке в виде вариаций *е*, *ѣ*, а старые *е*, *ь* вошли в состав современной фонемы /e/ лишь в качестве ее вариации *ѣ*, а в других позициях они испытывали конвергенцию с фонемой /o/, в результате дивергенции на *ѣ* и 'o'.

Неодинаковое поведение рефлексов древнерусских фонем /ѣ/, /e/, /ь/ в системе современного русского вокализма позволяет говорить, что и в современной русской фонетике чувствуются следы древнерусской фонологии с ее противопоставлением трех фонем /ѣ/, /e/, /ь/, которые даже сейчас слились далеко не полностью: в положении перед мягкими согласными они совпали фонетически в одной вариации *ѣ* фонемы /e/, но в положении перед твердыми согласными бывшие *е* и *ь* сейчас чередуются с фонемой /o/, а для фонемы /e/ из /ь/ в определенных позициях характерна ее беглость (исчезновение из произношения, чередования с нулем).

Следовательно, старые фонемы /ѣ/, /e/, /ь/ могут быть выведены из современного русского языка на основе их альтернативных свойств – особенностей их чередования.

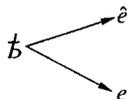
Разобранное здесь слабое противопоставление древнерусских фонем /ѣ/, /e/, /ь/ в современном русском вокализме в альтернативах фонемы /e/ выглядит не слишком очевидным, поэтому оно обычно не рассматривается в трудах по современной русской фонетике-фонологии².

Следовало бы задуматься и над проблемой, вытекающей из того обстоятельства, что древнерусская фонема /ѣ/ вошла в состав современной фонемы /e/ полностью, а /e/ и /ь/ – лишь частично. Действительно, древнерусская фонема /e/ перед твердыми согласными сейчас реализуется в альтернанте *о*, а перед мягкими согласными как *ѣ* закрытый и, соответственно, фонема /ь/ перед твердыми согласными реализуется как *о*, перед мягкими – как *ѣ*, а в некоторых случаях исчезает (реализуется в нуле звука?).

Дивергентную судьбу этих древнерусских фонем можно представить следующим образом:



Следует при этом вспомнить, что по данным сравнительно-исторического славянского языкознания древнерусские фонемы /ѣ/ и /e/ отличались степенью закрытости: большей у /ѣ/ и меньшей у /e/. Следовательно, получая более закрытый характер, /e/ и /ь/ совпадали с фонемой /ѣ/. Но последняя в современном русском языке реализована в двух вариациях (аллофонах): *е* перед твердыми согласными и *ѣ* перед мягкими согласными:

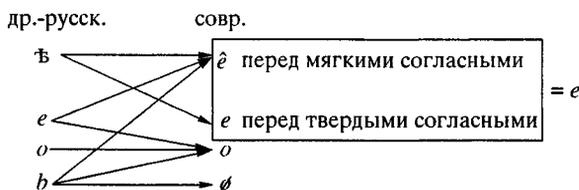


Как видим, древнерусские фонемы /e/, /ь/ испытали дивергенцию: на их месте в современном русском языке сейчас выступают две фонемы – /e/, /o/ (о нулевой реализации древнерусской фонемы /ь/ в современном русском языке стоит поговорить особо, а здесь ограничиться нулевым разделом).

² На диалектном материале сходное явление рассматривается как парадокс П.С. Кузнецова – М.В. Панова (см. [Касаткин 1999: 101–114]).

Если дивергенция двух фактически конвергировавших древнерусских фонем /e/, /ь/ на /e/ и /o/, сопровождалась конвергенцией этих дивергентов с фонемами /ѣ/ и /o/, то расщепление фонемы /ѣ/ не дошло до настоящей дивергенции³: оно привело только к появлению ее аллофонов *e* и *ê*, которые представляют собой вариации одной фонемы, исторически связанной с /ѣ/.

Если учесть также и фонему /o/, то весь связанный историческими переходами фрагмент древнерусского вокализма соотносится историческими переходами со следующим фрагментом вокализма современного русского языка:



Здесь современные звуки *e* и *ê* представляют собой вариации (аллофоны) одной фонемы /e/, поэтому четырем гласным древнерусского языка ѣ, е, о, ѡ соответствуют две фонемы /e/, /o/, причем старые фонемы /e/, /ь/, изменившись в *ê* или *o*, не сохранились как звукотипы, преобразовавшись исторически в *o* (перед твердыми согласными) и в *ê* (перед мягкими согласными). Место старой фонемы /e/ занимает сейчас вариация (аллофон) *e* старого /ѣ/ перед твердыми согласными.

Следовательно, древнерусская фонема /ѣ/ реализуется сейчас в более открытом звуке *e* перед твердым согласным и с о х р а н я е т с я в современном русском литературном языке как старый закрытый звукотип *ê* перед мягким согласным, старая же фонема /e/ (в том числе и из ѡ) как особый звукотип н е с о х р а н и л а с ь.

В связи с этим привычный тезис русских исторических фонетик о том, что фонема /ѣ/ совпала с фонемой /e/, следует пересмотреть, ибо древнерусская фонема /e/, представленная в современном русском языке звукотипами *ê* и *o*, изменилась в соответствующие звукотипы во всех позициях, а старая фонема /ѣ/ сохранилась в позиции перед мягкими согласными и заняла место исчезнувшей фонемы /e/ в позиции перед твердыми согласными, но со старой фонемой *e* она не конвергировала, поскольку древнерусская фонема /e/ как звукотип не сохранилась в современном русском языке.

Этот парадоксальный вывод о сохранении в современном русском литературном языке древнерусской фонемы /ѣ/ и об исчезновении древнерусской фонемы /e/ как звукотипов⁴ был сделан на основе тесного сопоставления бесспорных материалов русской исторической фонетики со столь же бесспорными материалами современной синхронной фонетики.

Правда, стоит заметить, что эти чередования фонем /e/ ~ /o/, /e/ ~ /o/ ~ /ø/, соответственно (перед мягкими и твердыми согласными) приобрели характер морфологического средства и оно не относится сейчас к числу чисто фонетических явлений, будучи осложненным действием морфологической аналогии: *берёза* – на *берёзе*.

Осложняют картину заимствования, а также слова, сохранившие свое старое звучание под влиянием книжного произношения (так называемые старославянизмы типа *перст*, *небо* и т.п.), которые могут быть трактованы как заимствования из более древнего состояния языка и объединены в этом отношении с новыми заимствованиями из европейских языков типа *котлета*, *газета* и т.п. Здесь слова, не знающие альтер-

³ Хронология и механизмы этих изменений подробно рассмотрены в кандидатской диссертации [Изметьева 1995].

⁴ Впервые об этом я писал в тезисах произнесенного доклада [Добродомов 1991: 74–76].

наций /e/ ~ /o/, /e/ ~ /o/ ~ /ø/ – новые в языке, они должны быть объединены со словами, имевшими исконный Ъ.

Современная русская орфография со всеми ее непоследовательностями является плодом ее многовекового развития и носит вполне исторический характер. Основы ее сложились в те времена, когда морфемы, из которых складываются сейчас слова, звучали и изображались на письме везде одинаково, что и сохранилось в современном правописании, которое не учитывает их современного различного звучания в устной речи.

Следовательно, морфологический (морфемный) принцип русской орфографии, о котором говорится во многих пособиях по современной русской орфографии, отражающих воззрения Ленинградской фонологической школы, не может считаться основополагающим: он представляет собой лишь возведенное до принципиального уровня обычное школьное правило использования современных форм слова и родственных слов для установления орфографических форм и морфем.

Поскольку в рамках Московской фонологической школы определение фонемы опирается на функциональное тождество звуков, входящих в состав морфемы, то проверка "сомнительных" написаний в слове, связанная с тождеством морфем (морфологический принцип орфографии), может быть названа проверкой на фонемном уровне (фонологический принцип орфографии).

Как известно, действие звуковых законов, преобразовывающих фонетический облик слова, его форм и производных, ограничивается лишь определенными позициями и не распространяется на другие. В силу этого обстоятельства в языке сохраняются в некоторых случаях отдельные формы слова и производные от него без фонетических преобразований. Например, из ряда *воды, вóдник, вода́, водяно́й* только часть форм и слов испытала редукцию гласного в корневой морфеме и получила иную огласовку (*вада́, вьд'иной*), но в другой части (*воды, вóдник*) такого изменения не произошло. Те формы и образования, где гласный не подвергался изменениям (находился в сильной позиции), служат эталоном для определения фонемного состава слова, а также для определения основы написания слова в соответствии с историческими написаниями.

Проверка "сомнительных" написаний в духе школьной орфографической теории и практики, установление основного вида морфемы в духе Ленинградской фонологической школы и выяснение фонемного состава морфемы в духе Московской фонологической школы базируется на одном и том же приеме – на поисках сохранившихся в современном русском языке остатков старого звучания форм слова или родственных слов.

Как единство сопоставляемых для орфографических целей морфем, так и составляющих их фонем при их реальном разном звучании оказывается возможным благодаря тому, что в далеком прошлом это тождество было и звуковым.

Следовательно, фонетически варьирующаяся фонема (в понимании Московской фонологической школы) в прошлом совпадала в едином звуке, что делает современную варьирующуюся фонетически фонему как бы исторической тенью единой по звучанию фонемы далекого прошлого. Поэтому фонема в понимании Московской фонологической школы выводится не только с учетом функционального тождества фонемы в составе морфемы, но и с оглядкой на историю языка.

Фонема в понимании Московской фонологической школы оказывается не вполне понятной без учета ее историчности, причем она очень хорошо вписывается в рамки истории русского языка, хотя в целом опирается на синхронно-функциональную базу. Ведь синхронические отношения сложились в результате разных исторических процессов.

Историзм Московской фонологической школы не только направлен в прошлое, но и нацелен в будущее.

В замечательной статье Р.И. Аванесова о соотношении фонем /ы/, /и/ в истории русского языка и совпадении их в современном русском языке [Аванесов 1947; 1974: 234–245] блестяще показана тенденция к слиянию этих фонем, которая уже произош-

ла во многих славянских языках и почти произошла в современном русском языке, не затронув лишь по-прежнему противопоставленные названия букв *ы, и*, оставшиеся пока еще самостоятельными только в этих условиях, но совпавшие во всех остальных позициях. Столь же диалектично в рамках Московской фонологической школы решается и вопрос о степени противопоставленности русских заднеязычных согласных по мягкости – твердости.

Фактический историзм Московской фонологической школы обеспечивает диалектическую подвижность системы фонем современного русского языка, которая не может считаться голой застывшей схемой. Фонетическая система современного русского языка представляет своеобразный мост между древнерусской системой и системой будущего русского языка; в ней заключены как пережитки прошлого, так и ростки будущего, и отношения между ними постоянно меняются, поэтому ригористическое противопоставление синхронии и истории (это совсем не диахрония Ф. де Соссюра, сейчас малопродуктивная в исследованиях), на котором часто настаивают последователи великого швейцарца, оказывается совершенно напрасным и даже препятствующим нормальным исследованиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аванесов Р.И.* 1947 – Из истории русского вокализма. Звуки [i] [y] // Вестник Московского ун-та. 1947. № 1.
- Аванесов Р.И.* 1974 – Русская литературная и диалектная фонетика. М., 1974.
- Бётлингк О.* 1852 – Грамматические исследования о русском языке // Уч. зап. имп. Академии наук по Первому и Третьему отделениям. СПб., 1852. Т. I. Вып. 1.
- Грот Я.К.* 1847 – О произношении *э, е, ѣ* // Санкт-Петербургские ведомости. 1847. № 173.
- Грот Я.К.* 1899 – Филологические разыскания. СПб., 1899.
- Даль В.И.* 1955 – Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 2.
- Добродомов И.Г.* 1991 – Куда девалась фонема ⟨*ѣ*⟩ в русском языке // Соотношение синхронии и диахронии в языковой эволюции. Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции (Ужгород. 23–25 октября 1991 г.). М.; Ужгород, 1991.
- Изместьева И.А.* 1995 – Межслоговой сингармонизм в истории русского языка: Автореф. канд. дис. ...М., 1995.
- Касаткин Л.Л.* 1999 – Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999.
- Правильность... 1962 – Правильность русской речи. Трудные случаи современного словоупотребления. Опыт словаря-справочника. М., 1962.
- Трубачев О.Н.* 1987 – Этимологический словарь славянских языков. Вып. 13. М., 1987.
- Щерба Л.В.* 1957 – Современный русский литературный язык // Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957.

© 2002 г. Ю.Б. КОРЯКОВ

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В БЕЛОРУССИИ

Современная языковая ситуация в Белоруссии отличается сложностью и неоднородностью. В данной работе рассматривается соотношение двух основных языков Белоруссии – русского и белорусского – в течение последнего десятилетия с небольшим. Делается попытка сравнить их функциональное употребление, территориальное распределение и социальную стратификацию.

1. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ

1.1. ПЕРЕПИСЬ 1989 ГОДА

В начале 1989 года была проведена последняя общесоюзная перепись населения, результаты которой стали одним из ведущих аргументов при проведении в Белоруссии языковой политики начала 1990-х годов. Согласно им 65,6% населения Белоруссии назвали белорусский своим родным языком, а еще 12% утверждали, что свободно им владели (см. Таблицу № 1).

Однако основополагающее понятие "родной язык", применявшееся в советских переписях, начиная с 1937 года стало слишком неоднозначным. Если при переписи 1926 года регистрировался язык, которым опрашиваемый владел лучше всего либо на котором обычно говорил (результаты по Белоруссии: белорусский язык 67%, русский – 23,5%, идиш – 7,5%, остальные (2%) – польский, литовский и прочие [Беларусы 1996: 5]), то в последующих переписях язык стал трактоваться как часть этнического самосознания и регистрироваться по принципу самоопределения.

В результате данные советских переписей о родном языке отражают ситуацию скорее этнопсихологическую, нежели лингвофункциональную; а если и отражают некоторое реальное распределение языков, то скорее существовавшее несколько поколений назад, чем нынешнее. Родной язык был для многих еще одним свойством каждого человека, наряду с национальностью, символом, практически не зависящим от реального языкового поведения. "Родной язык является этнопсихолингвистической категорией, которая отражает эмоциональные отношения к языку, этническую ориентацию человека" [Микуліч 1996: 100].

Если же ошибочно считать, что родным языком не только свободно владеют, но и активно его используют (или, во всяком случае, готовы это сделать), то получится, что 77,6% населения являются активными носителями белорусского языка. При таком подходе оказывается оправданным и придание белорусскому языку статуса государственного, и активная белорусизация.

«Разумеется, можно, исходя из термина "этнолингвоориентация", интерпретировать результаты последней переписи в их этносимволической части как отражение глубинных этноязыковых потребностей народа в противовес тому, что проявляется при общении, во внешнеязыковой ситуации; предпочтений, которые необходимо лишь реализовать в соответствующей языковой политике. Но попытка действительного построения лингвополитики на основе такой интерпретации показала ее неправомочность» [Болотина 1997: 5]. Это подтвердил референдум 1995 года, который можно считать фактическим опросом людей о желательной языковой ситуации и политике.

Распределение языков в БССР по данным переписи 1989 г.

Языки		Всего	Белорусы	Русские	Поляки	Украинцы	Евреи
Белорусский	родной	65,6%	80,2%	2,2%	63,9%	5,8%	2,1%
	второй	12,0%	9,5%	24,5%	17,8%	10,4%	27,6%
Русский	родной	31,9%	19,7%	97,7%	22,6%	48,7%	90,0%
	второй	50,8%	60,4%	1,8%	44,7%	41,4%	8,6%
Всего (тыс. чел.)		10,152	7,905	1,342	418	291	112

По его результатам большинство высказалось за равноправное двуязычие. Другой вопрос – такое уж ли оно равноправное?

1.2. ВТОРОЕ БЕЛОРУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Современную языковую ситуацию целесообразно рассматривать примерно с конца 1980-х годов, когда началось так называемое "Второе белорусское возрождение" [Мечковская 1994: 299]. Оно было вызвано событиями союзного масштаба, однако в отличие от многих других союзных республик тяга к независимости в Белоруссии была весьма незначительна¹, основное же внимание было направлено на белорусскую культуру, и, в частности, на язык. Проводились социологические и социолингвистические исследования, создавались общественные организации (важнейшая – Общество белорусского языка², основанное в 1989 и зарегистрированное в 1991 году), принимались законы. Так, на волне энтузиазма, 26 января 1990 года был принят закон "О языках в Белорусской ССР"³, придавший белорусскому языку статус государственного. Уже в сентябре Совет Министров БССР принял Государственную программу развития белорусского языка и других национальных языков.

Многим тогда могло показаться, что еще немного и ситуация с белорусским языком коренным образом изменится: люди заговорят по-белорусски, дети пойдут в белорусские школы, белорусский язык станет полнофункциональным языком, каким и должен быть официальный язык государства, родной для более чем трех четвертей его населения, а русский отойдет на второй план, станет одним из языков межнационального общения и внешней политики (как минимум со странами СНГ).

Впрочем, уже тогда и тем более сейчас очевидно, что принятие Закона о языках было только мерой защиты языка⁴. Статус государственного позволяет восстановить этнический язык хотя бы в узкой сфере официально-канцелярских бумаг и тем остановить его общее вытеснение из жизни⁵. "При известной неопределенности и в

¹ Декларация о государственном суверенитете Беларуси была принята 27 июля 1990.

² По-белорусски "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны (ТБМ)", эту аббревиатуру, как наиболее распространенную, мы и будем дальше использовать.

³ Это было вызвано волной принятия законов о языках, прокатившейся по бывшим союзным республикам. Среди них белорусский закон был принят одним из последних, после него вышли законы лишь в Туркмении и России.

⁴ Как и известный пункт Статута Великого Княжества Литовского 1588 года: "А писарь земьской маеь поруску литерами и словы рускими вси листы выписы и позвы писати а не иншимъ езыкомъ и словы" (Статут ВКЛ 1588), бывший, по мнению А.И. Журавского, вынужденной охранительной мерой, косвенным свидетельством нарастающего вытеснения старобелорусского языка польским [Жураўскі 1967: 350–351].

⁵ Хотя обычно получение статуса государственного языка способствует не только прекращению вытеснения этого языка, но и значительному расширению его функций

целом толерантности белорусского Закона о языках, который, в частности, гарантирует гражданам право обращаться в органы власти на любом языке (ст. 3), государственный статус белорусского языка отнюдь не ущемляет права русскоязычного населения (как, конечно, и не может обеспечить использование белорусского языка в повседневном общении). Но даже эта норма не поддерживается большинством жителей. Выступая за двуязычие, большинство населения Беларуси (в том числе большинство белорусов) фактически высказывается за сохранение существующих тенденций в языковой ситуации и, следовательно, смиряется с вытеснением белорусского русским" [Мечковская 1994: 310].

Верховным Советом было предусмотрено постепенное (на протяжении 10 лет) введение в действие Закона о языках.

Уже исследования, проведенные в 1993 году, показали, что людей не вполне устраивает существовавшее положение с единственным государственным языком. Так, проведенный по всей территории республики опрос показал, что 60,2% респондентов хотят, чтобы государственными языками государства были белорусский и русский, и лишь 22,7% – только белорусский⁶ (Советская Белоруссия, 7 июля 1993). "По данным социологических исследований, три четверти населения Белоруссии выступают за двуязычие... Большинство населения своим родным языком считают именно русский" [Михальченко 1994: 229]. Даже в период максимального внедрения белорусского языка совет ТБМ признавал: "Русский язык по-прежнему доминирует во всех сферах политической и общественной жизни республики: в сферах науки, культуры, делопроизводства, обслуживания, в эпиграфике, в средствах массовой информации и т.д." [Конюшкевич 1994: 213]. Но тогда Верховному Совету, из-за позиции его председателя С. Шушкевича и парламентской оппозиции Белорусского Народного Фронта, удалось избежать вынесения на референдум вопроса об одном или двух государственных языках в Белоруссии.

После провозглашения независимости начали приниматься активные меры по вытеснению русского языка белорусским (или, точнее, по приостановлению вытеснения белорусского языка русским), но массовая психология осталась прежней. Если дикторы и ведущие белорусского радио говорят на белорусском языке, часто плохо, то практически все люди, приглашаемые для бесед и интервью, отвечают по-русски.

В 1995 году вопрос о языках был все-таки вынесен на всенародный референдум. На вопрос "Ці згодны (согласны ли)⁷ Вы з наданнем (прிடанием) рускай мове роўнага статусу з беларускай?" 83,3% принявших участие в голосовании ответили "да" (это более 50% зарегистрированных избирателей); и только 12,7% ответили "нет". После референдума форсированный переход на белорусский язык прекратился и начался обратный процесс.

1.3. ПЕРЕПИСЬ 1999 ГОДА

В феврале 1999 года в Белоруссии, одной из первых республик в бывшем СССР, была проведена очередная перепись населения. В ходе подготовки, проведения и оценки результатов переписи вопросы, связанные с национальным языком, стали камнем преткновения между государственными структурами и некоторыми общественными организациями. Именно благодаря усилиям последних в переписные листы наряду с вопросом "Каким языком Вы пользуетесь дома?", был внесен вопрос "Назвать свой родной язык".

Согласно данным, представленным в официальном отчете, дома разговаривают на белорусском языке – 37% (92% из них составляют белорусы). На русском языке

(Польша, Финляндия, государства Прибалтики, Средней Азии и другие).

⁶ При этом 6,9% высказались за государственный язык – русский, а 6,6% за 6 языков: белорусский, русский, украинский, польский, еврейский, татарский.

⁷ Здесь и далее перевод (в скобках после слова) дается курсивом только для тех белорусских слов, которые могут быть непонятны русскому читателю.

общаются дома 6 308 тыс. человек (63%) от общего количества населения республики. Из них 4 783 тыс. чел. – белорусы. Среди белорусов доля использующих в повседневном общении русский язык составляет 59%.

Таблица 2

Сравнительное распределение языков в Белоруссии по данным переписи 1989 г. и 1999 г.

Языки	Статус	1989	Белорусы	Статус	1999	Белорусы
Белорусский	родной	65,6%	80,2%	родной	~ 70%	
	второй	12,0%	9,5%	основной*	37%	41%
Русский	родной	31,9%	19,7%	родной	~ 30%	
	второй	50,8%	60,4%	основной	63%	59%
Всего (тыс. чел.)		10 152	7 905		~ 9 991	8 107

*Примечание:** – под "основным" здесь понимается основной язык общения дома.

В связи с публикацией результатов переписи в оппозиционной газете "Пагоня" 13 января 2000 г. было напечатано "Обращение секретариата ТБМ", в котором ТБМ обратилось к государственным структурам с требованием как можно скорее обеспечить белорусскому языку реальный статус государственного языка, для чего создать необходимые условия для его использования во всех сферах жизни на территории республики, и призвало соотечественников защищать свое право на самоопределение и национальное достоинство (Звязда. 15 янв. 1999; Белорусская деловая газета. 24 янв. 1999; Пагоня. 13 янв. 2000).

2. ЯЗЫКИ

В основной языковой ситуации участвуют два языка: русский и белорусский со своими диалектами и смешанная речь, или трасянка.

2.1. БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК

Белорусский язык представлен литературным белорусским языком и местными говорами.

В белорусской лингвистике было принято отождествлять языковые, этнические и даже политические границы⁸. Поэтому к белорусскому языку причисляют говоры западного Полесья, лингвистически весьма от него далекие. Ситуация в Полесье в основных чертах близка к общей ситуации в Белоруссии, хотя и имеет характерные особенности.

Еще в конце прошлого века население западных частей Смоленщины и Брянщины относило себя скорее к белорусам, этого же мнения придерживались и исследователи [Ширяев 1991: 110–112]. Сейчас население этих районов считает себя русскими, следовательно и язык свой русским. Такого же мнения придерживается и большинство лингвистов. Однако структурно сельские говоры этих районов ближе к белорусскому языку, являясь естественным продолжением говоров прилегающих районов Белоруссии⁹.

⁸ Такое отождествление характерно далеко не только для белорусистики. Это довольно распространенная практика – проводить границы языков по социолингвистическим критериям – в соответствии с границами этносов и/или литературных форм этих языков. Но мы все же будем придерживаться собственно лингвистических критериев, основанных на структурной близости языков. См. подробнее [Коряков, Майсак 2001].

⁹ Восток этих областей занимает широкая переходная зона, сочетающая в себе характере-

Литературный белорусский язык начал складываться еще в конце прошлого столетия¹⁰, но расцвет его приходится на годы белорусизации – 1920–1930. После реформы 1933 года появилось два варианта белорусской орфографии: "наркомовка" ("советский" или "чарнушэвіца") и "тарашкевіца" ("эмигрантский"). Первый используется на территории БССР с 1933 года, второй был единственной нормой до 1933 года, затем использовался в польской Белоруссии до 1939 года, на оккупированных немцами территориях в 1941–1944 годах, а после этого среди белорусской эмиграции в западных странах (кроме Польши).

Последствия советский вариант подвергся значительному влиянию русского языка, а эмигрантский – западных языков, в результате чего к концу столетия в каждом варианте помимо орфографических отличий накопилось немало и других. Хотя общим является мнение, что нынешняя тарашкевица сохранила нетронутым язык 1920–30-х годов [Запрудскі 1999: 23], существует и точка зрения, что «"эмигрантский" вариант гораздо менее стабилен и подвергся не меньшему влиянию окружающих языков, прежде всего английского» [Жураўскі 1998: 13–15].

К отличиям тарашкевицы относятся (после знака \ даются формы наркомовки):

орфографические

- обозначение мягкости согласного перед другим мягким согласным, например, *сьнег \ снег* [s'n'ex]; *пытаньне \ пытанне*;
- обозначение редукации гласного "е" (яканья) в частице "ня \ не";

фонетические

- мягкость конечного согласного приставок перед йотированным гласным (на месте русского "ъ"): *зьява \ з'ява*;
- сохранение твердости согласных в иностранных заимствованиях: *актор \ акцёр*;
- сохранение мягкости "л" в иностранных заимствованиях: *філялёгія \ філалогія*;

морфологические

- разное распределение окончаний
- у существительных: в род. пад. мн. числа жен. рода: *формаў \ форм, моў \ моваў, лініяў \ ліній*;
в род. пад. ед. числа муж. рода: *плану \ плана, раёну \ раёна*;
в предл. пад. ед. числа: *аб дзедзе \ аб дзеду, у Пецяярбурзе \ у Пецяярбургу*;
- у прилагательных: в род. пад. ед. числа жен. рода: *сіняе \ сінняй, вясёлае \ вясёлай*;
- у глаголов: в I лице мн. числа наст. врем. изъяв. накл.: *ідзем \ ідзём, бярем \ бяром*;
в I лице мн. числа повел. накл.: *будзьма \ будзем* или *будуйма*;

лексические

расейскі \ рускі; адсотак \ працэнт; досвед \ вопыт (= "опыт"); травень \ май; вакацыі \ канікулы [Запрудскі 1999], *габрэі \ яўрэі, Менск \ Мінск*.

В послевоенные годы эти варианты практически не пересекались, однако с конца 1980-х гг. начинается активное проникновение тарашкевицы на территорию Белоруссии. Многие думали, что с падением советской системы уйдет в прошлое и "советский" вариант белорусского языка, однако этого не случилось. После нескольких лет частичного использования тарашкевицы в некоторых газетах, журналах и книгах, в августе 1993 года для решения орфографических проблем была организована Государственная комиссия по уточнению правописания белорусского литературного языка. Однако через год языковая политика начала меняться, и комиссия, не изменив ни одного правила, прекратила свою деятельность [Запрудскі 1999: 23–24]. В настоящее время "тарашкевицей" иногда пользуются некоторые независимые газеты (например,

ристики белорусского и южнорусского ареалов.

¹⁰ Так называемый "старобелорусский" язык (иначе "книжный западнорусский язык XIII–XVII вв.") не является непосредственным предшественником современного литературного белорусского языка, хотя несет на себе особенности местных говоров Великого Княжества Литовского того времени, причем в разное время разных.

"Наша Ніва"), и некоторые молодежные радиостанции (например, "Стиль" – радио Белорусского Патриотического союза молодежи (БПСМ)). Единственным СМИ, пользующимся только "тарашкевицей" является белорусская служба американского радио "Свабода", вещающего из Праги. Это же относится и к его сайту в Интернете (<http://www.svaboda.org>), на котором публикуются все материалы, вышедшие в эфир.

В последнее время происходит расшатывание литературной нормы и в самой Белоруссии, как под воздействием тарашкевицы, так и из-за отсутствия достаточного контингента постоянных носителей этой нормы [Падлужны 1998: 28–32]. Как в устной речи (даже дикторской), так и в надписях постоянно нарушаются существующие нормы белорусского языка, часто под влиянием русского языка (Дрыгайла Зм. // БДГ 14 янв. 2000). В целом можно отметить большую вариантность, характерную для белорусского литературного языка (по сравнению с русским, например), связанную как с недолгой его историей, так и с большей опорой на диалекты [Запрудскі 1999: 20–26].

Умение говорить на литературном белорусском языке у большинства его носителей (до 50 лет) вырабатывается не в детстве при естественном общении в семье и на улице, а путем специального обучения: обычно – в школе, реже – на отделениях белорусистики в вузах, в 1990–1995 гг. на специальных языковых курсах для студентов, преподавателей, служащих [Мечковская 1994: 312]. Иногда встречаются энтузиасты и/или патриоты, говорившие всю жизнь по-русски (нередко русские же по национальности), но в какой-то момент решившие выучить белорусский язык и теперь старающиеся на нем говорить, а нередко и писать.

Белорусский диалектный язык представлен "основной группировкой говоров" и говорами Западного Полесья. Первая делится на северо-восточные, юго-западные и промежуточные центральные говоры. Большая часть говорящих по-белорусски является носителями именно диалектной речи, большинство из них в той или иной мере владеет и литературной нормой (хотя пользуются ей гораздо реже, чем родным диалектом или русским языком). В большинстве исследований хоть и указывается на то, что под белорусским имеется в виду как литературный, так и местный (= диалектный), но нигде не проводится различия между ними.

2.2. РУССКИЙ ЯЗЫК

Русский язык в Белоруссии гораздо более однороден, но также представлен несколькими вариантами. Литературный русский язык в своих письменной и разговорной формах распространен повсеместно, однако степень владения им варьирует от хорошего литературного языка, максимум с легкой белорусской интонацией, до сильно смешанной речи, которая уже скорее относится к "трясанке".

Основные интерферентные явления, характерные для русской речи белорусов (в меньшей степени русского населения Белоруссии), объединяются под общим понятием "белорусский акцент". Основные его черты следующие.

Фонетические: н а и б о л е е р е г у л я р н ы е ч е р т ы: особая интонация (особенно в вопросительных предложениях); фрикативное [γ] (*гара*) и соответствующий ему глухой [x] на конце слов (*я не смох*); меньшая редукция безударных гласных (*памагать* вместо *пъмегать*, *японец* всего *јипонец* (яканье)); твердые [ч], [шч] (русс. "щ"); цеканье (*ехаць*, *цёмный*) и дзеканье (*дзядзька*); неправильное место ударения (*зиму́*, *четырна́дцать*); м е н е е р е г у л я р н ы е: двойные мягкие согласные (*варенне*, *вяселле*); только твердое [p]; губногубной [ў] (*быў*, *траўка*); твердые губные на конце слов (*сем*, *стен*) [Мельникова 1999а: 52–65; Мечковская 1994: 312].

Морфологические. Несмотря на то, что морфологическая система языка наиболее непроницаема для внешних явлений, отдельные случаи интерференции наблюдаются и в этой сфере. Довольно часто встречаются следующие явления: неправильный выбор рода существительных (*собака съел*; *крававый мозоль*); неправильное употребление числа существительных (*мы собирали малины*; слова выделены красным чернилам); ошибочные флексии при склонении (*без погонов*; *мы с папом*; *по окне*; *на зеленым*);

формы без *-т#* или с *-ть#* в 3-м лице глаголов в настоящем времени (*дыхае, рисуе; беретъ, глядятъ*); использование укороченного варианта суффикса несовершенного вида (*подкрадваться, выкрайвать*) [Вешторт 1999: 65–73].

Лексические. В русской речи белорусов встречается немало белорусских слов: *завея* "метель" (*Сегодня сильная завея*), *страта* "потеря хода (в игре)" (*Ты сделала страту*). Часто встречается неправильное употребление русских слов под влиянием их белорусских эквивалентов: *Вчера у друга было веселье* (бел. *вяселле* "свадьба"); стилистические ошибки: *Встреча глав держав* (вместо *государств*)¹¹ [Николаева 1999: 73–83]. Помимо ошибок в русском языке имеются и слова, расцениваемые как нормальные, но отсутствующие в русском языке России: *шильда* "рекламный щит на улице" (бел. *шыльда* "вывеска").

2.3. РУССКО-БЕЛОРУССКОЕ ДВУАЗЫЧИЕ

В терминах социолингвистики русско-белорусское двуязычие можно охарактеризовать следующим образом:

- несмотря на то, что людей, в основном пользующихся русским, больше, из-за близкого родства языков большинство населения понимает речь на обоих языках, а значительные группы носителей активно пользуются обоими языками; индивидуальное двуязычие в Белоруссии носит массовый характер;
- нечеткость распределения **функций** и сфер использования языков (в том числе по оси престижность – непрестижность) не позволяет считать русско-белорусское двуязычие диглоссией (вопреки [Wexler 1992]); дублированию функций способствует тот факт, что оба основных языка имеют статус **государственного**;
- наличие существенных различий в использовании языков между крупными **городами**, мелкими городами и **деревней** – города Белоруссии являются в основном русскоязычными еще с прошлого века, причем и до этого они были во многом польскоязычными; в то же время не наблюдается существенных различий в распределении языков между отдельными частями страны;
- **интерферентные** явления наблюдаются как в белорусской, так и в русской речи жителей Белоруссии; интенсивность интерференции широко варьирует в зависимости от образования, языковой среды, профессии, возраста и национальности говорящих; однако нельзя сказать, что в Белоруссии вообще не знают как следует ни белорусского, ни русского [Dingley 1989: 186];
- наличие вышеприведенных факторов приводит к тому, что значительный процент людей говорит на промежуточных или **смешанных** формах речи, объединяемых под термином "трасянка" [Мечковская 1994: 311; Вешторт 1999: 94].
- **символическое** значение белорусского языка больше, чем коммуникативное, хотя немалая часть населения, включая власти, не очень принимает белорусский язык даже в качестве символа.

2.4. "ТРАСЯНКА"

Наравне с русским и белорусским языками в Белоруссии существует и промежуточная форма смешанной речи – так называемая "трасянка".

Сам термин возник, видимо, не так давно. Так В. Ластовский в 30-е годы называл это явление "чаўня" [Цыхун 1998: 83]. Уже в последнее десятилетие наряду с термином "трасянка" используются более общие названия: "смешанная речь" [Типология 1999], "змешанае беларуска-рускае прастамоўе" [Сямешка 1998: 45–46], "смешанный язык", "мешанина", "ломанина" и аналогичные. Буквально словом "трасянка" [иногда в

¹¹ В белорусском, в отличие от русского, в этом значении есть только одно слово *дзяржава*, стилистически нейтральное.

российской периодике оно пишется через "о": "тросянка" (ЛГ. 19 нояб. 1997)] называется смесь сена и соломы, используемая в качестве корма для скота, которая по качеству сильно уступает чистому сену; смысл "недоброкачественная смесь" и был перенесен в языковую сферу¹².

Что касается самого явления, то под тряснянкой обычно понимают "множество стихийно по-разному русифицированных индивидуальных вариантов белорусской речи" [Мечковская 1994: 312] или, иными словами, "язык, основанный на белорусском, но с большим количеством разноуровневых элементов русского языка" [Вешторт 1999: 93]. Иногда, под ней понимают "русский язык, перенасыщенный элементами разных уровней белорусского" [Вешторт 1999: 93]. Трясянка имеет, как правило, белорусскую фонетику и интонацию, смешанную морфологию и двойной набор лексики. Определить основу тряснянки – русскую или белорусскую – реально очень сложно из-за близости языков и большого количества отклонений от нормы. "Считается, что смешанная речь относится к тому языку, к какому относится грамматический строй речи. В практике же бываете случаи, когда, например, предлог белорусский, а окончание русское (*аб чалавеке*) или, наоборот, союзы белорусские, что затрудняет использование этого принципа" [Вешторт 1999: 98].

Жесткой границы между тряснянкой и русским и белорусскими языками, естественно, не существует. Но в качестве рабочего критерия можно принять, что русским языком с белорусским акцентом мы называем речь с преимущественно русской лексикой, белорусской фонетикой и в основном русской морфологией (кроме некоторых широко распространенных явлений, см. п. 3.2). Речь со смешанной лексикой (с большим процентом русской лексики) и морфологией и белорусской фонетикой мы будем считать тряснянкой. Наконец, для белорусского языка с русским влиянием характерны смешанная фонетика и отдельные русские вкрапления в белорусские лексику и морфологию. Другой вопрос, что сами носители могут очень по-разному оценивать свою речь, опираясь скорее на экстралингвистические факторы. Поэтому выяснить количество людей, говорящих на "трясянке", путем опроса очень сложно.

Вот один из примеров¹³ тряснянки: *Шчас пагляджу, якіе сапожкі прадаюць* (Минск). Здесь налицо белорусская фонетика (*шч, дж, -ць*); лексика представлена и белорусской (*якіе*) и русской [*шчас* (= сейчас), *сапожкі*], лексемы *прадаюць* (продают) и *пагляджу* (погляжу) есть как в русском, так и в белорусском языках. Большое количество примеров представлено в статье Г.А. Цыхуна [Цыхун 1998: 83–89].

По нормативному статусу, как считает Л.П. Крысин, эти "образования (речь идет о "трясянке" и "суржике" – Ю.К.) близки к городскому просторечию: они аномативны, возникают и функционируют стихийно, реализуются исключительно в устной речи, преимущественно в городских ситуациях общения" [Крысин 1999: 9]. Впрочем, последние два утверждения не совсем верны для тряснянки: иногда она проникает в эпиграфику, стенгазеты и другие письменные тексты, отражающие разговорную речь; в городских же ситуациях тряснянку все больше вытесняет русский язык, и сейчас ее скорее можно услышать в устах сельских жителей. Также, в отличие от просторечия "трясянка" (и "суржик") содержат элементы разных, хотя и близкородственных, языков.

Феномен "трясянки", как смешанной формы двух языковых образований не уникален в мировой практике. Аналогичные явления характерны для стран, где *а к р о л е к т* (литературный язык) родственен, но заметно отличается от *б а з и л е к т а* (местных "диалектов", часто фактически языков), и где происходит стирание наиболее

¹² Аналогичное явление в украинском языке называется "суржик": «Слово "суржик" давно вимове в Україні, насамперед у млинарстві. Суржи́ком називали мішанину зерна – жита, пшениці, вівса, а також муку з такого зерна; це були не першосортне зерно та низького сорту мука» [Антисуржик 1994].

¹³ Есть интересная шутка, связанная с происхождением тряснянки: "Чалавек з вескі (*деревни*) паехаў у горад. Сусед пытае (*спрашывае*): – Ну, як з'ездзіў? – А нішто. Туды ехаў – *гляджу*: на дарозе ляжыць *палена*. Назад еду – *сматру*: ляжыць *браўно*" (Радио "Свабода". 18 июля 1997).

резких локальных отличий и образование промежуточных форм (мезолекта). Среди примеров можно назвать Германию (обиходно-разговорный язык [Филичева 1983: 47–63]), арабские страны, Японию (новые диалекты, "в которых существуют как элементы прежних диалектов, так и литературные, а также элементы, которые не существуют нигде, кроме новых диалектов" [Алпатов 1988: 19–24]). В нашей ситуации место акролекта занимает русский (литературный) язык, а место базилекта – традиционные белорусские диалекты. В качестве мезолекта выступает или белорусский вариант русского языка (в крупных городах), или трасянка. Литературный белорусский язык является акролектом для ограниченного круга лиц.

Вскоре после войны трасянка начала активно распространяться в городах, особенно среди горожан, недавно переселившихся из деревни, в то время как в деревне и в небольших городках разговаривали преимущественно на местном белорусском языке. Однако постепенно в крупных городах ее почти вытеснил русский язык, зато она проникла в деревню и стала там активно распространяться. Ныне наиболее сильные позиции трасянка занимает в небольших городках и в деревне; меньше трасянкой пользуются в крупных городах, особенно в Минске.

3. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СФЕРЫ И ФУНКЦИИ

3.1. СМИ И КНИГИ

Читать, слушать и смотреть средства массовой информации жители Белоруссии предпочитают по-русски (или по-русски и по-белорусски). Так, преимущественно на русском языке читают литературу 58% (на обоих языках 36%), смотрят телевидение 45% (44%), слушают радио 41% (49%) (на основе данных из [Типология 1999]). Впрочем, в таком преобладании русского языка существенную роль играют такие факторы, как отсутствие интересных белорусскоязычных газет, передач, телезвезд, куиров эстрады.

ТВ и радио. К 2001 году на территории Республики Беларусь вещало пять ТВ каналов: только по 1-му каналу шло вещание государственной Белтелерадиокомпании (БТ); остальные четыре занимают российские компании; ОРТ, РТР, НТВ и "Санкт-Петербург" (прием последних трех каналов возможен не на всей территории Белоруссии). Официально 75% передач на БТ идет на белорусском языке, остальное – на русском (Чикин В. // АиФ в Беларуси. 6 дек. 2000). Фактически, многие передачи имеют лишь белорусские субтитры и название, сама же передача целиком идет по-русски. В приграничных западных районах желающие принимают программы польского ТВ. Постепенно распространяется кабельное ТВ (только на русском языке).

Сетевое радио обслуживается той же Белтелерадиокомпанией с аналогичным распределением языков. Большинство остальных радиостанций русскоязычны, особенно это касается молодежного FM-диапазона. Исключениями являются радио "Столица" и некоторые передачи на других радиостанциях, например, "Беларуская гадзінка" на радио "Стиль" (БДГ. 19 фев. 2000). Особым случаем является белорусская служба американского радио "Свобода", вещающая только на белорусском языке.

Пресса. На 1 мая 2000 года в РБ было зарегистрировано 1160 периодических изданий. Белорусскоязычными являются 118 (10%), 209 изданий заявляют, что они выходят на белорусском и русском языках, 271 (всего 41%) – русском и белорусском языках. В действительности, очень часто так называемые двуязычные издания используют белорусский язык только в названиях или в выходных сведениях.

Интернет. К основным СМИ в последнее время добавился Интернет (или Сеть). На просторах бывшего СССР все еще продолжается бурный рост сайтов, но можно уже сделать некоторые выводы о языковых предпочтениях в этой области. Они должны быть особенно интересны в связи с тем, что в отличие от других СМИ, для организации своего сайта не нужно официального разрешения, никто не будет следить за тем, что ты пишешь, как и на каком языке. Поэтому распределение языков в

белорусской сети может косвенно¹⁴ свидетельствовать о реальных предпочтениях жителей Белоруссии.

С 5 по 20 марта 2001 года в сети был проведен опрос "Отношение ВУNET¹⁵ к белорусскому языку" среди жителей Белоруссии и всех, кто посещает белорусские (не только на белорусском языке) ресурсы в сети. Всего было опрошено 1 378 человек. Согласно результатам этого опроса сайты на белорусском языке часто или регулярно посещают 51%, иногда – 37%, никогда – 8%. Из всех имеющих свои сайты, имеют сайт или версию по-белорусски 44%, собираются это сделать 17%, не собираются – 38%. Из опрошенных, на белорусском языке общаются (не только в сети) 27% (довольно высокий процент, учитывая, что большинство опрошенных, скорее всего, горожане), на русском – 65%. Думают же, как утверждают, 31% по-белорусски, 64% по-русски. Положительно относятся к белорусскому языку 71%, отрицательно – 8%. Учитывая комментарии к данному опросу, которые оставили многие участники, можно сделать вывод, что ответы о речевом поведении не всегда соответствуют действительности, а часто отражают стремления людей [Отношение ВУNET 2001].

Книги. В продукции белорусских издательств, за исключением издательств, специализирующихся на выпуске художественной литературы, до 1992 года преобладали книги на русском языке. В 80-х гг. выпуск книг на белорусском языке составлял по числу названий около 26%, а по тиражу – 16% [Кротюк 90]. Государственная политика белорусизации способствовала в 1993–1995 гг. увеличению доли белорусскоязычных изданий, однако общее тяжелое экономическое положение приводило к сокращению выпуска книг на обоих языках.

После провозглашения русского вторым государственным языком и прекращения государственной политики белорусизации, соотношение числа книг на русском и белорусском языках стало резко изменяться в сторону русского языка. К этому еще больше приводила коммерциализация книжного дела, так как книги стали выпускать в зависимости от спроса, а спрос на белорусскоязычную литературу невысок. Впервые после референдума 1995 года выпуск книг на белорусском языке вырос в 1998 году и достиг 30,3% по числу названий и 35,8% по тиражу. В основном это книги государственных издательств, в которых книги на белорусском языке финансируются на 50%, а детские – на 70–75% (детские книги на русском языке финансируются только на 50%) (Падгайны М. // Звезда. 15 фев. 2000). Однако в 1999 году выпуск книг на белорусском языке опять сократился, составив 10,6% по числу названий и 8% по тиражу (Гаравы М. // Звезда. 17 фев. 2000).

Литература. В последние годы продолжает развиваться литературное белорусское творчество. По-прежнему выходят литературные журналы, появляются новые имена. Так, среди молодых поэтов можно назвать: Л. Голубовича, А. Глобуса, А. Сыса, С. Соколова-Воюша и других [Беларусазнаўства 1998: 168].

Большинство известных еще с прошлых лет писателей Белоруссии продолжает свое творчество. Так, в 2000 году вышел сборник рассказов В. Быкова "Пахаджанне", изданный в Вильнюсе. Каждую неделю на белорусском языке выходит официальная газета творческой интеллигенции Белоруссии "Літаратура і мастацтва". Каждый месяц выходит независимый журнал белорусской интеллигенции ARCHE¹⁶, появившийся в 1998 году. Статьи в нем пишутся как с использованием традиционной орфографии ("наркомовки"), так и "тарашкевицы", а иногда и с использованием белорусской латиницы.

¹⁴ С поправкой на то, что доступ к сети в РБ имеет незначительный процент людей.

¹⁵ Образование аналогичное "Рунет". От слов ВУ "окончание адресов серверов, зарегистрированных в Белоруссии (как RU для России) и NET "сеть". Произносится "байнет" и означает "белорусская сеть".

¹⁶ Доступен также в интернете по адресам: <http://arche.home.by>; <http://archeweb.hypermart.net>.

Школьное. К концу 1980-х годов языковая ситуация в школах была следующей: в 69,8% школ обучение было на белорусском языке, в 29,9% – на русском и в 0,3% – на обоих языках. В то же время, в первых обучалось лишь 23% учащихся, а во вторых – 76,8%, и в школах с двумя языками обучения – 0,2% (данные Минпроса на 1987 из [Кунцевич 1999: 140–141]). Ни одной школы с белорусским языком обучения не было в столице, областных и районных центрах (кроме одной показательной школы в райцентре Мосты Гродненской области). Все они находились в сельской местности. Впрочем, белорусскоязычность школ часто была достаточно формальной. "Вне уроков и учителя, и ученики разговаривают чаще всего по-русски или на диалекте, многие предметы преподаются на русском языке, оформление школ (плакаты, стенды, объявления, настенные газеты, классные уголки и т.д.) чаще всего делается на русском языке и в сельских, и в городских школах. Учителя истории, химии, физики, биологии многие наглядные пособия получают на русском языке. Часто даже контрольные по математике, физике присылают в школы с белорусским языком обучения на русском языке, и учитель, прежде чем дать их детям, должен перевести эти работы на белорусский язык. В программе средней школы для 4–10-х классов в школе с русским языком обучения отводится 1 380 часов на русский язык и литературу, 783 – на белорусский язык и литературу, в школе с белорусским языком обучения соответственно 1 279 и 886 часов" [Кунцевич 1999: 141].

Ситуация начала меняться после 1990 года, стал увеличиваться процент белорусскоязычных школ и классов. Причем, нередко это делалась, как и раньше, директивным путем, что приводило к конфликтам. Так, в Гродно был отклонен судебный иск родителей к городским властям (преобразовавшим русскую школу в белорусскую), на том основании, что по паспорту родители большинства школьников – белорусы [Дрозд 1992]. "При отсутствии достаточной кадровой подготовки, соответствующей базы, без учета мнения людей число первых классов с белорусским языком обучения увеличилось с 20% в 1989 году до 75% в 1994 году" [Авласевич 1996: 6]. Такая резкая и непродуманная "белорусизация" была одной из причин как вынесения вопроса о языке на референдум, так и столь большого процента положительных ответов на него. "Референдум показал, что такие тонкие понятия, как национальное самосознание, национальное возрождение формируются, воспитываются с детства, а не разовыми декларациями и приказами" [Там же].

После референдума при определении языка обучения стали учитывать мнение родителей. Число первоклассников с белорусским языком обучения сократилось до 37% в 1996 году и до 4,7% в 1999 году. Помимо русификации городских школ, которые стали белорусскими всего за несколько лет до этого, наблюдается тенденция перевода на русский язык обучения и сельских школ (чего не было даже в застойные годы). Так в 1997–1998 учебном году на русский язык были переведены 55 сельских школ, а в следующем еще 32 школы (Аксак В. // Радио "Свабода". 18 фев. 2000).

Всего в 1999/2000 учебном году 61,7% школ в РБ было белорусскоязычными, 24,8% – русскоязычными, 13,5% – смешанные. Но так как белорусские школы располагаются в основном в деревне, их посещало всего 30% учащихся (Звезда. 21 апр. 2000). В Минске в этом учебном году было 11 (4,5%) белорусских школ, в том числе белорусский гуманитарный лицей. В нескольких районах, а также в центре Минска не было ни одной белорусской школы (НН. 3 апр. 2000). Однако по инициативе городского родительского комитета при ТБМ в следующем учебном году одна из школ в центре Минска впервые после референдума провела набор в белорусскоязычный первый класс (Аксак В. // Радио "Свабода". 1 сент. 2000).

Помимо прочих причин, уменьшение числа белорусских школ и классов имеет и чисто практическое основания: так как в стране нет ни одного среднего или высшего учебного заведения с преподаванием по-белорусски, то готовить детей к поступлению в русскоязычные институты лучше в русскоязычной же школе.

Высшее. В Белоруссии почти 50 высших учебных заведений, но нет ни одного, где

бы обучение велось только по-белорусски или поровну по-русски и по-белорусски. Белорусский является языком обучения только на факультетах и кафедрах белорусского языка и литературы. На всех остальных факультетов преподавание ведется по-русски.

Последнее время разрабатывается идея о создании в Минске Белорусского народного университета, где бы все преподавание шло на белорусском языке. В нем могли бы продолжать свою учебу выпускники белорусских школ и белорусского лицея в Минске. Однако пока эта идея не нашла поддержки в Министерстве образования (Звезда. 19 фев. 2000; Рэгіянальная газета. 22 марта 2000). Вместо этого оно предлагает организовать в вузах по два потока: белорусскоязычный и русскоязычный (Наша свабода. 1 сент. 2000).

3.3. ПОЛИТИКА

В первой половине 1990-х годов власть в целом придерживалась политики белорусизации: был принят Закон о языках, вопрос о языках не выносился на всенародный референдум. Так продолжалось до 1994 года.

После утверждения русского языка вторым государственным языком в 1995 г. белорусский язык перестал активно поддерживаться официальными властями. Языком учреждений является в основном русский, на нем же издаются государственные акты (в редких случаях на обоих языках). Некоторые официальные вывески и надписи (в метро, на улицах, на учреждениях, на билетах и т.д.) сделаны по-белорусски или на обоих языках.

До 1994 года белорусская оппозиция принимала активное участие в политической жизни страны. После 1995 года она потеряла свои позиции в государственных структурах и была оттеснена на периферию политической жизни страны. Большинство оппозиционных партий осторожно высказывается по вопросам языка, признавая его важность для национального возрождения страны. При этом, если по позиции о защите белорусского языка оппозиция достаточно единодушна, то относительно места русского языка единого мнения не наблюдается. Если умеренная оппозиция согласна на сохранение в стране двуязычия, то более крайние ("прозападные") партии считают необходимым полное удаление русского языка из общественно значимых сфер жизни.

3.4. ЦЕРКОВЬ

Основными конфессиями на территории Республики Беларусь являются православие и католицизм, помимо них существует немало протестантских общин, некоторое число традиционных мусульман, иудеев и униатов.

Православная церковь. Православные верующие Белоруссии объединяются в Белорусскую православную церковь, которая является экзархатом Русской православной церкви. Основным языком богослужения в РПЦ¹⁷, а следовательно и в БПЦ, является церковнославянский язык. При этом прочие языки могут использоваться в дополнительных службах (молебны, панихиды и другие), не входящих в суточный богослужебный круг [Чарота 1998: 147]. Перевод литургии и других богослужений на другие языки практикуется в случае, если для большинства прихожан церковнославянский оказывается совершенно непонятен¹⁸. Понятность же церковнославянского для среднего белоруса едва ли ниже, чем для среднего русского. Он используется в православных богослужениях на территории Белоруссии более тысячи лет, и требования о переводе всех богослужений на белорусский аналогичны требованиям о переводе их на русский. Тем не менее, учитывая сложную языковую ситуацию и идя

¹⁷ Как и в некоторых других православных церквях: в Сербской, Болгарской, Македонской, частично в Чехо-Словацкой и в Польской, а некогда и в Румынской.

¹⁸ Так было сделано, например, в свое время в Японии, где святой равноапостольный святитель Николай Японский перевел на японский все богослужебные тексты, так что теперь все службы там идут на японском языке [Уляхин 1993: 162].

навстречу многочисленным требованиям верующих и общественных организаций, БПЦ перевела литургию на белорусский язык, и 20 июня 1999 года, в день праздника Собора всех белорусских святых, была впервые отслужена литургия на белорусском языке на территории Гродненской епархии, в древнем Коложском храме.

Другое дело – язык вне богослужения: проповеди, общение с прихожанами, церковная пресса и литература. В этих случаях естественно использовать язык, наиболее понятный для большинства прихожан. Однако для большинства верующих основным языком является все тот же русский. Поэтому он превалирует и в проповеди, и во внутреннем церковном общении. И, тем не менее, на белорусском языке выпускаются некоторые православные газеты (например, "Царкоўнае слова" в Минске), издаются книги.

Уже более 10 лет работает Белорусская библейская комиссия. За это время было издано "Евангелие от Матфея на четырех языках (эллинском, славянском, российском и белорусском)", 1991 и "Евангелие от Марка", 1998, подготовлены Евангелие от Иоанна и краткий церковнославянско-белорусский словарь [Чарота 1998: 147–48].

Католическая церковь. Большинство католиков в западных районах страны считает себя поляками. Соответственно, языком богослужения, церковного книгоиздания и проповеди там является преимущественно польский язык. Тем не менее, например, в Гродненском костеле по воскресеньям одно из богослужений совершается на белорусском языке.

Католические приходы в других частях Белоруссии являются более белорусскими, поэтому там давно и активно идет работа по использованию белорусского языка. На нем ведется богослужение (наряду с польским), читаются проповеди и издается литература (наряду с русским).

Протестанты. В большинстве протестантских общин (которые располагаются в основном в городах) рабочим языком является русский.

3.5. СИМВОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

Как верно замечает Н.Б. Мечковская, "у белорусского языка его этническая функция (быть национальным символом, консолидировать народ и отличать его от других этносов) первенствует над основной функцией языка (коммуникативной)" [Мечковская 1994: 308]; В.М. Алпатов отмечает, что "символическое значение белорусского языка, как и ирландского, больше, чем коммуникативное, и немалая часть населения, включая президента, не очень принимает белорусский язык даже в качестве символа" [Алпатов 1997: 172].

Тот факт, что родной язык совсем не обязательно был первым языком, которому учился и на котором разговаривал в детстве человек, показывают данные социолингвистических исследований. Так, согласно опросу жителей Минска, проведенному в 1997 году Институтом языкознания НАН Белоруссии [Лукашанец 1998: 83–90], только 40% тех, кто назвал своим родным языком белорусский, научились разговаривать на нем в детстве. При том, что всего 43% минчан и 48% минчан-белорусов назвали своим родным языком белорусский. Всего научились разговаривать на белорусском языке в детстве 17% минчан.

В результате "родной язык" (во всяком случае в приложении к белорусскому языку) является самостоятельной сущностью, не связанной непосредственно с языковым поведением человека. Он выполняет важную символическую функцию, когда человек знает, что он белорус, его предки жили в Белоруссии, он сам в какой-то степени (как минимум для понимания) владеет белорусским языком, но в реальной жизни может им практически не пользоваться. Можно было бы отождествить эту функцию с национальной принадлежностью, но некоторая часть белорусов (около 15%) называет своим родным языком русский. Впрочем, можно предположить, что они-то как раз имеют в виду под родным языком основной язык общения.

4.1. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

В Белоруссии не наблюдается существенных различий в распределении белорусского и русского языков между отдельными частями страны. Впрочем, можно проследить некоторые колебания на уровне областей.

Наиболее белорусскоязычной оказалась **Гомельская** область. Большая ее часть была присоединена к БССР лишь в 1926 году, и тогда родным белорусский язык считали лишь около 20% населения этой части. В конце 1980-х белорусским языком здесь пользовались 60% селян и 26% горожан (трасянок – 9%). Здесь же, действительно был выше и процент использования русского языка: 48% среди горожан и 25–30% среди селян. По результатам переписи 1999 года белорусским языком дома пользуются более 34%, русским около 65%. Хотя родным белорусский считают 71% населения области (Такоева И. // Советская Белоруссия. 29 марта 2000). Далее, довольно близкой ситуацией характеризуются **Брестская** область: 48% пользуются русским и 12% – белорусским (16% – трасянкой); **Минская** область: 42% и 13% (26%); и **Гродненская** область: 41% и 17% (10%). И, наконец, наименее белорусскоязычным оказывается северо-восточный регион: **Витебская** обл.: в сельской местности 23% общается по-белорусски (36% на трасянке) и в городах – 8% (38%) [в 1999 г. заявило, что общается дома по-белорусски 31% населения области (НС. 17 мая 2000)]; **Могилевская** обл.: 19% (39%) и 4% (27%). В этих же областях наблюдается и наибольшее распространение трасянки, которая значительно преобладает даже над русским языком, особенно на Витебщине [Типология 1999].

4.2. ГОРОД/СЕЛО

Гораздо более важным в языковой ситуации в Белоруссии является противопоставление города и села.

Город. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в городах Белоруссии преимущественно белорусским языком при общении пользовались в среднем от 13 до 23% (в зависимости от исследования), в основном русским – от 45 до 23%, в основном трасянкой – от 19 до 29%, остальные (23–25%) пользовались одновременно белорусским и русским языками.

Наиболее активно белорусский язык использовался в семье (21–30%), особенно при общении с родителями (34–36%). В целом, по использованию языка в семье люди распределяются на примерно равные группы: русским пользуются 17–30%, трасянкой – 20–28%, русским и белорусским – 26–29%.

Что касается **внесемейного общения**, то здесь белорусский язык используется несколько меньше, соответственно возрастает доля русского языка. В среднем, на использование преимущественно белорусского языка в общении с о знакомыми (друзьями, сослуживцами, соседями) указывают 13–21% информантов, русского – 24–36%, трасянки – 23–31%, обоих языков – 24–28%. Роль русского языка еще более возрастает в общении с незнакомыми людьми. В таких ситуациях (в общественных местах, на выступлениях) в основном белорусским языком пользуются 7–18%, русским – 31–69%, трасянкой – 13–29%, обоими языками (русским и белорусским) – 11–22%.

Село. Традиционным оплотом белорусского языка по праву считается деревня. Вот что писал об этом, к примеру, известный белорусский писатель В. Быков: "Будучи рожденным на сельских, лесных просторах, многие столетия выражавший душу и дух белорусского крестьянства, этот язык плохо адаптируется к новым, далеко не крестьянским условиям. Великолечно приспособленный к сельской природе, крестьянскому быту, он оказался чужим среди каменных громадин города, в бензиновом чаду урбанизированного общества" (Дружба народов, 1988. № 6, с. 255).

Согласно исследованиям конца 1980-х – начала 1990-х гг. в сельской местности преимущественно белорусским языком п р и о б щ е н и и пользовались в среднем от 39 до 51% (в зависимости от исследования), в основном русским – от 9 до 21%, в основном трасянкой – от 16 до 28%, остальные (12–24%) пользовались одновременно белорусским и русским языками.

Наиболее активно белорусский язык использовался в **семье** (48–59%), особенно при общении с родителями (57–62%). В целом, по использованию языка в семье люди распределяются следующим образом: русским пользуются 6–11%, трасянкой – 18–22%, русским и белорусским – 14–23%.

Что касается **внесемейного общения**, то здесь белорусский язык используется несколько меньше, но возрастает доля использования обоих языков. В среднем, на использование преимущественно белорусского языка в общении со знакомыми (друзьями, сослуживцами, соседями) указывают 37–50% информантов, русского – 9–17%, трасянки – 14–28%, обоих языков – 13–32%. Роль русского языка и трасянки значительно возрастает при общении с незнакомыми людьми. В таких ситуациях (в общественных местах, на выступлениях) в основном белорусским языком пользуются 25–36%, русским – 16–46%, трасянкой – 16–39%. обоими языками – 9–14%.

Разноязычие города и села. Таким образом, город является основным оплотом русского языка в Белоруссии, в то время как белорусский язык сохраняется преимущественно в деревнях.

Ситуация р а з н о я з ы ч и я города и деревни начала складываться еще в XVI–XVII веках, после вхождения белорусских земель в Речь Посполитую. Тогда в белорусских городах начал активно распространяться польский язык, село же в основном сохраняло исконные восточнославянские диалекты. Аналогичная ситуация была характерна для многих стран вплоть до XX века. Однако в большинстве (Венгрия, Латвия, Чехия и др.) из них в городах в конце концов возобладал язык предков. Благодаря жесткой языковой политике и смене престижности у языков сельское население, массово переселяясь в города, не переходило как раньше на язык города, а сохраняло свой родной язык. Более того, и горожане постепенно усваивали чужой для них язык деревни.

В белорусских городах польский язык со временем сменился русским (примерно в первой половине XIX века). Однако поскольку Белоруссия в составе СССР так и не стала полноценным независимым государством, языковая политика никогда не была в ней столь жесткой, а русский (который оставался языком центра) так и не стал менее престижным, чем белорусский. Поэтому никакой наплыв сельского населения в города (а он в течение XX-го столетия был немалым) уже ничего не смог изменить. Первое поколение еще как-то использовало язык предков, затем переходило на трасянку, а последующие поколения уже становились русскоязычными. Во время белорусизации удавалось сохранять белорусский язык в деревне и поддерживать некоторый минимальный уровень его использования в городах. Но с изменением общегосударственной политики уже деревня стало переходить на язык горожан, обычно через промежуточную ступень – трасянку.

Такое же развитие ситуации характерно, например, для французской Швейцарии, где местный франкопровансальский язык¹⁹ также не имеет никакого статуса и, потеряв уже давно опору в городах, теперь уже почти вытеснен французским языком и в деревнях.

¹⁹ Франкопровансальский язык представляет собой совокупность говоров, распространенных на территории восточной Франции, французской Швейцарии и северо-западной Италии. Практически повсеместно он вытеснен французским и/или итальянским языком. Общее число говорящих не превышает 180 тыс. человек (в большинстве люди старше 60 лет), что составляет менее 5% от населения данной территории.

4.3. УРОВНИ ЯЗЫКОВОГО КОНТИНУУМА

Во многих языковых ситуациях языки (или разновидности одного языка) могут образовывать вертикальный континуум, на верхних уровнях которого располагается литературный и/или официальный язык, на средних – языки межгруппового неофициального общения, на нижних – язык общения внутри семьи или среди друзей, коллег (часто – это традиционные говоры, сохраняющиеся лишь в узком кругу, только у лиц старшего поколения). При описании таких языковых ситуаций удобно иметь термины для каждого из уровней. Одним из возможных вариантов является триада "акролект – мезолект – базилект"²⁰, широко используемая в креолистике²⁰.

В Белоруссии два языка и трасянка также заметно распределены по уровням языкового континуума (акролект – мезолект – базилект). Крупные города: подавляющее большинство – русский, немного трасянки и литературного белорусского языка. Средние и мелкие города: поровну русский и трасянка, немного белорусского языка. Село: поровну трасянка и белорусские говоры, заметно присутствие русского и белорусского литературного языка. Акролектом, как правило, всегда является русский язык; мезолектом может быть русский (в городах) или трасянка (в деревне); базилектом в средних городах является трасянка, а в деревнях обычно белорусские говоры. Белорусский литературный язык находится вне этой схемы, являясь акролектом для очень узкой прослойки национально ориентированной интеллигенции (см. Таблицу 3).

Таблица 3

Распределение языков Белоруссии по уровням языкового континуума

	Крупные города	Средние города	Мелкие города	Деревня
Акролект	Р; БЛ	Р	Р	Р; Т
Мезолект	Р	Р/Т	Р; Т	Т
Базилект	Р/Т	Т	Т/Б	Б

Р – русский язык; Т – трасянка; Б – белорусские говоры; БЛ – белорусский литературный язык.

5. БУДУЩЕЕ БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА

5.1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЯЗЫКОВУЮ СИТУАЦИЮ

Говоря о будущем белорусского языка, необходимо рассмотреть факторы, влияющие на языковую ситуацию. Прежде всего, это о б ъ е к т и в н ы е факторы (существующие уже давно, которые нельзя изменить в короткий срок):

лингвистические факторы

- 1) генетическая близость белорусского и русского языков – достаточная для хорошего взаимопонимания между носителями;
- 2) диалекты белорусского языка плавно переходят в диалекты русского, образуя диалектный континуум;

²⁰ Эти термины в креолистике используются для описания так называемого пост-креольского континуума, где обозначают наиболее удаленную от лексификатора разновидность креола (б а з и л е к т) и наиболее близкую к нему (а к р о л е к т) с серией промежуточных разновидностей (м е з о л е к т о в) [Беликов, Крысин 2001].

социолингвистические факторы

3) белорусский и русский язык традиционно считаются **отдельными языками** – несмотря на то, что генетически они сильно ближе друг к другу, чем некоторые идиомы, традиционно считаемые диалектами одного языка; этому способствует наличие литературных языков и разное этническое самосознание;

4) наличие у белорусского языка кодифицированной **нормы**, хотя с большей степенью варьирования, чем, скажем, у русского;

5) наличие у белорусского языка **традиционных** диалектов;

6) малое распространение **общеразговорной** формы языка;

7) давняя и глубокая **русификация** приводит к тому, что людей, в основном пользующихся русским, больше; однако из-за близкого родства языков большинство населения понимает речь на обоих языках, а значительные группы носителей активно пользуются обоими языками;

8) русский язык для основной массы населения более **престижен** (за исключением недолгих периодов белорусского возрождения); он был основным государственным языком для населения Белоруссии на протяжении последних ста пятидесяти лет; высокий статус русского языка глубоко укоренился в сознании рядового белоруса;

9) нечеткость распределения **функций** и сфер использования языков (в том числе по оси престижность / непрестижность) приводит к дублированию одним языком функций другого;

10) наличие существенных различий в использовании языков между крупными **городами**, мелкими городами и **деревней** приводит к закреплению за белорусским статусом языка деревни;

11) наличие массового двуязычия и близости языков приводит к значительной интерференции и даже к образованию **смешанных** форм речи ("трасянки"), которыми пользуется значительная часть населения;

экстралингвистические факторы

12) близость белорусской **культуры** к русской – не говоря уже о современной культуре, которая практически ничем не отличается от русской, – даже традиционная белорусская культура достаточно близка к русской, благодаря многим факторам, как-то: общность религии, близость языка, долгое время нахождение в одном государстве, общие исторические корни; хотя среди некоторой части интеллигенции распространено противоположное мнение: близость культур – следствие искоренения исконно белорусской и насаждения чуждой белорусам русской культуры;

13) но, несмотря на это, белорусы считают себя и считаются другими **отдельным этносом**, хотя иногда в составе некой общерусской нации;

14) **символическое** значение белорусского языка больше, чем коммуникативное, хотя немалая часть населения не очень принимает белорусский язык даже в качестве символа;

15) тесные **связи** с Россией – Белоруссия находилась в одном государстве с Россией более двухсот лет, и даже сейчас обе страны находятся в тесном союзе друг с другом (прозрачные границы, тесные экономические связи и др.); отсутствие значительных национальных движений – по сравнению с другими странами (например, с соседними Литвой и Украиной) национальное движение в стране не носит массового характера;

16) отсутствие непрерывной многовековой **письменной** традиции – нормы литературного языка стали складываться фактически лишь в начале XX-го века.

Среди **субъективных** факторов (действующих недавно и/или быстро изменяемых) можно назвать:

17) парадоксальная языковая **политика** государства по отношению к белорусскому языку: оно его, с одной стороны, вытесняет (снижение числа школ с белорусским языком обучения, не использование его в администрации), а с другой – поддерживает (финансирует образование, культуру и так далее);

18) наличие двух **государственных** языков в РБ – этот фактор также может измениться как в одну, так и в другую сторону;

19) **неконкурентоспособность** белорусскоязычных СМИ и литературы по отношению к основным видам русскоязычной информации, циркулирующей в Белоруссии; качественное и количественное преобладание последней.

Из перечисленных факторов лишь шесть (3, 4, 5, 13, 19) имеют положительное значение для судьбы белорусского языка, четыре имеют или нейтральное (1, 2) или двойное (9, 18) значение, остальные двенадцать имеют для будущего белорусского языка скорее отрицательное значение. Впрочем, три из них относятся к субъективным факторам и могут измениться.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Авласевич М.А.* 1996 – Национально-языковые проблемы в Республике Беларусь // Материалы международного научного семинара, посвященного памяти О.В. Озаровского (27–28.02.1996). Могилев, 1996.
- Антисуржик 1994 – Вчимося ввічливо поводитись і правильно гаворыць / За загульную ред. О. Сербенської. Львів, 1994.
- Алпатов В.М.* 1997 – 150 языков и политика: 1917–1997. Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства М., 1997.
- Алпатов В.М.* 1988 – Япония. Язык и общество. М., 1988.
- Беларусы 1996 – Атлас. Мн., 1996.
- Беларусазнаўства 1998 – Навучальны дапаможнік. Мн., 1998.
- Беликов В.И., Крысин Л.П.* 2001 – Социолингвистика. М., 2001.
- Вешторт Г.Ф.* 1999 – Смешанные формы речи // Типология двуязычия и многоязычия в Беларуси. Мн., 1999.
- Жураўскі А.І.* 1967 – Гісторыя беларускай літаратурнай мовы. Т. I. 1967.
- Жураўскі Ф.І.* 1998 – Дэструктыўныя ўхілы ў сучаснай беларускай мове // Беларуская мова ў другой палове XX стагоддзя. (...) Мн., 1998.
- Запрудскі С.Т.* 1999 – Варыянтнасць у беларускай літаратурнай мове // IV Летні семінар беларускай мовы, літаратуры і культуры, 5.07–19.07.1999. Лекцыі. Мн., 1999.
- Коношківец М.И.* 1994 – Языковая ситуация в Белоруссии и особенности функционирования русского и белорусского языков // Язык в контексте общественного развития. М., 1994.
- Коряков Ю.Б., Майсак Т.А.* 2001 – Систематика языков мира и базы данных в интернете // Труды Международного семинара // "Диалог 2001" по компьютерной лингвистике и ее приложениям. М., 2001.
- Кротюк Н.* 1990 – Национальный язык и книга: Беспристрастно о книгоиздании на белорусском языке // Книжное обозрение, 9 ноября. 1990.
- Крысин Л.П.* 1999 – Введение // Типология двуязычия и многоязычия в Беларуси. М., 1999.
- Кунцевич Л.П.* 1999 – Двуязычие в сфере народного образования // Типология двуязычия и многоязычия в Беларуси. Мн., 1999.
- Лукашинец А.А.* 1998 – Двухмоўе і праблема роднай мовы (сацыялінгвістычны аспект) // Гуманітарна-эканамічны веснік. Мн., 1998. № 1.
- Мельникова Л.А.* 1999а – Национальный состав и социальная структура населения Беларуси // Типология двуязычия и многоязычия в Беларуси. Мн., 1999.
- Мельникова Л.А.* 1999б – Двуязычие в сфере культуры, искусства // Типология двуязычия и многоязычия в Беларуси. Мн., 1999.
- Мечковская Н.Б.* 1994 – Языковая ситуация в Беларуси: Этические коллизии двуязычия // R.Ling. 1994. V. 18.
- Михальченко В.Ю.* 1994 – Национально-языковые конфликты на языковом пространстве бывшего СССР // Язык в контексте общественного развития. М., 1994.
- Мікуліч Т.М.* 1996 – Мова і этнічная самасвядомасць. Мн., 1996.
- Николаева О.М.* 1999 – Лексическая интерференция // Типология двуязычия и многоязычия в Беларуси. Мн., 1999.

- Отношение BYNET 2001 – Отношение BYNET к белорусскому языку (Результаты). 2001.
<http://poll.system.ru/>
- Падлужны А.І.* 1998 – Праблемы варыянтнасці беларускай літаратурнай мовы // Беларуская мова ў другой палове XX стагоддзя. (...). Мн., 1998.
- Сямешка Л.І.* 1998 – Сацыяльна-палітычныя аспекты функцыянавання беларускай літаратурнай мовы ў другой палове XX ст. // Беларуская мова ў другой палове XX стагоддзя. (...). Мн., 1998.
- Типология 1999 – Типология двуязычия и многоязычия в Беларуси. Мн., 1999.
- Уляхін М. (протаіерэй)* 1993 – Праваслаўная царква і яе адносіны да беларускай мовы // Беларусіка-1. Мн., 1993.
- Филичева Н.И.* 1983 – Диалектология современного немецкого языка. М., 1987.
- Цыхун Г.А.* 1998 – "Трасянка" як аб'ект лінгвістычнага даследавання // Беларуская мова ў другой палове XX стагоддзя. (...). Мн., 1998.
- Чарота І.А.* 1998 – Сучасная мова і царква (з вопыту Беларуская Біблійная Камісія) // Язык и социум. Материалы II международной конференции. 5–6.12.1996. Ч. II. Мн., 1998.
- Ширяев Е.Е.* 1991 – Беларусь: Русь Белая, Русь Черная и Литва в картах. Мн., 1991.
- Dingley J.* 1989 – Ukrainian and Belorussian – a testing ground // Language planning in the Soviet Union / Ed. by M. Kirkwood. L., 1989.
- Wexler P.* 1992 – Diglossia et schizoglossia perpetua – the fate of the Belorussian language // Sociolinguistica. International Yearbook of European sociolinguistics, 6. The rise of National languages in Eastern Europe. 1992.

ИСТОЧНИКИ

БДГ – Беларуская деловая газета

Звязда

ЛіМ – Літаратура і Мастаўтва

НН – Наша Ніва

Наша свабода

Наша слова

Пагоня

Радио "Свабода" – Радиостанция на большом диапазоне коротких волн, все материалы можно прочитать на <http://www.svaboda.org>

Статут ВКЛ 1588 – Статут Вялікага княства Літоўскага 1588. Тэксты. Даведнік. Каментарыі. Мн., 1989

© 2002 г. Г. НЕВЕКЛОВСКИЙ

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЮЖНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Территория южнославянских языков определяется в основном государствами-наследниками бывшей Югославии (Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Югославия, состоящая из Сербии и Черногории, Македония) и Болгарией. Местами южнославянская территория простирается за границы этих государств, в Австрию, Италию, Венгрию, Румынию, Молдавию, Грецию, Албанию, Турцию, Россию и на Украину. До Первой мировой войны существовали три литературных языка: словенский, сербохорватский и болгарский. Во время Второй мировой войны к ним присоединился македонский язык, а в результате политических перемен начиная с 1989-го года существуют следующие южнославянские литературные (стандартные) языки: словенский, хорватский, боснийский, сербский, македонский, болгарский языки (шесть). Вполне возможно, что к ним присоединится в ближайшее время черногорский язык. Южнославянские языки принадлежат генетически к славянской языковой семье, но типологически можно различить две группы: а) языки славянского типа (словенский, сербский, хорватский, боснийский) и б) языки балканского типа (македонский, болгарский).

Мы будем обсуждать отдельные языки по очереди.

ЯЗЫКИ БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ

По данным переписи населения 1991 г. (приведенным в [Seewann 1993]) в Югославии насчитывалось 23,5 млн. жителей, в том числе 36,2% сербов, 19,7% хорватов, 10% боснийских мусульман, 9,3% албанцев, 7,5% словенцев, 5,8% македонцев, 3% югославов (из смешанных браков), 2,3% черногорцев, 1,6% венгров.

СЛОВЕНСКИЙ ЯЗЫК

На словенском языке говорят в республике Словения (20 255 км²) и в соседних краях Италии, Австрии и Венгрии. По последней югославской переписи населения в 1991-м году в республике жили примерно два миллиона жителей, в том числе 87,6% словенцев, 0,4% венгров, 0,1% итальянцев и 0,1% цыган, примерно 12% составляли рабочие-мигранты из других югославских республик.

История словенского литературного языка начинается со Словенского катехизиса протестанта Приможа Трубаря 1550-го года. Словенские земли принадлежали к австрийской части австро-венгерской монархии, в которой только немецкий и венгерский языки пользовались престижем. В XIX-м веке вопросы стандартизации решались по-разному. Побеждала орфография хорватского типа под влиянием "иллирийского движения", которое хотело объединить всех южных славян, хотя бы на языковом уровне. В этом смысле иллирийское движение ущемляло интересы словенцев, потому что некоторые его представители побуждали словенцев к отказу от их родного языка. В конце Первой мировой войны словенцы присоединились к Королевству сербов, хорватов и словенцев (Kraljevina SHS) – позднее Югославии, где временами словенский язык оказывался под угрозой лозунга единого "сербо-хорватско-словенского" языка.

После Второй мировой войны словенский язык являлся одним из языков Югославии. В этот период он по-прежнему находился под угрозой, на сей раз со стороны сербохорватского языка, который был самым распространенным языком Югославии, языком парламента, армии, авиакомпании, железных дорог и т.д.

С принятием декларации о независимости Словении в 1991-м году словенский язык впервые в своей истории стал государственным языком. К актуальным темам языковой политики и языкового планирования относятся вопросы словенского устного общения, вопрос о будущей роли словенского языка в европейском сообществе, усиление иностранного влияния на словенский язык и т.п. (ср. [Toporišič 1997]). На самом деле словенский язык является очень пуристическим (о социолингвистическом положении словенского языка см. [Vidovič-Muha 1998]). С 1994-го года существует постоянная группа экспертов по языковой политике и языковому планированию при словенском парламенте [Stabej 2001].

В Словении есть два признанных меньшинства – венгерское и итальянское, которые имеют свои школы, культурные и религиозные учреждения и языки которых могут изучаться также в университетах (ср. [Nećak-Lük 1997]).

СЕРБСКИЙ/ХОРВАТСКИЙ/БОСНИЙСКИЙ ЯЗЫК

Со второй половины XIX-го века вплоть до распада Югославии существовало мнение, что есть единый сербохорватский язык, хотя и с двумя вариантами. На этом языке говорили в югославских республиках Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, а также в некоторых соседних странах. Проблема двух вариантов усложнялась тем, что кроме различий в лексике и терминологии между двумя вариантами, существовали также различия в произношении праславянского "ятя", которые по своим ареалам не совпадали со сферами влияния Белграда и Загреба. Мы имеем в виду экавское и екавское произношение сербохорватского языка, например, *dijete* 'ребенок', *deca* : *djeca* 'дети'.

Хорватия (56 538 км²) имела 4,8 млн. жителей, среди которых 77,9% хорватов, 12,2% сербов, 2,2% югославов, 0,5% венгров, 0,4% итальянцев, 0,3% чехов.

Данные переписи для Боснии и Герцеговины (51 129 км²) следующие: 4,4 млн. жителей, среди которых 43,7% боснийских мусульман, 31,4% сербов, 17,3% хорватов, 5,5% югославов. После боснийской войны 1992–1995 гг., однако, эти данные изменились. Согласно оценке CIA-factbook (internet), число жителей сократилось примерно до 3,5 млн., причем численное соотношение народов сильно изменилось: 40% сербов, 38% мусульман, 22% хорватов.

В Сербии (88 361 км²) жило 9,8 млн. человек, в том числе 65,8% сербов, 17,2% албанцев, 3,5% венгров, 3,2% югославов, 2,4% мусульман, 1,4% цыган, 0,6% словаков, 0,4% румын, 0,3% болгар, 0,2% русинов, 0,2% влахов, 0,1% турок. Во всяком случае, число албанцев (живущих главным образом в провинции Косово) было гораздо выше; из-за бойкота их число могло быть определено лишь приблизительно [Neweklowsky 1997: 1409].

Черногория (13 812 км²) имела 615 тысяч жителей, среди которых 61,8% черногорцев, 14,6% мусульман, 9,3% сербов, 6,6% албанцев, 4% югославов.

Если сравнить эти данные с данными более ранних переписей населения, можно заключить, что картина народов Югославии в течение последнего десятилетия (данные по [Seewann 1993]) резко изменилась, особенно выросло число албанцев в Сербии и число мусульман в Боснии, причем доля других народов соответственно уменьшилась.

Письменность в сербских и хорватских землях основывалась на церковнославянском языке, который использовался в литургических целях. Позднее он стал употребляться также и в светской сфере. Сербы пользовались кириллицей, между тем как у хорватов употреблялась глаголица. Влияние Италии и католическая религия содействовали распространению латинского алфавита у хорватов с XIV-го века. В Боснии все население (сербы, хорваты, мусульмане) пользовалось кириллицей, и только в XVIII-м веке

латинский алфавит был принят у хорватов, а у мусульман еще позже. У них употреблялось также арабское письмо для передачи их родного языка.

В Средние века в сербских землях мы находим сравнительно единый язык, на котором была создана богатая литература – прежде всего жития святых и королей, летописи, правовые тексты и т.п. В XIV и XV веках турки завоевали значительную часть Балканского полуострова, причем возможности литературной деятельности сербов ограничивались. Хорватские края в языковом отношении являлись гораздо менее едиными. Развивались различные областные варианты хорватского литературного языка с богатой церковной и деловой письменностью, а с XV-го века также и с высокообразованной светской литературой.

Для сербов только в южной Венгрии (в Воеводине). в Австро-Венгерской империи существовали некоторые предпосылки для культурной жизни. (В Габсбургскую империю они переселились в 1690 году, спасаясь от турок.) Все-таки, из-за трудности с печатанием кириллических книг они обратились к русскому царю Петру I. Русские учителя, которые работали у сербов с 1726-го года, привезли с собой русские и церковнославянские книги. Таким образом, русский литературный и церковный языки стали литературным языком сербов. Постепенно в литературный язык стали проникать сербские элементы, и таким образом возник новый, смешанный литературный язык, состоящий из сербских, русских и церковнославянских элементов, который назывался "славяносербский". Этот язык употреблялся до окончательной реформы Вука Караджича в 1866-м году. В Хорватии в 30-х годах XIX века возникло упомянутое иллирийское движение. Его сторонники поддерживали реформу Караджича и преследовали идею единого южнославянского языка на основе новоштокавских сербских и хорватских диалектов. Босния и Герцеговина и Черногория легко присоединились к новоштокавскому диалекту. Однако встала проблема наименования языка: иллирический, сербский, хорватский, сербохорватский, боснийский и др.

После Первой мировой войны в Королевстве под властью династии Карагеоргиевичей сербский вариант сербохорватского языка добился господствующего положения. Как реакция на это, в Независимой Хорватии во время Второй мировой войны началось очищение языка от всех иноязычных элементов, в том числе сербских. После Второй мировой войны все народы и народности Югославии получили равные права. Это повлекло за собой большие расходы, потому что переводились учебники, газеты, юридические тексты и т.д. на все языки и варианты, причем пользовались двумя алфавитами. В Новосадском соглашении (договоре) 1954-го года был подтвержден принцип единого сербохорватского языка с двумя вариантами. Необходимые орфографические словари были составлены в 1960-м году.

Конвергентные тенденции развития двух вариантов были остановлены в 1967-м году, когда была опубликована "Декларация об имени и положении хорватского языка" [Lončarić 1998: 23–32]. По югославской конституции 1974 года была признана автономия двух областей – Косово и Воеводины, которые фактически получили те же права, что и отдельные республики. В Боснии и Герцеговине стали выдвигаться требования признания третьего языкового варианта, равноправного с сербским и хорватским [Okuka 1998]. После основания новых государств, Словении и Хорватии (1991) и Боснии и Герцеговины (1992), в новых конституциях употребление языка по-новому определилось: в Сербии и Черногории употребляется официально сербский язык и кириллическое письмо, причем в Сербии допускаются экавский и екавский варианты, а в Черногории только екавский вариант [Радовановић 1996: 29; Neweklowsky 1997]. В Хорватии употребляется официально хорватский язык и латинское письмо, а в Боснии и Герцеговине с 1993 года – три языка, а именно: сербский, хорватский и боснийский, причем оба письма (кириллица и латиница) равноправны [Невекловский 2001]. Сербская республика приняла конституцию, согласно которой на ее территории употребляются сербский язык и кириллическое письмо. Боснийские хорваты пользуются хорватским языком Хорватии. Таким образом, "боснийский язык" является только языком мусульман (не только в Боснии, но и там, где они живут в Сербии и Черногории).

Различаются в настоящее время термины "Bosanci" (жители Боснии) и "Bošnjaci" (раньше "Muslimani"). В последние годы можно наблюдать стремление к своему отдельному языку также в Черногории [Neweklowsky 2000: 555–557].

До 1991 г. сербохорватский язык фактически являлся основным языком общения в СФРЮ, особенно в общественной сфере коммуникации (при юридическом равноправии языков отдельных ее народов и национальностей). Для большинства носителей других языков сербохорватский язык являлся вторым языком. Двуязычие в данном ареале распространено до сих пор, хотя и претерпело качественные и количественные изменения. Это особенно касается двуязычия албанцев и турок в Косове, а также венгров, словаков, румын и русинов в Воеводине. Особое положение имеет язык цыган. Прилагались усилия для развития их образования и культурной жизни, особенно в Косове (свое телевидение, театр и пр.); в настоящий момент информация об этом недоступна.

МАКЕДОНСКИЙ ЯЗЫК

На македонском языке говорят в Республике Македония (25 713 км²) и в смежных районах Албании, Греции и Болгарии. По данным переписи населения 1994 года [Минова-Гуркова 1998: 56] в Македонии жило 2,03 млн. человек, в том числе 66,5% македонцев, 22,9% албанцев, 4% турок и 2,3% цыган. Если сравнить эти данные с более ранними [Seewann 1993], то обращает на себя внимание увеличение числа албанцев (в 1981 году – 19,8%) и уменьшение числа турок.

После военных успехов партизан во Второй мировой войне и на основании более раннего решения Коминтерна, в 1944 году македонский язык был признан официальным языком новой югославской республики Македонии [Preinerstorfer 1998: 236]. Но в Македонии проживает только часть македонцев. Македонцы живут также в Болгарии (район Благоевграда, Пиринская Македония) и в северной Греции (Эгейская Македония). Греция не признает ни наименования "македонский язык", ни названия государства, считая само слово и понятие "македонский" греческим. В послевоенные годы Болгария признавала существование македонцев на своей территории (до 1958-го года) и допускала даже македонские учебники (только до 1948 г.). В настоящее время в Болгарии называют македонский язык западноболгарским или литературным диалектом болгарского языка.

Первые писатели XIX века, которые писали сознательно на македонском языке, пользовались разными диалектами, прежде всего западными, чтобы отделить себя от болгар, основой литературного языка которых являлись восточноболгарские диалекты, от сербов, которые тоже претендовали на Македонию, и от греков, которые окзывали свое влияние через клир, назначавшийся константинопольским патриархом. Македонский язык является государственным языком по конституции; употребляется кириллическое письмо, образцом которого является сербская, а не болгарская кириллица.

Следующие факторы можно считать определяющими для новейшего развития македонского языка: Скопье как столица, принадлежность к Югославии до 1991 г., большая распространенность знания сербского языка, антипуризм, употребление македонского языка в сферах, которые раньше обслуживал сербохорватский язык (парламент, армия, авиалинии и т.п.). Очень важным является принцип отталкивания от болгарского языка (предпочитаются сербизмы).

В сфере образования существуют школы с учебными языками меньшинств, а именно – албанские, турецкие и сербские. В них македонский язык преподается 2–3 часа в неделю [Минова-Гуркова 1998: 58]. В университете в Скопье есть кафедры этих языков. С 1997-го года меньшинствам гарантируется право обучения на своем языке в государственном университете в Скопье. В 1994 году основан частный албанский университет в городе Тетово, признание которого теперь происходит под давлением европейского сообщества. В настоящее время есть большое количество журналов и

газет (в том числе и частных), а также радиопередачи на языках разных меньшинств. В государственном телевидении имеются передачи для албанцев, турок, сербов, владхов и цыган [Friedman 1997: 1447].

БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК

На болгарском языке говорят в Республике Болгария (110 994 км²), в небольшом районе соседней Сербии, в Румынии, Бессарабии, Турции, а также на Украине и в России. В этих последних болгары являются переселенцами, большая часть которых живет в районе Одессы [Димитрова 1997: 164]. По данным переписи населения 1992 г. общее число жителей 8,5 млн., в том числе – 85,7% болгар, 9,4% турок, 3,7% цыган. Кроме того, имеется ряд других, небольших меньшинств: русских, армян, владхов, греков, татар, евреев и др. В 1956 году назвали себя македонцами 250 тыс. жителей, а 1965 г. еще 9 632 человека [Минова-Гуркова 1998: 239]. В Болгарии проживает 2% болгар-мусульман [Димитрова 1997: 168]. Они называются "помаками" и живут главным образом в Родопах. Если сравнить эти данные с данными более ранних переписей населения [Seewann 1993], можно сказать, что число турок осталось примерно тем же, несмотря на эмиграцию и изгнание, а число цыган возросло более чем вдвое.

Болгарский язык является потомком староцерковнославянского (старославянского / староболгарского) языка, который распространился из Болгарии и Македонии на весь славянский мир. Болгаристика говорит о староболгарском (IX–XII вв.) и среднеболгарском (XIII–XIV вв.) языках. Во время османского завоевания с XIV-го века литературная продукция на болгарском языке резко сократилась, тем не менее этот период имел большое значение, потому что именно тогда среднеболгарский язык превратился в новоболгарский со своими балканскими особенностями (ср. поучительные "дамаскины" на народном языке).

Началом болгарского литературного языка можно считать "Славяноболгарскую историю" Паисия Хилендарского (1762 г.), потому что автор в ней впервые говорит об исторических и национальных судьбах болгарского народа и о проблеме языка [Георгиева, Жерев, Станков 1989: 52]. В XVII–XVIII веках большую роль в развитии болгарского языка сыграл церковнославянский язык русской редакции; болгары пользовались русскими церковными книгами. В первой половине XIX-го века работали разные просветители, язык которых стал образцом для литературной деятельности во второй половине века и основой стандартизации литературного языка в княжестве и позднее в царстве Болгарии. В этом процессе принимали участие также писатели из Македонии. В конце XIX-го века было достигнуто некоторое единство болгарского литературного языка. Большое значение для развития терминологии имел русский язык. В 1945 году в Болгарии была проведена орфографическая реформа. После войны новые общественные условия способствовали очередному притоку заимствований из русского языка, а также интернационализации лексики через заимствования из русского и западноевропейских языков.

В настоящее время для языковой ситуации Болгарии характерны следующие черты: идеология Болгарии как национального государства болгар; единая система образования; урбанизация, сокращение системы образования для меньшинств. Лишь с 1990 года наступает демократизация, с одной стороны, в системе образования, и, с другой, – в самом болгарском языке.

По-прежнему серьезную проблему составляет отношение к туркам, цыганам и помакам, в то время как с другими меньшинствами никаких проблем не возникает. Начиная с конца 50-х годов БКП постепенно усиливала давление на крупные меньшинства, особенно преследуя "туркизацию". (К турецкой народности причисляют себя также многие помаки и цыгане-мусульмане, большинство которых вообще не говорит по-турецки.) В 70-е и 80-е годы болгарское правительство запрещало мусульманские имена и обучение турецкому языку. Пиком преследований был 1989 год, когда большое число турок эмигрировало в Турцию (позже многие, однако, вернулись). После

1990-го года туркам были возвращены права национального меньшинства, в том числе турецкие имена, преподавание турецкого языка, радиопередачи на турецком языке и т.п. Теперь имеются также частные турецкие школы, в которых турецкий язык является языком преподавания религии и самого турецкого языка, но остальные дисциплины преподаются на болгарском языке [Роров 1998: 57]. Численность цыган в настоящее время составляет приблизительно 600 тыс. человек.

В условиях демократии и многопартийной системы возникло пестрое многообразие газет и журналов, причем контроля за языком средств информации уже не было. Таким образом, многие слова и выражения разговорного языка и просторечия проникли в язык прессы, в том числе турцизмы, которые, казалось, давно уже не употреблялись в болгарском языке. Характерна также американизация языка [Steinke 1996; Nicolova 1997]. Кажется, что в настоящее время крайности и извращения в болгарском языке сходят на нет.

ИТОГИ

Словенский, сербохорватский и македонский языки являлись языками "народов" Югославии, причем государственного языка не было. Практически языком межнационального общения был сербохорватский язык. Сербский и хорватский являлись равноправными вариантами, тогда как боснийский такого статуса не имел. В государствах-наследниках прежние "варианты", кроме черногорского, превратились в самостоятельные стандартные языки – сербский, хорватский, боснийский. Особенно сложной является проблема языковой ситуации в Боснии с тремя равноправными языками, и в Югославии – с экавским и екавским вариантами сербского языка. Новые государства признали права национальных меньшинств и внесли поправки в законы (ср. положение албанского языка в Косово до 1999-го года). В Македонии наблюдается в настоящее время рестриктивная политика в отношении национальных меньшинств. Основной проблемой для государства является темп роста албанского населения. Меньше всего ситуация изменилась в Болгарии, которая всегда понимала себя как национальное государство болгар. Тем не менее, изменения болгарского языка в последние годы значительны. По отношению к национальным меньшинствам (особенно туркам) языковая политика государства остается рестриктивной, хотя официально туркам вернули права национального меньшинства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Георгиева Е., Жерев С., Станков В. (ред.) 1989 – История на новобългарския книжовен език. София, 1989.
- Димитрова С. (изд.) 1997 – Български език. Opole, 1997.
- Минова-Гуркова Л. (ред.) 1998 – Македонски јазик. Opole, 1998.
- Невекловский Г. 2001 – Языковое состояние на территории распространения бывшего сербскохорватского языка // Славяноведение. 2001. № 1.
- Радвановић М. (изд.) 1996 – Српски језик. Opole, 1996.
- Friedman V.A. 1997 – Macedonia // Kontaktlinguistik – Contact Linguistics – Linguistique de contact. 2. Halbband. Berlin; New York, 1997.
- Lončarić M. (изд.) 1998 – Hrvatski jezik. Opole, 1998.
- Nečak-Lük A. 1997 – Slovenia // Kontaktlinguistik – Contact Linguistics – Linguistique de contact. 2. Halbband. Berlin; New York, 1997.
- Newekłowsky G. 1997 – Jugoslawien // Kontaktlinguistik – Contact Linguistics – Linguistique de contact. 2. Halbband. Berlin; New York, 1997.
- Newekłowsky G. 2000 – Serbisch, Kroatisch, Bosnisch, Montenegrinisch – Perspektiven // Sprachwandel in der Slavia. Die slavischen Sprachen an der Wende zum 21. Jahrhundert. Ein internationales Handbuch. Frankfurt-am-Main, 2000.
- Nicolova R. 1997 – Die Varietäten des Bulgarischen und ihre Widerspiegelung in der Sprache der bulgarischen Presse nach 1989 // Zeitschrift für Slawistik. 1997. Bd. 42. Hf. 4.

- Okuka M.* 1998 – Eine Sprache – viele Erben. Sprachpolitik als Nationalisierungsinstrument in Ex-Jugoslawien. Klagenfurt, 1998.
- Popov N.* 1998 – Das Bildungswesen der türkischen Volksgruppe in Bulgarien, 1878–1998 // Ost-Dokumentation 1998. Bd. 12/13.
- Preinerstorfer R.* 1998 – Die Entwicklung der makedonischen Schriftsprache // Österreichische Osthefte. 1998. Bd. 40.
- Seewann G.* 1993 – Die Ethnostruktur der Länder Südosteuropas aufgrund der beiden letzten Volkszählungen im Zeitraum 1977–1992 // Südost-Europa. 1993. Bd. 42. Hf. 1.
- Stabej M.* 2001 – Institucionalizacija jezikovne politike v državnih organih Republike Slovenije // Prvo slovensko-hrvaško slavistično srečanje. Ljubljana, 2001.
- Steinke K.* 1996 – Die bulgarische Sprache nach der Wende // Sprache und Politik: Die Balkansprachen in Vergangenheit und Zukunft. München, 1996.
- Toporišič J.* 1997 – Slovene as the language of an independent state // International Journal of the Sociology of Language. 1997. V. 124.
- Vidovič-Muha A.* (изд.) 1998 – Slovenski jezik. Opole, 1998.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2002 г. М.А. БОРОДИНА

ПРОСТРАНСТВО, ТЕРРИТОРИЯ, ЗОНА И АРЕАЛ
КАК ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АРЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

Мелитина Александровна Бородина (1928–1994), автор, часто печатавшийся на страницах журнала "Вопросы языкознания" в 60-е и особенно 70-е годы, диалектолог-романист с разносторонними интересами (геолингвистика, история языка, типология романских языков и др.) в 1963 г. защитила докторскую диссертацию на тему "Лотарингский диалект французского языка (К вопросу о лингвогеографическом исследовании диалекта)". На этой основе позднее она выпустила под редакцией В.М. Жирмунского, ее учителя, книгу, ставшую широко известной, – "Проблемы лингвистической географии (на материале диалектов французского языка)" (М.; Л., 1966). Гордостью ее личной библиотеки было полное собрание лингвистических региональных атласов Франции.

Придавая большое значение пространственному фактору в диалектологии, Бородина внесла много нового в разработку строго научной теории пространства. Одним из проявлений неразрывной связи теории и практики в жизни и деятельности Мелитины Александровны было активное ее участие как научного консультанта по лингвистическому картографированию в подготовке "Диалектологического атласа тюркских языков СССР" [широко известны ее статьи: "О закономерностях пространственного распределения тюркских языков" (Алма-Ата, 1976 г.), "О развитии лингвогеографических исследований языков Сибири" (Томск, 1976), "Диалектология, лингвогеография и ареалогия" (Кемерово, 1978)].

Публикуется фрагмент из последней большой работы (начало 80-х годов) М.А. Бородиной, посвященной вопросам теории пространства и его моделирования; в условиях 80-х годов монография была депонирована.

Данный фрагмент, как и другие материалы (в их числе – служебная записка) переданы редакции дочерью М.А. Бородиной – А.Е. Бородиной-Грабовской. При публикации текст фрагмента почти не подвергается правке; в заключение фрагмента приведено емкое определение ареала, к которому Бородина пришла, видимо, позднее – при составлении служебной записки. В сноске 7 использован отрывок из той же ее работы, в состав которой входит публикуемый фрагмент.

Г.Ф. Благова

* * *

Определение терминов. В ареальных исследованиях часто синонимично употребляются термины "пространство", "территория", "зона" и "ареал"¹. Однако содержание этих терминов весьма различно, и с течением времени происходит постепенное сужение объема понятий, вкладываемых в эти термины в связи с их все большей конкретизацией и ростом обусловленности. Термин "пространство" относится к общетеорети-

¹ Поскольку пространством занимаются многие науки, то соответственно перечисленные термины являются родовыми; в каждой из наук пространство имеет свое видовое значение и характеризуется определенными параметрами.

ческим и философским категориям (так, пространство и время); термин "территория" более конкретный: это "территория распространения", например, французского языка, а не "пространство"; еще конкретнее термины "ареал" и "зона" того или иного явления.

Основу для исследования диалектологии, лингвогеографии и ареалологии составляет именно пространственный фактор, который, притом что он имманентно присущ всем языкам, далеко не так легко определяется в научном плане. Пространство по-разному манифестируется в диалектологии, лингвогеографии и ареалологии. Пространство понимается в диалектологии наиболее широко, в лингвогеографии его значение суживается как определенно очерченная территория/зона, показанные в том или ином атласе. В ареалологии пространство понимается как зона/ареал в терминологическом понимании этих слов.

Основой для создания лингвистической теории пространств могут служить данные современных языков, преимущественно (но не только!) те многочисленные лингвистические атласы, которые уже составлены или составляются в настоящее время, пока еще живы диалекты, отражающие древние состояния языка.

При изучении лингвистического пространства исследователь пользуется самыми разнообразными источниками и самыми различными методами исследования, не говоря о технических приемах, связанных с картосоставлением. Тем не менее наибольшая эффективность достигается при использовании лингвистических атласов (карт).

Как уже отмечалось, особенностями изучения и вычленения лингвистического пространства занимаются диалектология, лингвогеография и ареалология. Исследование лингвистического пространства началось с изучения распространения отдельных языков и групп языков, дифференциации этих единиц и особенно с исследованием диалектных черт. Вычленение лингвистических территорий связано с осознанием соотношения диалекта и/или языка с определенным пространством – провинцией, графством, территорией, находящейся за пределами основного распространения языка (диалекта). В целях определения структуры лингвистической территории предпринимается картографирование исследуемых объектов (слов, морфем, фонем), т.е. создание лингвистической карты или серии карт(атлас). Эта область исследования настолько отделилась от диалектологии, что получила самостоятельное название – "лингвогеография".

На всем протяжении истории пространственных исследований диалектология остается как бы ее основным "субстратом", в то время как сама ареалология предельно обобщает факты, пытаясь их интерпретировать.

Под лингвистическим пространством понимается не просто территориальное распространение того или иного явления, а исторически обусловленное, закономерное его распространение. Вероятность случайности при определении распространения изучаемой языковой особенности очень небольшая и может быть связана, например, с неудачно выбранным анкетиремым, отвечавшим на вопросы.

Специфика лингвистического пространства в целом может быть охарактеризована по следующим параметрам.

1. Различение микро- и макролингвистических территорий. В самом обобщенном представлении это диалекты и языки; вместе с тем понятия микро- и макротерриторий характеризуют любую лингвистическую ситуацию, например изолированный "островок", оторвавшийся от основной зоны распространения, представляет собой микротерриторию по отношению к основной зоне распространения (макротерритории).

2. Все более четкая очерченность лингвистического пространства по мере продвижения в глубь истории. Диалекты, от которых во многих языках остаются лишь отдельные черты, часто в микрizonaх в прошлом были распространены на более четко отграниченных территориях.

Чем глубже период развития языка, тем больше можно выявить ареальных черт; ведь диалектика состояния, характерного для времен феодализма, влечет за собой увеличение и ареальных закономерностей; "исторические языки" (термин Э. Косериу)

более локальны, им не свойственны в такой мере, как современным языкам интернациональные черты.

Однако, если еще глубже войти в историю – в период палеоархеологии, палеоистории и палеолингвистики, то для языков этого времени трудно говорить об их пространственной характеристике (пространственных закономерностях).

3. Разные уровни языка по-разному соотносятся с величиной территории. Так, стилистический уровень соотносится преимущественно с макротерриторией, семантический – с микротерриторией.

Повторяемость фонетических (фонологических) закономерностей делает фонетический уровень ареально наиболее очерченным. К нему близок морфологический уровень. По убывающей линии идут лексический, синтаксический и стилистический уровни.

4. Лингвистическое пространство обычно определяется на основании не одной черты, но целого комплекса системно связанных черт, которые используются в качестве критерия при классификации языков (диалектов). При этом одна черта является обычно доминирующей. Так, мы можем подразделить языковое пространство Франции на три территории – французский, провансальский и франкопровансальский языки – по признаку судьбы латинского *a* в этих языках, хотя каждый из них определяется сложным комплексом черт разных уровней языка.

5. Лингвистическое пространство зависит от экстралингвистических условий, в частности от географических и политико-экономических условий.

Из четырех терминов "пространство", "территория", "ареал" и "зона" наиболее близки термины "ареал" и "зона". Тем не менее разница между ними очевидна. В "Предисловии" к тезисам Третьей ареальной конференции на тему о маргинальных и центральных ареалах читаем: "понятие маргинального ареала, а также контактной зоны, в равной мере релевантное для языкознания и этнографии, определило еще более тесную связь лингвистов с этнографами, чем в предыдущей конференции, и в ареальном плане сделала настоящую конференцию более целенаправленной"². Ср. также в статье Н. Сараманду: "...проблема разграничения диалектных ареалов и переходных зон"³.

Учитывая трудности четкого выделения ареала часто из-за отсутствия материала, с одной стороны, а с другой – потому что контуры ареала по своей природе иногда расплывчатые, нечеткие (так в переходных, контактных ареалах), следует иногда пользоваться термином "зона", как неполным синонимом ареала: зона – это ареал, но либо с нечетко определяемыми контурами, либо с размытыми контурами. Не ареалом, а зоной является иррадирующий центр: "...установление центральной зоны распространения склонения каждого типа, определение силы и глубины (надо добавить и темпа. – М.Б.) иррадиации, исходящий из каждой такой центральной зоны"⁴.

Термины "ареал" и "зона" конкретизируются следующим образом. "Об ареале мы говорим в тех случаях, когда изоглосса четко выделяет его границы. При картографировании пришлось, однако, столкнуться с большим числом случаев, когда из-за отсутствия в диалектологической литературе точной локализации изучаемого явления картина для промежуточных пунктов неясна, и поэтому ряд пунктов может быть объединен изоглоссой чисто условно. В этих случаях мы предпочитаем говорить не об ареале, но о зоне"⁵.

Иными словами, ареал – это территория, которая четко очерчена изоглоссой как границей данного явления. Зона – это территория, характеризующаяся известной прилизительностью; зона может объединять несколько сходных микроареалов.

² См.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. 1977. С. 3–4.

³ См.: N. Saramandu. Arii fonologie și zone dialectale de tranziție (pe bază NALR), Oltenia. V. I-II // Studii și cercetări lingvistice. T. 26. № 2. 1976. P. 119.

⁴ См.: Г.Ф. Благова. Тюркское склонение в ареальном освещении. Юго-восточный регион: Автореф. док. дис. ... М., 1982. С. 4.

⁵ См.: Г.Ф. Благова. Там же. С. 16.

Самым конкретным из четырех изучаемых терминов является термин "ареал"; так, например, можно сказать, что ареал реликтов германского *h* на территории Франции обозначает определенно очерченную зону, которую удается вычертить благодаря материалам ALF⁶.

Термины "ареал"/"зона" противопоставлены терминам "территория"/"пространство" как более конкретные понятия более обобщенным.

Наряду с этими терминами употребляется термин "регион"; он получает все большее распространение и обозначает географическую область распространения языков (диалектов), говоров, объединенных сходными структурными явлениями на базе определенных социокультурных, этнических, политико-экономических, географических и т.п. единств.

В заключение отметим, что в ведении диалектологов находится то понятие пространства, которое граничит с понятием территории; в ведении лингвогеографов – территория и зона; в ведении ареологов – зоны и ареалы. Ареал и зона могут быть противопоставлены территории и пространству в узком смысле этих слов, в то время как пространство в широком, философском его смысле покрывает все эти пространственные категории.

Ареал и изоглосса. В такие термины ареальной лингвистики, как "ареал" и "изоглосса", вкладываются различные значения в лингвистической ареалогии и в ареальных исследованиях (в пространственной лингвистике). Хотя во всех областях изучения лингвистического пространства "ареал" и "изоглосса" являются сопряженными терминами, однако каждый из них имеет самостоятельное значение⁷.

В теоретической литературе вопроса ареал и изоглосса редко исследуются вместе, как два компонента одного понятия – ареала, который будучи употреблен в ареологическом смысле, неотделим от понятия изоглоссы: если мы говорим об ареале, то подразумевается и изоглосса и наоборот. Чаще всего исследования посвящаются просто ареалу и значительно реже – только изоглоссе⁸. В случаях, когда речь идет просто об ареале, ареал обычно понимается широко и неопределенно; при этом часто перебегаются термины ареал/зона/территория и даже пространство, причем различия между ними не проводится. Поскольку понятие ареала связано с разными интересами исследователей, с разными уровнями исследования, различными лингвистическими школами, мы сочли необходимым охарактеризовать термины "ареал" и "изоглосса", каждый в отдельности.

Ареал (характеристика, определение). Ареалы как совокупность единиц одного уровня составляют определенную систему; расширяется один – за счет него сужается и сдвигается другой; если ареал изолируется, то все же он продолжает соотноситься по

⁶ См. карту в кн.: *Borodina M.A. Phonétique historique du français (avec éléments de dialectologie)*. Leningrad, 1961.

⁷ Самостоятельность изоглоссы может быть показана на примере широкой зоны (т.е. большого пучка изоглосс) между северной и южной Францией – своего рода языковой границы. Это пучок, не связанный с понятием ареала: он связан с понятием территории, лингвистического пространства, историко-географических явлений, но не с ареалом / ареалами в строгом смысле слова.

Или другой пример: выделение лотарингского диалекта французского языка, которое имеет несколько иной характер. Границы лотарингского диалекта (и его говора *Vogez*) вычленяются на территории Франции мощным пучком изоглосс разного содержания. Каждая изоглосса в отдельности обозначает явление "противопоставленное" (термин Р.И. Аванесова), неоднократно встречающееся явление. Но целенаправленное выделение лотарингского диалекта на карте Франции не связано с противопоставленными ареалами, потому что лотарингские ареалы в первую очередь противопоставлены формам литературного языка, которые по своей природе не имеют ни изоглосс, ни ареалов.

Таким образом речь может идти о противопоставленности территории (пространств), а не ареалов.

⁸ В частности, нам не известны статьи ни о "возрасте" изоглосс (хотя проблема глубины времени в изоглоссах и ставится), ни о методике проведения изоглосс (кроме нашей статьи).

тем или иным признакам с общей территорией. В движении ареалов есть определенный порядок, который мотивирован как внутренними причинами (развитие внутрilingвистических явлений), так и внешними, внешнелингвистическими (ареальные свойства ареала), а также внелингвистическими (социальными, экономическими и т.д.).

А.И. Смирницкий отмечал, что "изучение языка в синхронном плане должно быть историческим по существу, т.к. (должно) учитывать неизбежно заключающийся в языке момент диахронии – известной протяженности и развития во времени..." (Смирницкий А.И., 1955, с. 8). Карта ареалов находится в постоянном движении, хотя лингвогеографически это – "синхронный" срез, который надо понимать диахронически, а не как статическое явление, что характерно, например, для Ф. де Соссюра [см: Жирмунский В.М. (1958, с. 46); Медникова Э.М. (1971, с. 98); Ярцева В.Н. (1969)].

Лингвистические ареалы соотносятся с этническими и культурно-историческими, это особенно четко прослеживается во Франции, Италии и Испании, а также в германоязычных странах как лингвоэтнографически наиболее изученных территориях.

По лингвистическому содержанию и по хронологическому объему ареал – понятие очень емкое, универсальное, т.е. применимое к любому языку и диалекту. Современный ареал может быть вычленен по явлению, датируемому как недавним временем, так и началом нашей эры, а в археологии, например, и явлениями значительно более древними. Вместе с тем, ареал может вскрыть тенденцию нового развития – здесь все зависит от наполненности ареала, от его формы и типа, а также от взаимосвязи с другими ареалами.

Ареалы могут быть самых разнообразных конфигураций, что далеко не безразлично для определения их весомости в лингвистическом плане. Из этого ясно, что их "рисунок" необходимо исследовать, обобщать, типизировать в соответствии с семантикой ими выражаемой.

Существенной чертой диалекта, отличающей его от литературного языка, является, как известно, его "архаичность", способность хранить в себе особенности очень большой давности. Свобода, ненормированность диалекта дает в то же время возможность его носителям прибегать к новшествам, среди которых логически проявляются и новые тенденции в развитии языка, наряду с индивидуальным словотворчеством, случайностями и просто неправильностями речи. Эти новшества, так же как и архаизмы, могут иметь свой "ареальный рисунок".

Ареал вычленяется в результате вторичного моделирования лингвистического пространства.

В лингвистической литературе под ареалом часто понимают любое территориальное распространение – как наблюдающееся в наши дни, так и спроецированное в прошлое, часто благодаря старым и даже дописьменным источникам исследования. В ареалогии ареал является основной единицей этой дисциплины; под ареалом здесь понимается конкретная территория, очерченная изоглоссой и обусловленная рядом вне- и внешнелингвистических факторов.

Таким образом существуют два совершенно разных понимания термина "ареал", так что вышеназванные толкования термина можно считать омонимами; ареал – как основная единица ареалогии и ареал – как любая территория распространения. Общая часть этих омонимов состоит в том, что речь идет об определенных территориях; в первом случае речь идет о доказуемом, конкретном микро- или макро-ареале, во втором – о любой, обычно не конкретизируемой и не доказуемой территории.

Распространившиеся употребление термина "ареал" еще ждут своего исследователя, и, видимо, только современные методы компонентного анализа помогут внести точность в этот вопрос. Заметим, что во всех случаях речь идет о пространстве упорядоченном, но в разной мере.

Термин "ареал" применяется и в переносном значении, так о грамматических ареалах пишут А.В. Бондарко, В.Г. Адмони и др.

Ареал в качестве единицы ареалогических исследований определяется как обусловленная пространственно-временная лингвистическая единица, противопоставляемая –

по тем или иным изоглосным явлениям – окружающим ее единицам того же порядка. Эта пространственно-временная единица представляет собой территорию, обусловленную содержанием: внутрilingвистическим – структурность, нормативность, принадлежность к определенному лингвистическому уровню; внешnelingвистическим – принадлежность к литературному языку, диалекту, говору, региональной речи, идиолекту или к переходной неустойчивой форме языка; внелингвистическим – социальная, культурно-историческая, географическая обусловленность.

Существует много определений и различных характеристик ареала. Но заранее следует сказать, что ареал – это настолько самоочевидная для лингвиста-специалиста (лингвогеографа или ареолога) категория, что его можно было бы и не определять. Так, крупнейший специалист в области ареалогии – А. Вайнен – в своей обширной статье "Значение конфигурации карт", дает интересную и подробную классификацию ареалов, без каких-либо предварительных рассуждений о том, что такое ареал⁹.

В 1974 году я писала: "Ареал определяется наличием связи явления или процесса с определенной территориальной протяженностью"¹⁰. В статье, опубликованной в 1975 году, читаем, что этот тезис был конкретизирован: ареал как объект исследования ареалогии определяется «местоположением и конфигурацией зоны бытования отдельных лингвистических явлений или их совокупности в изучаемой системе говора, диалекта, языка, группы языков. Ареал – это пространственно-временная лингвистическая единица, обусловленная как лингвистическими, так и внелингвистическими факторами и противопоставленная окружающим ареалам. Говоря об ареалах, мы имеем в виду обобщенно-географическую проекцию ареала, которую условно называем термином "ареал"»¹¹.

В том же 1975 году в сборнике "Языки и народы Сибири" читаем: "Ареал – это пространственно-временная лингвоэтнографическая единица, обусловленная как внутривидовыми, так и внешневидовыми факторами, и противопоставленная другим ареалам"¹².

В 1979 году острота ситуации в зарубежной романистике в отношении понимания терминов "диалект", "региональный язык", "ареал", а в советской лингвистике – сомнения в том, существует ли ареал как научное понятие, привели к следующим уточнениям в определении ареала: "Ареал представляет собой не просто территорию распространения того или иного явления, а строго обусловленное историческими, географическими, социальными, лингвистическими и другими параметрами пространство, форма и контуры которого не только не случайны, но имеют строгую закономерность и определенное значение"¹³.

В коллективной монографии "Взаимодействие лингвистических ареалов" (Л., 1979): "Под лингвистическим ареалом следует понимать пространственно-временную и социальную единицу (территорию), противопоставленную (по определенным признакам) остальному лингвистическому континууму"¹⁴.

⁹ См.: A. Weijnen. The value of the map configuration // Special issue of the "Mededelingen van de Nijmeegse centrale voor dialect-en namenkunde". Nijmegen, 1977. P. 1–36.

¹⁰ М.А. Бородина. О типологии ареальных исследований // Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. Л., 1974. С. 44.

¹¹ М.А. Бородина. Ареалогия и некоторые вопросы романского языкознания // ВЯ. 1976. № 2. С. 47; далее (с. 49) читаем, что "одной из обязательных составляющих ареала является изоглосса, которая отграничивает ареал от остальной территории".

¹² См.: "Языки народов Сибири" (Ареалогические исследования). М., 1975. (Библиографические данные неточны. Ср.: М.А. Бородина. Диалектология, лингвогеография и ареалогия // Языки народов Сибири. Вып. 2. Кемерово, 1978. – Г.Б.).

¹³ М.А. Бородина, Л.Г. Гуцина. Рецензия на кн.: "Les Français régionaux" // ВЯ. 1979. № 6. С. 49.

¹⁴ Взаимодействие лингвистических ареалов. С. 3.

"Ареал (и изоглосса) – внешняя форма проявления внутренних закономерностей"¹⁵.

«Под термином "ареал" в его первичном исходном и основном значении мы понимаем точные контуры, полученные при исследовании границ распространения лингвистического явления определенного уровня – лексического, семантического, морфологического, фонетического и фонологического, синтаксического, ...»¹⁶.

При определении ареала существенно то, что ареал имеет два содержания: ареальное и лингвистическое. Более того, сущность и характеристика найденного ареала не могут быть окончательно определены вне раскрытия и с т о р и и того явления, которое он в себе заключает¹⁷.

Из приведенных определений и характеристик ясно, что ареал в терминологическом понимании этого слова рассматривается как единица, вычлняемая на уровне лингвогеографических исследований. (В служебной записке "Об организации ареальных исследований" М.А. Бородина дала следующее обобщающее определение этому термину:) "Ареалом в (понимании) современного языкознания является строго очерченная территория определенной конфигурации, определенного местоположения, разного характера границ (которые определяются характером изоглосс), разной наполненности и разного материала наполнения. Ареал только в том случае может служить источником историко-лингвистической информации, если он выведен из достоверного материала, с помощью определенной техники и методики исследования. На помощь лингвистике для этого приходит география как в ее практической картосоставительской части, так и в вопросах теории пространства и его моделирования".

¹⁵ Там же. С. 22.

¹⁶ Там же. С. 23.

¹⁷ Там же. С. 36.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Sprachen in Europa. Sprachsituation und Sprachpolitik in europäischen Ländern. Hrsgb. von I. Ohnheiser, M. Kienpointner und H. Kalb. (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, Bd. 30). – Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1999, XI, 516 S.

Лингвистическая структура Европы систематически исследуется, начиная с классических трудов А. Мейе, А. Доза, Д. Дечи [Meillet 1918; Dauzat 1953; Décsy 1973], см. также [Hérard 1968]. Ныне эта проблематика особенно актуализируется в связи с процессом создания так называемой Объединенной Европы и обострением вопроса о роли в ней языков (ср. также [Loehr 1997; Arntz 1998; Mattusch 1999] и др.). На первый план выдвигается изучение, с одной стороны, проблемы языков межэтнического (resp. межгосударственного) общения, с другой, многих волнует судьба европейских языков, которые по объективным критериям не выходят за пределы своего внутриэтнического использования. В этой связи обостряется и проблема языков малых этнических групп Европы, которых в общей сложности насчитывается в ней несколько десятков. Рецензируемая книга как раз и посвящена вопросам языковой ситуации и языковой политики, проводимой современными европейскими странами. Этому аспекту отведено пять разделов (с. 11–391), к которым примыкают еще четыре небольших (с. 383–489), касающихся некоторых общих вопросов коммуникации. Имеется в книге и приложение (с. 491–511), о котором мы скажем ниже. Это коллективная монография, создателями которой являются в основном австрийские языковеды и прежде всего специалисты различных филологических институтов Иннсбрукского университета. Текст книги на немецком языке, за исключением одной, носящей информативный характер, заметки на французском языке.

Книгу предваряет статья М. Кинпойнтнера "Языки мира – языки Европы: цифры и факты" (с. 1–10), в которой, опираясь на данные других исследователей, автор делает

статистический обзор языков мира (их насчитывается, по разным данным, от 4000 до 6700), особо останавливается на крупных языках, из которых, например, английский родным считают 322 млн. чел., а всего в мире им пользуются 800 млн.; русский родным является для 170 млн. (в действительности, по данным последней переписи населения СССР 1989 г., их было около 145 млн.), при этом по числу переводов (данные на 1987 г.) он стоит на третьем месте после английского и французского. Автор дает далее беглую характеристику особенностей европейских языков и обзор новейшей литературы о них. Коснувшись языковых семей старого континента, он так и не дал полной их картины, в том числе и не отметил наличие в Европе малых славянских языков, или микроязыков, которые, как и ряд кельтских, романских и других, стоят перед угрозой исчезновения (см., например [Дуличенко 1981]).

В разделе "Языки внутри и вокруг Австрии" (с. 11–102) выделяются работы Х. Мозера о немецком как полицентрическом языке и Х. Гёбла о языковой ситуации в габсбургской (по-другому, дунайской) монархии. Х. Мозер, в частности, анализирует языковую вертикаль Австрии – соотношение стандартного (Standardsprache), повседневного языка (Umgangssprache), интердиалекта (Verkehrsdialekt) и основного, или родного, диалекта (Basisdialekt): на фонетическом, грамматическом и лексическом уровнях выделяет характерные австрицизмы в их отношении к особенностям немецкого Германии, Швейцарии и склоняется к концепции полицентризма (Plurizentrismus), т.е. отражения в грамматиках и словарях специфичных для каждой немецкоязычной страны черт. К статье

прилагается текст составленного под его руководством проекта "Словарь национальных и региональных вариантов немецкого стандартного языка". В статье Х. Гёбла дан подробный обзор истории языкового вопроса в габсбургской монархии. Языковую политику Габсбургов автор характеризует как достаточно либеральную, о чем свидетельствует, по его мнению, тот факт, что немецкий язык официально не был узаконен в качестве государственного, а другие языки с середины XIX в. имели возможность для свободного развития (например, с 1849 г. на 10 языках империи выходила юридическая газета-бюллетень, развивалось на них образование и т.д.). Статью завершают схемы и таблицы, показывающие процентное соотношение этносов в монархии на 1910 г., преподавание языков в национальных школах на 1849 г. и др., а также политико-административная и этнографическая карты Австро-Венгерской монархии. Этой статьей издатели книги хотели, вероятно, подчеркнуть важность учета прошлого для современной Австрии и прилегающих к ней стран. З.Д. Фелькль пишет о южно-славянских меньшинствах Австрии, в частности, о каринтийских и штирийских словенцах, а также о градищанских (или бургенландских) хорватах, проживающих в земле Бургенланд. На удивление, в списке использованной автором литературы не содержится, по сути, ни одной работы на других, кроме немецкого, языках. К тому же утверждение автора о том, что градищанские хорваты имеют лишь один словарь, немецко-градищанскохорватско-хорватский 1982 г. издания, не соответствует действительности: в 1991 г. практически тот же коллектив лексикографов выпустил большой по объему (842 с.) градищанскохорватско-хорватско-немецкий словарь [GHNR 1991]. М. Илиску пишет о немецком влиянии на румынский, К. Вёбкинд дает синтезированную характеристику венгерского языка, а Р. Шрабек рассматривает современную ситуацию с чешским языком, акцентируя основное внимание на социальном и территориальном его расслоении.

Весьма интересен небольшой раздел "Языки и диалекты в европейском регионе Тироль" (с. 103–143), в котором приводятся редкий материал, касающийся архаичных диалектов и языков романского и германского происхождения. Г.А. Планг знакомит с романскими диалектами Тироля (так называемыми западнороманским, доломито-ладинским и др.), Х. Зиллер-Рунгалдир подробно характеризует ситуацию с ладинским (ретороманским), а Б. Штефан затраги-

вает цимбрский языковой остров в верхней Италии. Цимбрский – это угасающий язык германского происхождения, которым владеют сегодня немногим более ста человек. Автор дает краткую характеристику этого микроязыка: старейшие памятники на нем появляются уже в 1500 г., а первая грамматика – в XVIII в. Ныне этот уникальный язык переживает возрождение: на нем издаются книги и выпускают журнал "Identità", из которого приводятся образцы текстов (с. 138–139).

Характеристика языков Европы представлена и в следующем разделе, названном «Известные языковые группы – "неизвестные" языки» (с. 145–264). Немецкий языковед Р. Эккерт пишет о балтийских литовском и латышском языках, характеризуя их структуру и касаясь некоторых социолингвистических аспектов. Небезынтересно здесь было бы также напомнить читателю о попытках, начиная с 80-х гг. XX в., возродить прусский язык изданием нормативных грамматик, организацией обществ и под. (см., например, грамматики Л. Палматиса: [Kluis 1989; Клоссе 1990: 72–116], а также издаваемый им бюллетень "Prūsas tautas prėigara") – ведь это тоже компонент (хотя и весьма специфический), который ныне переживает балтийский языковой ареал. А. Фидермутц дает синтезированный очерк идиш (этапы развития, диалектное членение, начало письменности и литературного языка, современное положение в Израиле и некоторых других странах). По мнению исследовательницы, идиш «пока еще не мертвый, но все же "вымирающий" язык» (с. 170). М.Ф. Хайншинок касается вопроса о цыганском, возводя в ранг отдельного языка диалект синти (статья так и называется: "Языки синти и рома", с. 177–190). Здесь следует отметить, что в Австрии в настоящее время наблюдается возрождение цыганской культуры и языка. Так, в Вене выходит журнал "Romano Centro", в котором тексты печатают по-немецки и на основе диалекта калдераш; один раз в месяц ведутся по-цыгански радиопередачи и т.д. Разработан проект кодификации цыганского литературного языка Австрии. Лингвистическая "загадка" Европы – баскский язык, на котором ныне говорит от 600 тыс. до 700 тыс. человек в основном в Испании, получил в монографии последовательное лингвистическое и социолингвистическое описание. Достаточно подробно и интересно изложена ситуация с современными кельтскими языками. Один из соавторов очерка, В. Майд, излагает историю развития кельтских языков, в то

время как У. Ройдер приводит любопытные факты социолингвистического характера, касающиеся новокельтских языков. Например, ирландский так или иначе провозглашают своим "родным" около 800 тыс. человек, из которых примерно 120 тыс. могут на нем говорить. В Шотландии на шотландско-гэльском (Schottisch-Gälisch) говорит около 80 тыс. человек. Близкий к ирландскому язык мэн (на острове Мэн – Man) еще звучал во второй половине XX в., однако последний представитель этого языка умер в 1974 г. Есть немало энтузиастов, которые хотят возродить его, как и прусский. Из всех новокельтских языков кимрский Уэлса считается наиболее "живучим" (lebenskräftigste Sprache), на нем говорят полмиллиона человек, он пытается занять прочные социолингвистические позиции. В 30-е гг. XX в. умерла последняя представительница корнуэльского языка (имевшего распространение в Корнуэлле). Как и в случае с мэнским, ныне около одной тысячи человек стремятся говорить по-корнуэльски. Бретонским (на северо-западе Франции, полуостров Бретань) пользуются, по разным оценкам, от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Примечательно, что и здесь делается немало для того, чтобы этот микроязык как можно дольше сохранялся в употреблении. Как подчеркивают авторы, носители всех этих микроязыков являются полными билингвами. Среди языков Скандинавии традиционно выделяются континентальные шведский, норвежский, датский и островные исландский (пользуется около 250 тыс. человек) и фарерский (около 50 тыс. человек), которые получают в статье (автор Р. Райдингер) суммарную характеристику. Непонятно только, почему такие разные языки, как, с одной стороны, саамский и финский, с другой – язык немецкого меньшинства в южной Дании, обозначены как "несеверогерманские языки Скандинавии" (с. 263).

Совершенно естественно в исследованиях подобного направления видеть материал, затрагивающий вопросы языковых контактов, лингвистического законотворчества, а также такую "горячую" социолингвистическую проблему, как языковые конфликты. Последние связываются в данном труде с бывшей Югославией (автор З.Д. Фёлькль) и прежде всего с проблемой сербскохорватского языка. Напомнив об исторических корнях языкового единства сербов, хорватов, боснийцев и черногорцев, автор замечает, что к концу 80-х гг. XX в. дивергентные тенденции здесь стали на-

столько очевидными, что боснийские языковеды предложили полицентрическую модель сербскохорватского литературного языка в виде четырех вариантов – сербского, хорватского, боснийского и черногорского. После развала Югославии стали, опираясь на социолингвистические критерии, говорить о сербском, хорватском и боснийском как об отдельных языках, причем если сербский мало изменился со времени "отделения" от хорватского, то последний изобилует различными лексическими новшествами, отражающими пуристические настроения в хорватском обществе и стремление как можно дальше отойти от общей с сербским основы. Нам кажется, что, говоря о конфликтной ситуации, связанной с сербскохорватским языком, нужно было бы коснуться и проблемы так называемого черногорского языка (см., например, публикации В. Никчевича [Nikčević 1993; 1997] и др.; проблематика расслоения сербскохорватского литературного языка рассматривается, например, в монографии [Okuka 1998]). П. Бразельманн излагает принципы языковой политики современной Франции, где приняты уже два лингвистических закона (1975 и 1994 гг.), в соответствии с которыми "объявлена война" англо-американизмам. В частности, в этой стране запрещено примерно три тысячи англо-американизмов, использующихся в 19 областях науки и производства (именно такие элементы составляют основу языкового гибрида, получившего название *franglais* "франкоанглийский язык"). Исследовательница считает, что такие "антиевропейские движения" не способствуют формированию "Европы без границ". В статье о языковой политике современной Испании (П. Бразельманн и Б. Хингер) затронуты некоторые аспекты региональных языков (баскский, каталонский, галисийский), а также английского языка в этой стране. Как и во Франции, в Испании развивается гибридная языковая форма – *espanglis* "испаноанглийский язык", однако испанцы, в отличие от французов, не выносят борьбу с этим гибридом на государственный уровень. П. Анрайтер рассматривает давнюю проблему балканского языкового союза (дается характеристика языков, входящих в него, приводятся основные фонетические и грамматические балканизмы и под.).

Последний раздел книги, непосредственно связанный с анализом языковых ситуаций и языковой политики в Европе, называется "Языки (международного) общения – плановые языки" (с. 335–391). Здесь затронуты

три вопроса: английский в мире (М. Маркус), русский как "второй родной" (И. Онхайзер) и плановые (= международные искусственные) языки (Х. Эльберг). Интенсивная англо-американизация всех сфер жизни Европы выдвинула острейшую проблему – отношение к английскому языку. Характерным для современной Европы является то, что этот язык выполняет роль *lingua franca* не только в области политики, экономики, науки, технологии, т.е. в специальных сферах, направленных на международное сотрудничество, но и быстро распространяется в тех областях, где в этом, казалось бы, нет особой необходимости. Речь идет об организации англоязычных каналов телевидения, радио в таких странах, как скандинавские, Австрия и других, не говоря уже о практике преподавания на английском языке всех или части предметов уже в начальной школе. В числе причин, способствующих распространению английского языка в Европе, автор называет аналитизм его грамматической системы (хотя и не считает английский легким языком), а также генетически смешанный его характер ("das Englische ist ein Bastard, ein Mischling", с. 347), что помогает носителям многих европейских языков находить в нем что-то близкое, похожее, знакомое. Формируется, по сути, "евроанглийский язык" (Euro-Englisch), характеризующийся, с одной стороны, отсутствием типичных для Британии диалектизмов, сленга и проч., с другой стороны, упрощенной формой, называемой *basic English*. Здесь следовало бы вспомнить о том, что в интерлингвистике давно и активно ведутся разработки по созданию проекта "базового английского" – *Basic English* (см., например [Дуличенко 1990: 252–254]; там же и литература вопроса). В этой связи сравнение предложенных лингвоконструктов типа *Basic English* со стихийно формирующимся упрощенным английским *basic English* имело бы серьезное теоретическое значение. (Кстати, заключительная часть статьи М. Маркуса, названная "Английский в Австрии сегодня" в действительности Австрии не касается!). И. Онхайзер поднимает уже позабытую "теорию" русского языка как "второго родного", активно внедряющуюся в практику последних полутора-двух десятков лет существования Советского Союза. Автор показывает, что эта "теория" как нежизненная была отброшена во времена "перестройки", когда широко и открыто стали обсуждать вопросы национальной и языковой политики и, в частности, вопрос о месте и роли русского

языка в новых условиях. Ныне, несмотря на упрочение позиций национальных языков в республиках бывшего Союза, русский язык в них, по мнению исследовательницы, во многих отношениях остается «главным посредником между "западной" культурой и федерацией, или Союзом Независимых Государств (средства информации, ТВ, переводы) независимо от того, какую культурно-политическую ориентацию они избрали (как в отдельных среднеазиатских государствах)» (с. 365). Обращается и внимание на изменения в русском языке последнего времени, в том числе и на опасность чрезмерной "интернационализации словаря" и формирования гибрида, который получил название *русангл* (подробнее о нем см. [Дуличенко 1994: 315 и далее]). Статья сопровождается рядом приложений, среди которых таблица языков народов СССР, опирающаяся на перепись 1979 г. (на основании немецкоязычного источника: *Landeskunde der UdSSR*. Leipzig, 1987), а не на последнюю перепись Советского Союза 1989 г. В целом анализ социолингвистических позиций русского языка проведен с большим знанием дела и представляет интерес не только для западного читателя.

Показательно, что в современной европейской лингвистике значение, по крайней мере теоретическое, придается и таким средствам международного общения, как плановые языки. Х. Эльберг рассматривает их возможности в контексте сложившейся уже истории лингвопроектирования, или лингвоконструирования, т.е. процесса создания международных искусственных языков, и современной языковой ситуации Европы (и мира). По последним данным (правда, противоречивым), эсперанто, например, используются от одного до нескольких миллионов человек, главным образом при непосредственных контактах, в переписке и в передаче культурной, научной и прочей информации (периодика, специальные издания, радио, Интернет и под.). При этом автор полагает, что международные искусственные языки "естественной структуры" (*naturalistischer Bau*), как, например, окцидентальинтерлингве или интерлингва, имеют перспективу регионального, например европейского, распространения, так как построены преимущественно на латино-романском языковом материале, в то время как языки типа эсперанто, называемые схематическими (их грамматика сильнее абстрагирована от романской и германской) могут претендовать на более широкое международное использование.

Как мы уже отметили выше, последние четыре раздела книги (некоторые из них состоят всего из одной статьи) непосредственно не отражают вопросы языковой ситуации и политики, однако они связаны с ними. Речь идет о понимании проблемы языкового посредничества (Sprachmittlung), о создании базы данных посредством терминологии, о важности исследования специальных языков, а также проблем устной коммуникации и о перспективах изучения способов овладения языком. К книге приложены ценные документы: "Решение Совета Европы от 21 ноября 1996 г. о принятии многолетней программы поощрения языкового многообразия сообщества в информационном плане" (с. 494–503), а также принятая в 1998 г. Венская декларация "Основные положения о разнообразии культур и этносов" (с. 505–507).

Без сомнения, рецензируемая книга дает много нового в плане осмысления языковой ситуации и тенденции развития языковой политики Европы. В ней представлен большой фактический материал, на основе которого вырисовывается лингвистическая картина Европы конца XX столетия. Свежим моментом является помещение в конце каждой статьи адресов Интернет, по которым читатель, заинтересованный в той или иной проблематике, может получить дальнейшие сведения – от материалов по мировым языкам до материалов по малым языкам, или микроязыкам, Европы и компьютерной обработки языковых данных. По каждой затронутой проблеме приводится наиболее важная новейшая литература. И хотя авторы сознательно ориентируются прежде всего на западного читателя, достойно все же сожаления, что почти не используется соответствующая литература на русском и других славянских языках (исключения редки – статья П. Онхайзер). Жаль, что статьи и очерки не сопровождаются синопсисом – это облегчило бы чтение такого объемного труда. Имеются в книге и некоторые противоречия, которые из-за большого разнообразия проблематики редакторам полностью устранить не удалось. Так, вызывает удивление несоответствие статистических данных о крупнейшей десятке языков мира в статьях М. Кинпойнтнера (с. 2) и М. Маркуса (с. 342), ср. соответственно в миллионах: китайский 885 + 77 – 1 млрд., английский 323–350, испанский 266–250, бенгали 189–150, хинди 182–200, португальский 170–135, русский 170–150, японский 125–120 и немецкий 98–100. Правда, авторы опираются на разные источники: первый на американское издание "Этнолог. Языки мира" [Crimes,

ed. 1996], второй – на "Кембриджскую энциклопедию языка" Д. Кристалла [Crystal 1987]. Однако помещенные в одном труде, эти разночтения нужно было бы как-то оговорить и тем самым предупредить читателя. Ряд частных замечаний нами сделан по ходу анализа текста книги (см. выше). В целом мы получили весьма богатый и полезный комpendium о лингвистической структуре современной Европы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Дуличенко А.Д.* 1981 – Славянские литературные микроязыки. (Вопросы формирования и развития). Таллин, 1981.
- Дуличенко А.Д.* 1990 – Международные вспомогательные языки. Таллинн. 1990.
- Дуличенко А.Д.* 1994 – Русский язык конца XX столетия // Slavistische Beiträge. Bd. 317. München, 1994.
- Клаоссе М.* 1990 – Новопрусский язык: "Толькемита" и "Пруса" // Interlinguistica Tartuens. VII. Tartu, 1990.
- Arntz R.* 1998 – Das vielsprachige Europa. Hildesheim, 1998.
- Crystal D.* 1987 – The Cambridge encyclopedia of languages. Cambridge, 1987.
- Dauzat A.* 1953 – L'Europe linguistique. Paris, 1953.
- Décasy Gy.* 1973 – Die linguistische Struktur Europas. Vergangenheit. Gegenwart. Zukunft. Wiesbaden, 1973.
- Hérard G.* 1968 – Peuples et langues d'Europe. Paris, 1968.
- GHHNR1991 – Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimški rječnik. Zagreb; Eisenstadt, 1991.
- Grimes B., ed.* 1996 – Ethnologue. Languages of the world. Dallas, 1996.
- Kluisis M.* 1989 – Naujosios prūsų kalbos gramatika. Vilnius, 1989.
- Loehr K.* 1997 – Mehrsprachigkeitsprobleme in der Europäischen Union. Frankfurt-am-Main, 1997.
- Mattusch M. H.-J.* 1999 – Vielsprachigkeit. Fluch oder Segen die Menschheit? Zu Fragen einer europäischen und globalen Fremdsprachenpolitik. Frankfurt-am-Main, 1999.
- Meille A.* 1918 – Les langues dans l'Europe nouvelle. Paris, 1918.
- Nikčević V.* 1993 – Piši kao što zboriš. Podgorica, 1993.
- Nikčević V.* 1997 – Crnogorski pravopis. Cetinje, 1997.
- Okuka M.* 1998 – Eine Sprache viele Erben. Sprachpolitik als Nationalisierungsinstrument in Ex-Jugoslawien // Österreichisch-bosnische Beziehungen. Bd. 4. Klagenfurt etc., 1998.

А.Д. Дуличенко

Известный цыган-поэт и учитель, а также цыганолог Лекса Мануш (Александр Д. Белугин), родным языком которого был диалект происходящих из Польши, но живущих в восточной Латвии цыган, сделался известным и как специалист в области цыганской диалектологии Латвии. Одной из его главных исследовательских задач в этой области было создание словаря цыганских диалектов Латвии. К сожалению, Лекса Мануш не дожид до выхода в свет этого значительного труда. Он скончался 21 мая 1997 г. в Москве после тяжелой болезни.

Рецензируемый здесь справочник *Čigānu-latviešu-angļu etimoloģiskā vārdnīca* (с 11-134) является первой частью трехязычного словаря, который вышел в свет в 1977 г. при финансовой поддержке Фонда Сороса в рижском издательстве 'Zvaigzne ABC'. В цыганском варианте он озаглавлен *Romano-lotfitko-anglitko etimoloģitko lavengīro līl*, в английском варианте — *Romany-Latvian-English etimological dictionary*. Вторая часть словаря Jānis Neilands, Kārlis Rudevics *Latviešu-čigānu vārdnīca — Lotfitko-romano lavengīro līl — Latvian-Romany dictionary* (с 135-318). Рукопись была отредактирована самим Манушем. Краткая грамматика цыганских диалектов Латвии (с 319-352) завершает словарь.

В вышедшем посмертно словаре обработан словарный состав трех цыганских диалектов, имеющих распространение в Прибалтике. Это два диалекта курземских и латгальских цыган, населяющих восточную и западную Латвию, и диалект видземских цыган Центральной Латвии и Эстонии. Не только богатый лексический материал, но и некоторые фонетико-фонологические и особенно морфологические характеристики позволяют обнаружить определенные связи между вышеназванными цыганскими диалектами Латвии и цыганскими диалектами других европейских стран, ср. звуковую форму *pʃal* (с. 105) "брат" и общецыганское *pʃal* "то же" < др.-инд. *bhīātai*. Однако убедительным доказательством родственных связей с цыганскими диалектами Балкан могут служить некоторые именные и глагольные суффиксы при склонении, спряжении и словообразовании в трех исследуемых диалектах. Например заимствованные существительные зачастую ассимилируются с помощью суффикса *-os* для

муж р е д ч и *-a* для жен р е д ч [Grammatik 1997: 330-333] так что они принимают цыганское морфотогическое оформление и потом как иноязычные заимствования входят в первоначальную унаследованную общую лексику ср. с одной стороны *biālēnos* (с. 35) муж р "кчзен" < латыш *biālēns* "то же" *golubkos* (с. 59) муж р "голубь" < рус *голубок* "то же", *pravos* (с. 103) муж р "пыль, прах" ср. болг. *прах* "то же" и т.д.: *slugos* (с. 116) муж. р. "слуга", ср. болг. *слуга* и т.д.; *verzakos* (с. 129) муж. р. "котомка" < нем. *Quersack* и, с другой стороны, *āka* (с. 24) жен. р. "крючок" < латыш. *āķis* "то же", *knija* (с. 78) жен. р. "палка, дубинка" < польск. *kił* "то же", *iaka* (с. 108) жен. р. "рак" ср. болг. *рак* "то же" и т.д. и *zafā* (с. 131) жен. р. "сок" < нем. *Saft*. Глаголы, заимствованные из языков принимающих стран, приспособляются к спряжению исконных глаголов с помощью словообразовательного суффикса *-in-*, ср. *dien-in-av* (с. 49) "служит (в армии)" < латыш *dienet* "то же" (от немецкого глагола *dienen*), но и *služ-in-av* (с. 116) "служить (в армии)", как русск. *служить*, болг. *служба* и т.д., *far-in-av* (с. 57) "ехать" < нем. *fahren* и т.д.

Суффикс существительных *-os* (ср. о распространении суффикса вне цыганского на Балканах [Мануш 1982: 53]) и — особенно убедительно — глагольные производные с помощью суффикса *-in-* являются очевидным признаком наличия общих словообразовательных средств в грамматике трех цыганских диалектов Латвии и диалекта эрлидесских цыган в Софии. Как известно, глагольный суффикс *-in-* является одним из словообразовательных средств невалашских цыганских диалектов на Балканах [Miklosich 1880: 479-480, Gilliat-Smith 1915-1916: 72], который не нашел широкого распространения в Европе. Ср., однако, в диалекте "Roman" бургенландских цыган Австрии "адаптационную морфему *-in-* в глаголах иноязычного происхождения как например *pis-in-av* "писать" < сербохорв. *pisati* или *ioas-in-av* "путешествовать" (глагол заимствован из немецкого *reisen* в диалектном произношении) [Halwachs 1998: 133]. По всей вероятности, в цыганских диалектах Латвии суффикс *-in-* расширил свою функцию в глаголе *lubinav* (с. 83) "вести порочную

жизнь", т.к. он присоединился к исконному корню *lubh-*, ср. др.-инд. *lubhyati* "он жадный, алчный", см. прилагательное *lubikano* "испорченный".

В качестве унаследованного суффикса, служащего для образования родительного падежа в цыганском языке, в цыганских диалектах Латвии используется также удлинённая форма *-kīro* для муж. р. ед.ч., *kīri* для жен. р. ед. ч. и *kīre* для мн. ч., ср. *dadesk(ū)o, -i, -e* (с. 46) [Grammatik 1997: 333–334] "отчий, отцовский". Эта удлинённая форма типична для невалашских цыганских диалектов (о ее распространении в цыганских диалектах Европы ср. [Мануш 1978: 29–30; 1982: 53]) и употребляется в цыганских диалектах, описанных А. Паспати, в диалекте эрлидесских цыган в Софии, а также в уже упомянутом австрийском диалекте "Roman" [Paspati 1870: 52; Halwachs 1998: 56]. Словарные статьи в данном словаре наряду с значением лексических единиц дают также сведения об их грамматических свойствах, стилистическую характеристику, а также характеристику относительно времени и места употребления, ср., с одной стороны, устаревшее прилагательное *xarkuno* (с. 63) "медный" и заимствованное слово *xarkuma* "медь" < греч. χαλκωσα или унаследованное, также устаревшее, обозначение родства *džešt* (с. 54) "шурин, зять" < др.-инд. *džeṣṭha* старший брат" и, с другой стороны, неологизмы *angillinaj* (с. 25), образованное от наречия *angil* "перед" + *linaj* "лето" и *bisand* (с. 33) "весна", ср. хинди *basant* [< др.-инд. *vasanta*] или *agorjakirav* (с. 22) "оканчивать" – отглагольное сложное слово из *agor* (с. 22) "конец" + *kērav* (в сложных словах: *kirav* (с. 71–72) [Grammatik 1997: 346]) "делать". Даются также указания на грамматические особенности, как например, образование глагольной основы в форме перфекта. Но основной упор словарь делает прежде всего на подробное толкование этимологии искомого фонда языка и заимствований в лексике исследуемых цыганских диалектов Прибалтики.

Лекса Мануш подошел к исследованию этимологии исконной лексики цыганских диалектов в Прибалтике гораздо более творчески, чем другие создатели подобных, ранее вышедших словарей цыганских диалектов Европы, ср., например [Vakerdi 1983] или [Valtonen 1972]. Автор по-новому объясняет основной запас слов цыганского языка. И это касается не только новой транскрипции слов древне- и новоиндийского происхождения, которая сохранена и в

данной рецензии. ср. др.-инд. *jivati* "он живет" (с. 55: *džīv*) > цыг. *dživel* "то же" или хинди *byah* "брак, женитьба" (с. 34: *bjah*) > цыг. *bjav*; см. также др.-инд. *śuci-* "чисто, чистый" (с. 121: *śuci*) > цыг. *šužo*. Новый подход к этимологии цыганского языка заключается и в более новом анализе и более подробном описании первоначальной формы соответственно способа словообразования некоторых слов, которые Р.Л. Тёрнер [Turner 1966] дает под звездочкой (*). Автор стремится представить этимон соответствующего слова с лексемами одинакового происхождения таким образом, чтобы наглядно продемонстрировать его родство не только диахронно, но и с точки зрения лингвистической географии. Так, он проследживает возникновение "доевропейского" основного лексического фонда древнеиндийского происхождения в разных временных эпохах древне-, средне- и новоиндоарийского языков, хотя он и не может дать документальных свидетельств, а приводит лишь реконструированные формы, которые возможны на основе фонетического и морфологического параллельного развития. Вот как он объясняет предполагаемые исконные формы отдельных слов: цыганское прилагательное *terdo* (с. 124) "стоящий" толкуется как первичный Particium perfecti от древнеиндоарийского глагола *sthir-* "быть установленным", звуковая форма которого сравнивается с употребляемым в Финляндии цыганским словом *sterdo* "стоящий". Поэтому сложное слово *terdžovav* "останавливаться" возникло в древнеиндоарийском из (*s*)*terdī-bhū-* и не восходит непосредственно к древнеиндийскому *dharati* "он останавливается" (ср. [Vakerdi 1983: 165; Turner 1966: 6747]). Происхождение заглавного слова *čhungar* (с. 45) "слюна", древнеиндийский этимон которого *thātkāra* точно не установлен (у Тёрнера [Turner 1966: 6103] он снабжен знаком вопроса), толкуется в словарной статье отглагольного сложения *čhungardav* "плевание" как состоящее из древнеиндоарийских компонентов *kṣīv-kar-dā-/kṣīb-kar-dā-*, где *kṣīv-/kṣīb-* означает "плевать", *kar-* – "делать", а *dā-* – "давать". Следовательно, глагол *pašovav* (с. 97) с вариантом *pašļovav* "то же" в других цыганских диалектах Европы также можно свести к древнеиндоарийскому сложному **pra-śajiti-bhū-*, о котором Лекса Мануш не упоминает (ср. *pašlo* "лежащий", "заснувший"). Такое толкование отличается как с точки зрения диахронии, так и с точки зрения словообразования от толко-

вания у Боретцкого – Игла [Boretzky, Iгла 1994: 211]: *pašol* (цыг. *paše* "близко") и [Там же: 210]: *pašljol* (цыг. *paš* "страница, сторона") или Векерди [Vakerdi 1983: 124–125]: *paš(l)jol* – к др.-инд. *parśvala* "лежащий" [Turner 1966: 8121].

Лекса Мануш подробно рассматривает почти все приведенные в словаре сложные слова, как например, *čamudav* (с. 40) "целовать" < др.-индоар. *čum(b)ī dā-*, с которым можно сравнить в хинди *čumā denā* "то же"; кроме того, сюда же можно отнести сложные глаголы, образованные из сочетаний имен с глаголами *kērav* (в форме *kirav* ср. [Grammatik 1997: 346]) "делать" или *ovav* "становиться". Этот тип глагольных сложений автор сводит к реконструированному либо подтверждаемому свидетельствами сложению, образованному с помощью древнеиндийских глаголов *kr-* "делать" и *bhū-* "становиться". В этой области словосложения показано на многочисленных примерах, что цыганские диалекты Латвии и сегодня сохраняют древнеиндийский способ образования новых глаголов. Это свидетельствует о том, что как в древнеиндийском прилагательном *-a-* в конце основы переходит в *-ī-* перед глагольной частью *-bhavati* или *-karoti*, так и в исследуемых цыганских диалектах окончание *-o-* соответствующего прилагательного перед последующим глагольным компонентом переходит в *-i-*. В качестве убедительного примера можно привести *phurjovav* (с. 107–108) "стареть, становиться старым" от *phuro* "старый" [< др.-инд. *vyddha*] + *ovav* [< др.-инд. *bhavami*], т.е. *phurjovav* < **phuri-ovav*, что соответствует др.-инд. *vyddhī-bhavami*. Однако первый компонент цыганских сложных слов, оканчивающийся на *-i-*, перед *-ovav* может переходить в *-ij-* > *-j-*. Поэтому согласные в именной основе исследуемых Манушем диалектов переходят в сибиллянты, ср. глагол *mačovav* (с. 84) "напиться", который из *matī* [цыг. *mato* "пьяный" < др.-инд. *matta*] + *ovav* перешел в **matij-ovav* (ср. форму перфекта *matijom* "я напился") через **matj-ovav* > **makijovav* – в *mač-ovav* и первично соответствует древнеиндийскому *matti-bhavami*.

В цыганском *mačkirav* (с. 84) "спавать", соответствующем др.-инд. *mattī-karomi*, тоже происходит палатализация согласного в основе прилагательного *mato* перед начальным согласным глагола *kirav*, и это можно проиллюстрировать на параллельной ассимиляции смычных звуков *t* и *d*: такие при-

меры, как вторичная деформация *saškirav* (с. 114) "лечить, делать здоровым" и *pherdžkirav* (с. 107) "наполнять", которые лежат в основе первичных сложений *saščakirav* и *pherdžakirav*, являются доказательством того, что наличествует возможность палатализации смычных *-t-*, *-d-* перед глагольным компонентом *-kirav* в исследуемом типе сложных слов. Глаголы *saščakirav* и *pherdžakirav* возникли из прилагательного *sasto* "здоровый" (с. 113 < др.-инд. *sva-stha*) и Participium perfecti *pherdo* "полный" (<др.-инд. *bharita*) + *kerav* "делать". В цыганском это первичные формы **sastia-kirav* (в слове *sasto* согласные *-st-* полностью ассимилируются) и **pherdia-kirav*, которые, возможно, соответствуют древнеиндийским **sva-sthi(a)-karomi* (с. 114) и **bhariti(a)-karomi* (с. 107), выявленным Л. Манушем. Лекса Мануш при этом не оставляет без внимания тот факт, что чередование звуков *t > k > č* или *d > g > đž* в сочетании с *kirav* может происходить и при других условиях, как например, в глаголах *mačkirav* (с. 84) "спаивать" < др.-инд. *mattī-kar* (т.е. цыг. *mato* "пьяный" = др.-инд. *matta*) или *londžkirav* (с. 82) "солить" < др.-инд. *lavaniī kar-* (цыг. *londo* "соленый, посоленный" = др.-инд. *lavānita*): ср. также *murdžkirav* (с. 89) "гасить, смыывать, уничтожать" < индо-иран. *murdī-kar* (ср. перс. *murda* "смерть"). Описанное здесь образование глаголов путем словосложения известно уже из диалектов балканских цыган, которые изучал Паспати: ср. образование аналогичных глаголов из исконного языкового материала: *pašlakirav* (с. 97) "укладывать спать", с одной стороны, и *pashliā kerava* [Paspati 1870: 416] "бросать на землю", с другой стороны; и то, и другое можно свести, по Манушу (с. 97), к др.-индоар. **pra-śajiti(a)-kar-*: сюда же относятся такие образования как *kaļovav* (с. 70) "становиться черным" и *kaliovava* [Paspati 1870: 261]. В исследуемых диалектах латвийских цыган существительное тоже может быть сложным словом в сочетании с *ovav*, ср. *lulodžovav* (с. 83) "цвести, расцветать" (ср. цыг. *luludži* "цветок" < греч. λουλούδι).

Этот подробно проанализированный в данном словаре способ образования новых глаголов с помощью *-kirav* и *-ovav* в цыганском языке важен постольку, поскольку он аргументирует возникновение и первоначальную форму глагольных суффиксов *-jar-*, ср. *phagirav* (с. 106) "ломать" < др.-инд. *bhag(na)-(k)ar-* и *-jov-*, которые служат для образования переходных и непереходных

глаголов в цыганских диалектах. Таким образом, Лекса Мануш вносит вклад в понимание и разъяснение свойств и признаков названных суффиксов, структура которых, например, у Боретцкого – Игла [Boretzky, Iglā 1994: 9, 409 и 203, 407] не проанализирована: так, морфема переходных форм рассматривается только в звуковой форме *-ar* и "в отдельных случаях *-ljar-*" (!). Морфема пассива приводится под "основной формой" *-ov-*; вариант *-jov-* (с. 130) авторы, по-видимому, не считают наследием праязыка. Однако иногда Лекса Мануш не связывает непосредственно с др.-индоарийским происхождением звуковые изменения при образовании сложных слов, а указывает на то, что возникновение сложных глаголов относится к более позднему периоду развития, ср. глагольное образование *paṇovav* (с. 97) "становиться белым" < средне-индоар. *paranī-bhū-*, т.к., вероятно, цыг. *parno* "белый" вместе с дардским палура *paṇāru*, тирахи *parana* соответствует др.-инд. прилагательному *pāṇḍu-* (ср. [Turner 1966: 8051]). Таким же образом автор трактует и другие имена, ср. слово *thav* (с. 126) "нить", которое, по мнению автора, имеет соответствия только в новоиндоарийских языках – хинди *dhāṣā* и непали *dhāgo* "то же".

Лекса Мануш достаточно хорошо понимает, что родственные связи между исконным словарным составом и заимствованной и иноязычной лексикой в цыганском языке не легко поддаются изучению и анализу. Но уже исследуя доевропейские заимствования, которые не отличаются от исконных слов, автор в своем словаре дает много интересных доказательств наличия языковых контактов цыган с средне- и новоиндоарийскими языками по пути в Европу. Здесь речь идет прежде всего о подробном описании происхождения, родственных связей и развития отдельных слов цыганского языка. Это особенно отчетливо видно из данных об этимологии таких обозначений как *bibi* (с. 32) "тетя", *dād* (с. 46) "отец" и *daj* (с. 47) "мать", *kak(o)* (с. 70) "дядя" или *salo, sali* (с. 113) "зять, невестка". При этом Лекса Мануш указывает на некоторые новые этимоны, которые до сих пор не учитывались при описании цыганских слов. Ср. цыг. *rugim* (с. 106) "луковица" < дравид. тамиль *riṇṇu* или цыг. *ixtav* (и цыг. диал. *xit'av*) (с. 127) "прыгать, подпрыгивать" < груз. *XToma*. Здесь имеется также указание на заимствованное из диалекта бурушаски слово *иџ* "(денежный) долг" в цыганском под

заглавным словом *эймо* (с. 128) "виновный; должен (деньги)", этимон которого можно найти у Боретцкого – Игла [Boretzky, Iglā 1994: 291] в дардском *ush* (ср. [Berger 1959: 34; Kupa, Genzor, Drozdík 1983: 180], которые представляют мнение Бергера о мнимых языковых контактах диалекта бурушаски и цыганского языка во второй половине первого тысячелетия). Кроме того, Лекса Мануш ищет для слова *gādžo* (с. 58) "не цыган" в др.-индоар. другое исходное слово, которое, как считают, возникло путем сложения **gā-dža* и имеет значение "(рожденный) в походе и песнях". По сравнению с распространенной этимологией из др.-инд. *gārhya-* "домашний", пракр. **gajjha* (ср. [Valtonen 1972: 49; Vakerdi 1983: 60–61; Boretzky, Iglā 1994: 94–95]) это объяснение Мануша напоминает народную этимологию. Лекса Мануш проводит рискованную параллель между обозначением праздника Пасхи *Patradžin* (с. 98) в цыганском и "др.-индоар." именем супруги Шивы Дурга – *Pattra-devī* "богиня листвы"; подобным образом он объясняет и слово *arman* (с. 26) "проклятие, богохульство", которое, по мнению автора, связано с ср.-перс. обозначением негативного принципа, *Ahriman*. И то, и другое (*Pattra-devī* и *Ahriman*) представляется, однако, сомнительным с культурно-исторической и языковой точек зрения. Но *dikhlo* (с. 49) "головной платок, косынка" Лекса Мануш рассматривает как субстантивированное *Participium perfecti dikhīta* от др.-инд. глагольного корня *dr̥kš-*, к которому восходит цыг. *dikhel* "он видит", приблизительно = др.-инд. **dēkṣati* [Turner 1966: 6507]. Также очевидно, что Лекса Мануш рассматривает обозначение для "варить" – *karavav, kēravav* (с. 70, 72), ср. [Маликов 1992: 41] как каузативное изменение значения исконного глагола *kērav* "делать" (таким образом, др.-инд. *karoti* "он делает": *kārayati* "он заставляет делать"), а не как возможное продолжение др.-инд. *kvathati* "варить" [Turner 1966: 3635]; ср. далее [Vakerdi 1983: 90] и [Boretzky-Iglā 1994: 144] под заглавным словом *kiravel*. Новое этимологическое объяснение имеет заглавное слово *mol* (с. 87) "вино, виноград", которое, по мнению Лексы Мануша, не является исконным словом, а заимствовано из таджикского *mol* "то же" и имеет соответствие в персидском *mol*.

Данный словарь содержит также специфический диалектный лексический материал, который обнаруживает некоторые фо-

нетические или морфологические особенности в общеупотребительном языке цыган и поэтому также нуждается в разъяснении. Ср. гл. *bagav* (с. 27) "петь", соответствующий звуковой форме *gabav* (с. 58) с тем же значением, которая возникла путем перестановки согласных $b(a)g > g(a)b$. Хотя оба эти заглавные слова не снабжены никакими этимологическими данными, для лингвиста ясно, что в этом случае речь идет о первичной форме глагола *gabav*, происхождение которого следует искать в общецыганском *giljabav* "петь" [Маликов 1992: 25. Vakerdi 1983: 62; Boretzky, Iglá 1994: 97]. Глагол *gabav* представляет собой в цыганских диалектах Латвии диспалатализованный вариант наряду с формой *zabav* первоначального *giljabav* > **gijabav* > **gjabav* > диспалатализованное *gabav* или ассибиллированное *zabav*, формой, которая употребляется в цыганских диалектах Болгарии и характеризуется переходом $gj > z$. Здесь следует упомянуть также глагол *dolav* (с. 50) "получать", который образует две различные формы перфекта: в диалекте видземских цыган это форма *dolijom* "я получил", которая соответствует общепринятому образцу спряжения *dolinjom* (или *dolijom*) "то же", а курземские цыгане употребляют сокращенную форму перфекта *doldžom* "то же", которая является красноречивым свидетельством существования в их диалекте вторичной перфектной основы *dold-*, восходящей к глагольной основе *-dol-* в настоящем времени. Появление вторичной перфектной основы *dold* в сочетании с цыганским глаголом *lav* "брать", который в форме *dolav*, образованной с помощью славянского предлога *do*, получает новое значение в цыганских диалектах Латвии, характерно и для диалекта эрлэдесских цыган в Софии [Костов, im Druck]. Особенный интерес в словообразовании представляет сведение обоих вспомогательных глаголов *ašti* (с. 26) и *sašti* (с. 114) "мочь", которые, помимо этого, имеют фонетические варианты *hašti* (с. 61), *jašti* (с. 68) и *vašti* (с. 128), а также в форме отрицания *našti* (с. 90) "не мочь" к реконструированным др.-индоар. Participle perfecti *ā-śaktu*, *sam-śakti* и *na-śakti* от др.-инд. глагола *śaknoti*. Тот факт, что эти безличные глаголы в диалектах латвийских цыган являются, по всей вероятности, инфинитивными формами глагола, которые выступают в роли Nomina adjectiva, могут, по-видимому, подтвердить сложные, образованные с помощью *-ovav* "становиться" слова *aštovav* (с.

26), *saštovav* (с. 114) "быть способным на что-л." и *naštovav* (с. 90) "не быть способным" с их исконными формами **ā-śakt(i)-bhū-*, **sam-śakt(i)-bhū-* и **na-śakt(i)-bhū-*, также реконструированными в др.-индоарийском.

В общий словарный состав трех исследуемых цыганских диалектов Латвии входят также европейские слова, лишь некоторые из которых ассимилировались с исконным словарем как заимствования в фонетике, ударении и словоизменении. И в этой области автор стремится на широкой сравнительной базе объяснить и представить родство между соответствующими заимствованными или иностранными словами и словами того же происхождения различных контактирующих языков Южной, Восточной и Центральной Европы. В этом случае речь идет прежде всего о той части лексики цыганских диалектов Европы, которая заимствована из отдельных балканских языков. За исключением небольшого количества слов, заимствованных из новогреческого, которые не отличаются от исконного словаря, эта нестабильная часть словарного запаса состоит из иностранных слов южнославянского происхождения. При этом количестве новогреческих и южнославянских заимствований в диалектах латвийских цыган является значительным, в то время как, например, иностранные слова румынского или венгерского происхождения в данном словаре встречаются крайне редко. При описании процесса заимствования Лекса Мануш учитывает историческую непрерывность в пополнении цыганских диалектов Латвии новыми иностранными словами. Поэтому при описании заимствования соответствующего общеславянского слова он исходит не только из его последнего употребления в северо-западной части южнославянского языкового пространства, но обращает внимание на то, что слово уже употребляется на Юго-Востоке Балкан, например, у болгар, и поэтому, возможно, вошло в цыганский язык через посредство болгарского. Например, иностранное слово *pravos* (с. 103) "пыль, пепел, прах" – иностранное слово либо заимствованное из южнославянского, и для его перехода в цыганский решающим является болгарское, сербское и хорватское слово *prah* (*prah*). Редко имеется указание на южнославянского происхождения иностранного слова в цыганском, и ни один язык не дается как посредник, ср. *šalimav* (с. 133) "сочувствовать, жалеть", хотя болгарский глагол *жаля* (в диалектах также *жа.л.и.м.* как в

сербском) может служить основой для цыганского заимствования. Интересно, что некоторые цыганские слова восходят не только к южнославянским, но и к восточно- и западнославянским первоначальным лексическим формам, см. под заглавным словом *slugos* (с. 116) "слуга", где упоминаются болгарское, сербское, хорватское, русское, польское и другие соответствия. Надо надеяться, это не означает, что цыганские диалекты Латвии используют указанное славянское слово каждый раз снова в зависимости от контактирующего языка. Славянские языки также ярко представлены и в образовании новых глагольных сложений. Так, данный словарь охватывает большое количество цыганских глаголов, образованных с помощью славянских предлогов в качестве приставок, благодаря чему их значение модифицировалось. Например, *pri-phenav* (с. 104) "располагать, расставлять", *do-resav* (с. 51) "получать" или *za-sovav* (с. 132) "засыпать", которое употребляется уже в цыганских диалектах Болгарии и соответствует болгарскому *за-спивам* (*засня*) "то же". Иногда, редко, глаголы в исследуемых диалектах образуются с помощью наречий цыганского происхождения, например, *čhinav pāle* (с. 44) "отвечать" или *dav andre* (с. 47) "входить; начинаться, наступать, происходить".

Что касается калькирования в исследуемых цыганских диалектах Латвии, то здесь показательна форма сложного глагола *ot-kerav* (с. 95) "открывать", образованного с помощью приставки *ot-*: не только славяне [Фасмер III, 1971: 169–170] предполагают переход **ot-voriti > *o-tvoriti*), но и цыгане объясняют возникновение глагола **ot-voriti* как сложное слово, состоящее из **ot-tvoriti*. Такой анализ компонентов представляется убедительным. Болгарский язык также доказывает, что действие "открывать" выражается различными глаголами, образованными с помощью приставки *ot-*, ср. глагол *от-туля* "открывать" и простое слово *туля* "прятать" в противоположность к *за-туля* "закрывать". Таким образом, в цыганских диалектах после деепозиции **ot-tvoriti* (славянский предлог *ot-* и глагол *tvoriti* "делать" = цыг. *kerav*) уже в сербском языковом ареале появился собственный сложный глагол *ot-kerav* "открывать" (ср. [Heinschink 1994: 115; Boretzky, Iglā 1994: 202]). Лекса Мануш сам указывает на то, что иногда в диалектах латвийских цыган приобретение словами нового значения зависит от иноязычных образцов. Он приводит следующий

пример: новое конкретное значение первичного абстрактного образования *stāriben* (с. 117) "тюрьма" от глагола *stārav* "ловить (рыбу)" является калькой, ср. немецкое суффиксальное существительное *Gefängnis*, образованное от глагола *fangen*.

Займствование грамматико-синтаксических особенностей из контактирующего языка можно проиллюстрировать на следующих примерах. Выражение *čhuvav karti* (с. 46) "раскладывать карты (для предсказания будущего)" употребляется так же, как в цыганских диалектах Болгарии; оно имеет соответствие в болгарском *хвърлям карти*. Безличный глагол *naresel* в выражении *te sir narešča vīnos, togi daj Isuskūri rakirla Leske: vīnos nāni lenge* (J II, 3) (с. 90), который в переводе Лютера звучит: "und da es an Wein gebracht, spricht die Mutter Jesu zu Ihm: Sie haben nicht Wein" [и как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них (Евангелие от Иоанна, гл. 2, 3)] также является доказательством того, как в цыганском языке формируются новые значения по образцу других языков: *naresel* напоминает и немецкое безличное "es reicht nicht – недостает", и цыганское *na'resel* "то же" в балканских странах (ср. [Boretzky, Iglā 1994: 10]; *aresel* и [Маликов 1992: 35]: *eresel* = болг. *стмуза*). Выражения *lav [la] romŋa* и *lav[la] romŋake* (с. 81) "взять (ее) в жены, жениться (на ней)" отражают две фазы развития в управлении глагола *lav*; одна из них первична, ср. в цыганских диалектах Балкан Accusativus duplex в предложениях *lav [la] romŋja, lav [les] romes* (уже у Паспати [Paspāti 1870: 330–331, 463] под заглавным словом *romni*), другая была позднее: *lav [la] romŋake*.

Не следует удивляться, что в рецензии даются указания на лексические и грамматические совпадения в диалектах латвийских и балканских цыган. Как известно, автор включил в словарь большое количество заимствований новогреческого происхождения (не др.-греч. происхождения, как иногда утверждают, ср. под заглавным словом *klidin* (с. 73) < κλειδί(ov) "ключ") и немало южнославянских, в том числе, болгарских слов. Это позволяет сделать некоторые выводы, например, что слово *magarīnav* (с. 84) "подвергнуть кого-л. ритуальному осквернению", возможно, восходит к новогреческому μαγαρίζω "осквернять". Наречие *togi(d)* (с. 124) "тогда" передает болг. диалект *тоги, тогив(а)* "то же" [Геров 1904: 341], ср. ...*togi daj Isuskūri rakirla Leske...* (ср. J II, 3) "...dann sagt du Mutter Jesu

zu Ihm... – то (тогда) Матерь Инсуса говорит Ему...".

Краткий обзор морфологии и словообразования диалектов курземских и видземских цыган Лексы Мануша содержит интересные грамматические особенности (Īsa latviešu čigānu dialektā grammatika. с. 319–352). Здесь следует указать на то, что диалекты располагают двумя личными окончаниями глаголов в настоящем времени: краткая форма выполняет не только презентную, но и "конъюнктивную" функцию; полная же форма употребляется для выражения будущего времени [Grammatik 1997: 339]. Поэтому цыганским диалектам Латвии балканское будущее время, аналитически образованное с помощью частицы *ka*, неизвестно (ср. о его возникновении [Мануш 1982: 57]). Поэтому говорится: *romes gībnastir pindžkiresa* (с. 58. под заглавным словом *gīben*) "цыгана узнают по походке". Это выражение можно дословно передать в будущем времени на цыганском диалекте Софии примерно так: *romes phiribnastar ka pendžares [les]*. Если провести параллель между этими двумя выражениями, то обнаружим, кроме этого, что аблатив, который в цыганских диалектах Латвии употребляется у существительного *gībnastir* в тесной связи с глаголом *pindžkiresa*, имеет аналог в цыганских диалектах Балкан.

Данный этимологический словарь, опубликование которого стало возможным благодаря поддержке Фонда Сороса и издательству "Zvaigzne ABC", представляет собой заслуживающий внимания подход к истории и развитию словарного запаса, а также содержательное описание диахронного словообразования в цыганских диалектах Латвии. Однако в рецензируемом здесь справочнике наряду с основным словарным составом, а также европейскими заимствованиями и иностранными словами представлены также некоторые свойства фонетического и морфологического состава в грамматике выше названных цыганских диалектов. Так, приведенные примеры из Евангелия от Иоанна, переведенные на цыганский язык Латвии, из песен, народных афоризмов и фразеологических оборотов способствовали подбору подходящего языкового материала, иллюстрирующего интересные лексические, грамматические или синтаксические особенности диалектов курземских, латгальских и видземских цыган. Всем этим цыгановедение и цыганская лингвистика обязаны неутомимому труду Лексы Мануша (1942–1987). ср.

[Čerenkov 1997: 10–11]. очень много сделавшему для изучения европейских цыган и их языка. Лекса Мануш и Пауль Аристэ (1905–1990. ср. [Kykk 1983; Rätsep 1980: 45–46]). два моих добрых незабвенных друга, заслуживают особого признания в области изучения цыганских диалектов в Латвии (с. 8) и в Прибалтике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Геров Н. 1904 – Речник на българский език. Т. V. Пловдив. 1904.
- Маликов Я. 1992 – Циганско-български речник. София. 1992.
- Мануш Лекса 1978 – К вопросу о категории генитива в индоарийских диалектах Европы ("романи ч'аиб") // Исследования по фонологии и грамматике восточных языков. М., 1987.
- Мануш Лекса 1982 – О нескольких инновациях в балкано-цыганском диалекте Молдавии // Лимба ши литература молдовеняскэ. 1982. № 3.
- Рямсен Х. 1980 – Академик Пауль Аристэ. Таллин, 1980.
- Фасмер М. 1971 – Этимологический словарь русского языка // Пер. с нем. и дополнения О.Н. Трубачева. Т. III. М., 1971.
- Berger H. 1959 – Die Burušaski-Lehnwörter in der Zigeunersprache // Indo-Iranian journal. 1959. № 3.
- Boretzky N., Iglar B. 1994 – Wörterbuch Romani-Deutsch-Englisch für den südeuropäischen Raum. Mit einer Grammatik der Dialektvarianten. Wiesbaden. 1994.
- Čerenkov L.N. 1997 – [Nachruf ant] Leksa Manuš // Romano Centro [Wien]. 1997. № 18.
- Gilliat-Smith B. 1915–1916 – Report on the Gypsy tribes of North-East Bulgaria // Journal of the Gypsy lore society. New series. IX. Pt. 2. 1915–1916.
- Grammatik 1997 – Īsa latviešu čigānu dialektā grammatika // L. Manušs, J. Neilands, K. Rudevičs. Čigānu-latviešu-angļu un latviešu-čigānu vārdnīca. Rīga, 1997.
- Halwachs D.W. 1998 – Amaro vakeripe Roman hi. Texte. Glossar und Grammatik der burgenländischen Romani-Variante. (Klagenfurt / Celovec). 1998.
- Heinschink M.E., Hrsg. 1994 – E romani čhib. Die Sprache der Roma // Roma. Das unbekannte Volk. Schicksal und Kultur / Hrsg. von M.E. Heinschink. U. Hemetek. Wien: Köln; Weimar. 1994.
- Kostov K. [im Druck] – Zur Entstehung sekundärer Stämme im Verbalsystem des Romani im Balkansprachraum im Vergleich zu Entspre-

- chungen dieser Spracherscheinung im Altindischen.
- Krupa V., Genzor J., Drozdík L.* 1983 – Jazyky světa. Bratislava, 1983.
- Kukk T.* 1983 – Paul Ariste mustlaskeele uurijana // Keel ja kirjandus. 1983. № 8. XXVI.
- Miklosich Fr.* 1880 – Über die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europas IX–X. Wien, 1880.
- Paspatis A.* 1870 – Études sur les Tchinghianés ou Bohémiens de l'Empire ottoman. Constantinople, 1870. [Reprint: Osnabrück, 1973].
- Turner R.L.* 1966 – A comparative dictionary of the Indo-Aryan languages. London, 1966.
- Vakerdi J.* 1983 – A magyarországi cigány nyelvjáráások szótáta. Pécs (Tanulmányok VII. a cigány gyermekekkel foglalkozó munkacsoport vizsgákataiból. Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar). 1983.
- Valtonen P.* 1972 – Suomen mustalaiskielen etymologinen sanakirja. Helsinki, 1972.

К. Костов

Перевела с немецкого *В.Л. Карпова*

Р.Г. Пиотровский. Лингвистический автомат и его речемыслительное обоснование. Минск: МГЛУ, 1999. 196 с. ***Р.Г. Пиотровский. Лингвистический автомат (в исследовании и непрерывном обучении).*** Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ, 1999. 256 с.

В 1999 и 2000 гг. вышли из печати две новые книги проф. Р.Г. Пиотровского, основавшего в 1959 г. и руководившего в 1959–1991 гг. общесоюзной группой "Статистика речи" (СтР), а в настоящее время возглавляющего международный коллектив с этим же названием (члены этого коллектива работают в России, Беларуси, Республике Молдова, Израиле, ФРГ, Канаде и других странах). В двух дополняющих друг друга книгах – "Лингвистический автомат и его речемыслительное обоснование" (далее ЛА-1) и "Лингвистический автомат (в исследовании и непрерывном обучении)" (далее ЛА-2) – суммируется более чем сорокалетний опыт работы самого автора, а также его коллег и учеников в области лингвистического моделирования и семиотики (ЛА-1, гл. 1–3; ЛА-2, гл. 1–2), информатики и вычислительной техники (ЛА-1, гл. 5–7; ЛА-2, гл. 4–7), нейро- и психолингвистики (ЛА-1, гл. 4; ЛА-2, гл. 3), искусственного интеллекта (ИИ), статистико-комбинаторного описания речи и автоматической переработки текста (АПТ), в том числе машинного перевода (МП) и компьютерной оптимизации преподавания языков (ЛА-1, гл. 6–8; ЛА-2, гл. 6–9).

Междисциплинарное разнообразие тематики не случайно. Оно объясняется необходимостью детально познакомить читателя с теми концепциями: общелингвистической (ЛА-1, гл. 1–3; ЛА-2, гл. 1–2), психолингвистической (ЛА-1, гл. 4; ЛА-2, гл. 3) и информационно-статистической (ЛА-1, гл. 5–7; ЛА-2, гл. 4–7), – на базе которых строились в группе СтР реально действующие системы МП (МУЛТИС/SILOD) и на которые опираются современные

коммерческие отечественные системы МП (ПРОМТ/СТАЙЛОС, САРМА/СОКРАТ, ПАРС).

Отличаясь, главным образом, разной степенью представления прикладного аспекта, книги объединены теоретической базой, которой посвящены главы, рассматривающие те вопросы в науке о языке и смежных дисциплинах, последовательное решение которых могло бы помочь в преодолении эпистемологических и технологических барьеров, встающих на пути моделирования речемыслительной деятельности человека (РМД) и создания ее компьютерных аналогов – систем ИИ.

Центральной эпистемологической и онтологической проблемой, рассматриваемой в работах, является соотношение природы естественного и искусственного языков. Солидаризуясь с такими учеными как Л. Заде, Г. Дрейфус, Г.П. Мельников, В.В. Налимов, автор утверждает, что

– ЕЯ имеет нечетко-множественное построение, применяющее нечеткую логику и отношение толерантности между его элементами (ЛА-1, с. 6–22; ЛА-2, с. 5–9, 27–34),

– ЕЯ не является исчислением, но представляет собой открытую коммуникативную систему, которая не только применяет узувальные, то есть социально закреплённые связи между означающим и означаемым определенно знака и между различными знаками, но также использует "творческий" вторичный семиозис, или окказиональные ассоциации между обоими компонентами знака, и не предусмотренные правилами логического исчисления ненормативные соотношения

знаков (ЛА-1, с. 6–9, 35–109; ЛА-2, с. 5–9, 43–126),

- эпистемологическое допущение, согласно которому речемыслительная деятельность человека, как и все его разумное поведение, может быть полностью формализована в терминах единой системы эвристических правил, неверно (ЛА-1, с. 6–9, 23–34, 110–172; ЛА-2, с. 5–42, 126–239).

Опыт построения работающих систем МП показал, что между языком компьютера и языком человека существует барьер отторжения между описаниями стационарных процессов в неживой материи (ср. "язык" компьютера), с одной стороны, и описанием нестационарных процессов, характерных для живой природы, в том числе для лингвистического поведения человека, с другой. Этот барьер реализуется в таких генетических парадоксах человека и лингвистического робота, как

- противоречие между открытым, вечно развивающимся ЕЯ и закрытым, не допускающим самопроизвольного изменения и развития "языком" ЭВМ,
- несоответствие между эквивалентной природой множеств компьютерного языка и толерантностью лингвистических множеств,
- противоречие между единственным для компьютера смыслом текста и его единиц и многоаспектностью естественно-речевого сообщения, несущего обычно три типа смыслов, из которых два диктуются прагматикой коммуникантов (речь здесь идет об индивидуальных авторском и перцептивном смыслах), а третий является независимым от них социологизованным, коллективным смыслом.

Автор напоминает, что пренебрежение указанными различиями и парадоксами неизменно заводило в тупик тех разработчиков систем МП, которые упорно продолжали работать в русле "алгебраической" стратегии, рассматривающей ЕЯ подобно искусственным языкам математики, программирования и т.п. как исчисления, надеясь путем все более углубляющейся и охватывающей новые языковые уровни формализации получить на компьютере высококачественный смысловой перевод. В результате их работа над созданием реально функционирующих систем МП, автоматического индексирования, реферирования и других видов смысловой переработки текста парализовывалась и превращалась в погоню за горизонтом.

Само осознание различий, отделяющих ЕЯ от языка лингвистического автомата,

еще не снимает, разумеется, всех трудностей, возникающих при построении систем МП (эти системы не могут быть реализованы иначе, чем на компьютерном языке-исчислении). Поэтому в рецензируемых работах рассматриваются нетривиальные теоретические подходы, которые могли бы ослабить отторжение ЕЯ со стороны компьютерного языка-исчисления.

В частности, одной из основных задач, связанных с компьютерным моделированием РМД человека, является, с одной стороны, формальное описание этой нечеткости и континуальности (ЛА-1, гл. 1; ЛА-2, гл. 1), а с другой – поиски путей представления нечетких и размытых семиотических объектов РМД в виде четких и дискретных аналогов (ЛА-1, гл. 3, 4; ЛА-2, гл. 2, 3), которые могут быть восприняты и переработаны ЛА (ЛА-1, гл. 6, 7; ЛА-2, гл. 6, 7, 8). Отметим, что термин "знак" трактуется автором в русле сосюррианской традиции как билатеральная психическая сущность. Это дает большие возможности по сравнению с "треугольником" Пирса-Фреге-Морриса при описании природы указанного выше барьера отторжения.

Задачу снижения барьера, отделяющего ЕЯ от "языка" компьютера, трудно решить без понимания существа синергетических механизмов языка и речи (эта проблематика интенсивно разрабатывается международным коллективом, руководимым немецкими учеными Г. Альтманном и Р. Кёлером). Поэтому Р.Г. Пиотровский уделил особое внимание синергетическим механизмам РМД в индоевропейских и некоторых урало-алтайских языках (тюркских, финно-угорских) и возможностям их моделирования (ЛА-1, гл. 2, 5, 8). Основываясь на экспериментальных данных и, в первую очередь, информационно-статистических измерениях текстов моделируемых разноструктурных языков, автор обращает внимание читателя на те аспекты их саморегуляции, учет которых помогает понять причины неудач, постигших многие коллективы разработчиков систем ИИ и других форм АПТ. По ходу дела автор дает описание синергетических механизмов в диахронии индоевропейских языков, сравниваемой эпизодически с историческим развитием других языковых семей. К сожалению, автор не учел наблюдения над механизмами саморегулирования и самоорганизации в большей части языков, оставшихся за рамками рецензируемого сочинения и заслуживающих не меньшего внимания. В этой связи хотелось бы высказать автору пожелание расширить

языковое поле синергетических исследований¹.

В книге ЛА-2 автор сосредотачивает свое внимание на анализе результатов по компьютерному решению лингвистических (включая информационно-статистический подход, гл. 4–7) и лингводидактических задач (гл. 8). Здесь представлены реально работающие системы МП, аннотирования и реферирования текста, а также попытки компьютерного моделирования основных аспектов РМД человека.

Автор показывает, что "интеллектуальные" системы переработки текста должны в будущем функционировать так, как работают сложные системы в информационно-энергетическом пространстве. Это значит, что ЛА и обучающий ЛА (ОЛА) должны строиться не только в виде полифункциональных программ, способных осуществлять различные изолированные операции (грубый лексико-грамматический МП, автоматическое индексирование и аннотирование текста, автоматическое распознавание сканированных письменных текстов, выполненных различной графикой, в том числе иероглификой, распознавание и "понимание" устной речи – ЛА-2, гл. 6–8). ЛА и ОЛА будущего должны уметь с помощью аналога коммуникативно-прагматического оператора (КПО) сопоставлять результаты этих операций, оценивать их адекватность замыслу отправителя и ожиданию получателя информации, а в идеале и учитывать изменение внешних условий человеко-машинного общения, другими словами – отличаться творческим подходом в решении сложных "интеллектуальных" задач (ЛА-2, гл. 9). Это значит, что машинный КПО должен уметь самостоятельно перестраивать в ЛА и ОЛА структуру целей и динамически менять путь переработки текста в пространстве лингвистических задач. Эта перестройка предусматривает изменение приоритетов целей. Цели, считающиеся недостижимыми, откладываются. Например, если автомату в ходе анализа данного фрагмента недостает семантико-синтаксических ресурсов, он должен ограничиться его пословно-пооборотным переводом. При этом отложенные цели не забываются и при необходимости могут актуализироваться. Так, после семантико-синтаксического перевода оставшейся части предложения или абзаца ЛА может вернуться к анализу

первого примитивно переведенного фрагмента с тем, чтобы, используя новую информацию, попытаться перевести его.

Следует заметить, однако, что при описании "интеллектуальных" систем переработки текста автор недостаточно учитывает опыт эксплуатации отечественных коммерческих систем МП ПРОМТ и СОКРАТ, а также лучших зарубежных систем АПТ SYSTRAN и GLOBALINK, которые опираются на лингвистическую методологию, близкую описанным в рецензируемых книгах идеям. Так, поиски этими коммерческими коллективами инженерно-лингвистических и алгоритмических путей улучшения МП показали, что, хотя современные промышленные системы МП и ориентированы своими словарями и грамматиками на определенные предметные области, эти системы не способны "понять" его общий смысл и композицию. Они не распознают в документе иноязычные вставки и фрагменты, относящиеся к другим предметным областям. Не воспринимают они и переходы от одной частной тематики внутри основной предметной области к другой. Эти системы механически и бездумно переводят иноязычный текст, не имея возможности контролировать осмысленность своего перевода. Наблюдения показывают, что неограниченное расширение лингвистической базы данных (ЛБД) и "латание" алгоритма и программы приводит чаще всего к росту информационных помех и ухудшает качество перевода. Заметное улучшение качества МП требует замены традиционных статических ЛБД, применяемых в современных системах, на динамические базы знаний, которые давали бы возможность лингвистическому автомату преодолеть три операционных ступени на пути к адекватному "пониманию" и переводу текста, а именно:

1) ступень его нормализации, то есть распознания его формальной и смысловой организации,

2) ступень адекватного перевода ("понимания") отдельных составляющих текста (слов, словосочетаний и отдельных простых предложений),

3) ступень "понимания" текста в целом, позволяющая скорректировать ошибки, допущенные ЛА на первых двух ступенях переработки текста.

Необходимость такого трехступенчатого построения новой системы МП стала особенно очевидной в ходе создания в 1997–2000 гг. группой СтР экспериментальной системы устного машинного перевода ORAL SILOD (см. [Beliaeva, Zaitseva et al. 2000]).

¹ В частности, следовало бы использовать такие источники, как [КТААЯ 1982; Мельников 1968; Мельников, Охотина 1971; Breiter 1994; Nettle 1998].

Описание узловых проблем ИИ, представленное в рецензируемых работах, привлечет внимание ученых разных направлений, а особенно специалистов в области теоретического и прикладного языкознания, информатики и вычислительной техники. Оба сочинения могут быть использованы в качестве учебных пособий для студентов, аспирантов и преподавателей университетов самых разных профилей, которые предполагают заниматься решением разных лингвистических задач, включая в первую очередь задачи АПТ и компьютерной оптимизации преподавания родного и иностранного языков, предусматривающие творческое взаимодействие учащегося с многоцелевой автоматизированной лингводидактической системой. Материал обеих книг может быть использован в преподавании курсов "Языкознание", "Введение в филологию", "Контрастивная лингвистика", "Естественный язык и язык компьютера", "Языкознание и математика", "Математика и информатика", "Основы теории перевода", "Лингвистические автоматы", "Компьютерные обучающие программы", "Технические и аудиовизуальные средства обучения (информационно-педагогические технологии)".

Оценивая сбалансированность архитектуры обеих книг, хотелось бы заметить следующее. В книге "Лингвистический автомат (в исследовании и непрерывном обучении)", учитывая ее большую прикладную ориентацию, можно было бы расширить описание статистической методики, подробнее описать использование ЛА в обучении родному и иностранному языкам, ввести контрольные вопросы и упражнения, а также выделить особо в библиографии работы учебного характера, доступные широкому кругу учащихся.

В заключение следует подчеркнуть, что лингвистические аспекты искусственного интеллекта и автоматической переработки текста обсуждаются в монографиях лаконично, без фразерства, с лингвистической точностью, фактологической и библиографической эрудицией, принципами объективности и краткости, стилистическим изяществом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- КТААЯ 1982 – Квантитативная типология афро-азиатских языков / Отв. ред. В.Б. Касевич, С.Е. Яхонтов. Л., 1982.
- Мельников Г.П. 1968 – Системный анализ причин своеобразия семитского консонантизма (методические разработки). М., 1968.
- Мельников Г.П., Олошина Н.В. 1971 – Выявление детерминанты в классификации морфем банту (на материале суахили) // Проблемы африканского языкознания. Типология, компаративистика, описание языков. М., 1971.
- Beliaeva L., Zaitzeva N. et al. 2000 – Oral SILOD – an experimental system of oral machine translation // Speech and computer. SPECOM'2000 / International Workshop: Proceedings (25–28 September 2000). St.-Petersburg. 2000.
- Breiter M.A. 1994 – Length of Chinese words in relation to their other systemic features // Journal of quantitative linguistics. V. 1. 1994. № 3.
- Nettle D 1998 – Coevolution of phonology and the lexicon in twelve languages of West Africa // Journal of quantitative linguistics. V. 5. 1998. № 3.

Н.Ю. Зайцева, Ю.А. Косарев

IN MEMORIAM АКАДЕМИКА ФЕРЕНЦА ПАППА

Большую утрату понесла венгерская и международная славистика со смертью академика Ференца Паппа. Он скончался в возрасте 70 лет весной 2001 года. Действительный член Венгерской академии наук, профессор Дебреценского и Будапештского университетов, член Президиума МАПРЯЛ'а, он активно трудился до конца жизни несмотря на тяжелую, жестокую и длительную болезнь.

Трудно выразить обычными словами потерю, которую переживает сейчас языковедение. Ушел не просто языковед, страстный обожатель и прирожденный учитель избранного им русского языка, но такой человек, который умел передать людям любовь к этому языку и несомой им культуре, увлекая за собой всех и особенно молодежь, которую он выделял как наиважнейшую.

Не перечисляя широкого спектра его многочисленных трудов, упомянем лишь одну его работу: "Könyv az orosz nyelvűről" (Книга о русском языке. Будапешт, 1979). Книга эта родилась в те годы, когда в Венгрии необходимость знания русского языка при усилившемся соперничестве с другими популярными языками многими считали уже не столь важной, что сказывалось и на преподавании русского языка. Но "Книга" писалась не в порядке самообороны, ее стимулировали не какие-то пропагандистские цели, она попросту передавала читателю впечатление от русского языка, совсем иное, чем от занятия другими языками. Она была написана человеком, который никогда не был удовлетворен своими знаниями языка, но который своим произношением, культурой языка мог увлечь всех говорящих на родном русском языке.

С таким дарованием он мог бы стать и прекрасным переводчиком или преподавателем, но он все-таки был лингвистом, который делился своими знаниями как с языковедами, так и с изучавшими русский язык. Для него не существовало "чистого" языковедения, а своими достижениями он делился с широкой публикой, со студентами и преподавателями языка. Об этом свидетельствует его другой крайне популярный труд, известный просто как "Курс" (Курс современного русского языка. Будапешт, 1968 – в соавторстве с К. Болла и Э. Палл), который был написан по его инициативе, под его редакцией, где два больших раздела о морфологии и синтаксисе написал он сам. Концепция всей книги отражала наивысший уровень научных знаний своего времени, ее можно считать одним из первых всеохватывающих достижений вычислительной морфологии и генеративного синтаксиса русского языка. И все это в те годы, когда в Советском Союзе, да и в других странах этот новый научный подход с трудом прокладывал дорогу, добиваясь признания в науке.

Подлинность трудов Ференца Паппа, их увлекательную доказательность подтверждала оригинальность его исследований. Он был среди первых внедрявших генеративную грамматику в Венгрии, с его именем практически связаны первые инициативы венгерской вычислительной лингвистики. Обобщающие итоги этих трудов опубликованы в его книге и диссертации на звание доктора Венгерской академии наук – "A magyar főnév paradigmatis rendszeréről" (Парадигматическая система венгерского существительного. Будапешт, 1975), теоретические начала которой были заложены в вышеупомянутом "Курсе".

Его потребность в научной новизне обосновывалась его смелыми инициативами, она пронизывала и его будни. Это ярко выражалось и в его научных связях. В постоянных поисках нового он нашел союзников в лице тех советских лингвистов, которым тогда приходилось бороться не только за официальное признание, но нередко попросту за право существования. Пригласив молодых выдающихся русских лингвистов в Венгрию, он давал им возможность ознакомиться и завязать связи с международными кругами, с другой стороны содействовал ознакомлению с достижениями русского языковедения. Приглашая и принимая у себя Романа Якобсона, Юрия Лотмана, он строил мост для международного признания русской лингвистики.

Ушел от нас ученый, профессор, личность которого создавала новое направление, свою школу в науке и в университетском преподавании. Главным предметом в этой школе были поиски нового. Чтобы добиться этого, собственных менторов было недостаточно, хотя личный пример научной последовательности его отца – выдающегося профессора минеролога Будапештского Политехнического университета – и содействовал его смелости.

Приехав в трудные 50-е годы из родного Будапешта в провинциальный Дебрецен (который он на русский манер называл "дебрями"), Ф. Папп на кафедре славистики вместо шаблонов и строгих чужих циркуляров уже искал и смотрел в даль – и видел далеко. Когда он молодым ассистентом увидел первую ЭВМ и смог приступить к ней, это было впечатление на всю его жизнь. Тут Ф. Папп практически был первым из венгерских филологов тех лет, хотя сегодня мы уже догадываемся, что он должен был обладать неким внутренним родством с информатикой, чтобы математики, считавшие вычислительную машину исключительно своей собственностью, разрешили ему подойти к ней и скоро признали его своим партнером и сотрудником.

В конце 50-х, в начале 60-х годов в языкознании произошел поворот, определивший надолго языковое мышление, когда язык стал рассматриваться как объект, описываемый формально, с помощью математических и логических средств. Здесь ЭВМ, от которой ожидали решения серьезных, иногда даже стратегических целей, заняла решающее место в структурном моделировании языка. До наших дней сохранили значение труды Ференца Паппа, в которых он осуществил машинную переработку всех семи томов Толкового словаря венгерского языка в форме обратного словаря – "A magyar nyelv szövégműtató szótára" (Обратный словарь венгерского языка. Будапешт, 1969).

Работы многочисленных лингвистов, опиравшихся на этот труд, в том числе и его собственная докторская диссертация, убедительно доказали, что с помощью ЭВМ мы сможем получить такую систематизацию наличных данных, которая делает неясные для описательного наблюдения связи явными и доступными для научного синтеза.

Как преподаватель, Ф. Папп всегда посвящал учеников в свои новейшие открытия, чтобы они могли почувствовать ни с чем не сравнимый вкус научного познания. На его собственное выступление на инаугурации в Венгерской академии наук он пошел не в нарядном костюме и "галстук бабочкой", а с ворохом бумаг, чтобы представить самые свежие результаты – как он говорил – своей "машины". У студентов было впечатление, что он делится своими новыми идеями впервые именно с ними, а вопросы ставит так, чтобы студенты почувствовали: это решать придется именно им. Не терпел он только отсутствия собственных идей, замаскированного отсутствия мышления. В его окружении мыслить свободно было обязательной формой поведения.

Сегодня можно удивляться тому, что руководимая им Кафедра русского языкознания в Дебреценском университете получила международную известность благодаря и тому, что из духовной атмосферы проводимых ежегодно Дней русистики часто рождались современные, получившие международное признание исследования не только в области исследований русского языка, но в первую очередь, в области венгерской генеративной грамматики и общего языкознания. А организованные им в последние годы конференции по прикладной лингвистике создавали форум для практикующих преподавателей иностранных языков и во многих областях (машинной лингвистики, психолингвистики или теории перевода) стимулировали организацию международных форумов или участие на них. Его машинный словарь а тегго непосредственно повлиял на современные издания нового русского, немецкого и французского словарей.

Именно эта многосторонность и создала школу Ференца Паппа со всеми ее ни с чем не смешиваемыми особенностями. Как в Венгрии, так и за ее пределами авторы выдающихся трудов, лингвисты и литераторы, бывшие студенты – теперь преподаватели хранят память об академике Ференце Паппе, влюбленном в языкознание, в вычислительную машину, в русский язык и культуру, влюбленном в жизнь.

Ласло Хуняди

CONTENS

R.I. R o z i n a (Moscow). Categorical shift of actants in semantic derivation; G.I. K u s t o v a (Moscow). On the types of derived meanings in words with experiential semantics; J. N ø r g o r - S ø r e n s e n (Copenhagen). Referential function of Russian pronouns as compared with pronouns of some other Slavic languages; M.N. V i š n i a c k i j (St.-Petersburg). The origin of language: some contemporary theories (as seen by an archeologist); W. D i e t r i c h (Münster). The influence of American Indian languages on the Romance languages (II); M.N. B o g o l i u b o v (St.-Petersburg). Rigveda I, 105. Trita in the well; E.L. R u d n i c k a j a (Moscow). Syntactic and semantic analysis of sentences with omitted verbs of speech in Korean; I.G. D o b r o d o m o v (Moscow). On the historical memory in language; Yu. B. K o r i a k o v (Moscow). The language situation in Bielorrussia; G. N e v e k o v s k y (Vienna). The language situation in South Slavonic languages; **From the history of science:** M.A. B o r o d i n a. Excerpt of an unpublished article; **Reviews:** A.D. D u - l i č e n k o (Tartu). Sprachen in Europa; K. K o s t o v (Berlin). *L. Manušs, I. Neilands, K. Rudevics. Čigānu-latviešu-angļu un latviešu-čigānu vārdnīca*; N. Yu. Z a i c e v a, Yu.A. K o s a r e v (St.-Petersburg). *R.G. Piotrovskij*. "The linguistic automaton: principles of its work based on speech and mental data" and "The linguistic automaton (used as an instrument of research and in uninterrupted teaching procedures); **Necrology.**

Технический редактор *О.Н. Никитина*

Сдано в набор 29.12.2001	Подписано к печати 14.02.2002	Формат бумаги 70 × 100 ¹ / ₁₆		
Офсетная печать	Усл.печ.л. 13,0	Усл.кр.-отт. 20,0 тыс.	Уч.-изд.л. 15,6	Бум.л. 5,0
Тираж 1512 экз. Зак. 5634				

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.
в Министерстве печати и информации Российской Федерации

Учредители: Российская академия наук, Отделение литературы и языка РАН

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
Адрес редакции: 121019 Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка.
Телефон 201-25-16

Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6